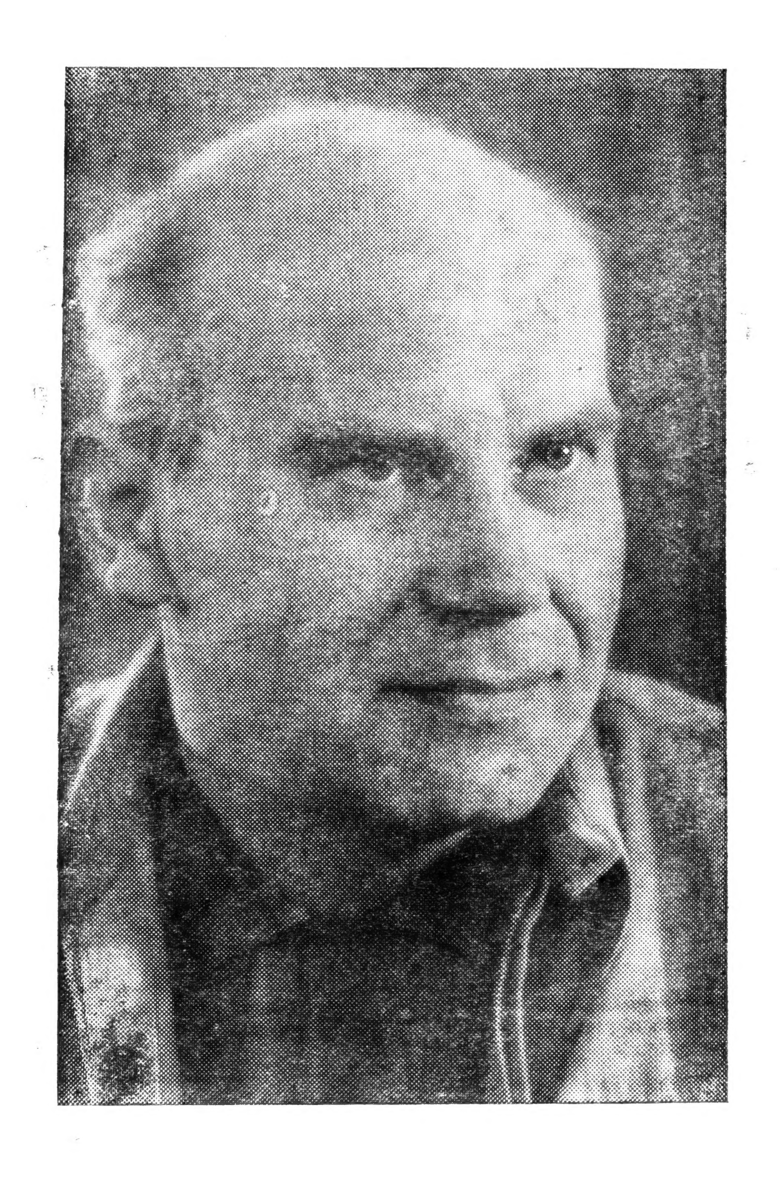
ВИЗБУЛ БЕРЦЕ

За синей птицей



Чаша весов



ВИЗБУЛ БЕРЦЕ

За синей птицей



Чаша весов

ПОВЕСТИ

*Авторизованный перевод
с латышского С. Марковой*

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1978

С(Лат)2
Б52

Видный латышский писатель Визбул Берце (1916—1971) известен широкому кругу читателей по книгам: «Первые одиннадцать», «Вышли мы все из народа», «Редакция на колесах», «Эрика, Дзидра и другие», «За синей птицей», «Чаша весов». Это произведения о войне, о самоотверженном труде советского человека, о призвании и ответственности советского писателя.

В настоящую книгу вошли лирические раздумья «За синей птицей» и автобиографическая повесть «Чаша весов».

ХУДОЖНИК В. И. ЮРЛОВ

Б $\frac{70303-114}{083(02)-78}$ 275—78

НЕНАПИСАННЫЕ ПОВЕСТИ

Не знаю, как это у других пишущих, занимающихся литературным трудом. Мне, когда приходится излагать свою биографию, она представляется скоплением ряда ненаписанных повестей, и, мысленно пробегая по своим жизненным датам, чаще всего — отбирая лишь то, что необходимо для анкеты, я вспоминаю эти ненаписанные повести...

Родился я 28 октября 1916 года в городе Иркутске. И тут сразу начинается первая повесть, связанная с обстоятельствами жизни семьи в то время; повесть, очевидцем которой я не был и не мог быть, но которая вошла в мое сознание по рассказам, «семейным преданиям», как это называлось в старину, определив во мне многое и став частью моей, а значит — и частью биографии.

Родители мои были профессиональные революционеры, очутившиеся вместо своей родной Латвии в Иркутске потому, что были сосланы царским правительством, а из ссылки бежали в Иркутск, где и жили по фальшивым документам.

Так что я даже не знаю, под какой фамилией родился. Впоследствии, году в двадцать пятом, когда мне в Москве нужно было уже с документами в руках устраиваться в школу, и никакой метрики не оказалось, и получить ее было негде, мать вместе со мной пошла в суд, и с помощью свидетелей было установлено, кто я. Но до того часа я успел за семь лет жизни переменить фамилию еще два раза. Однако это относится к другой повести, и прежде, чем перейти к ней, нужно закончить первую.

В родильный дом мать тоже привезли с подложным паспортом, выданным на имя женщины значительно стар-

ше ее. Сошло как-то, хотя кое-кто из обслуживающего персонала (по словам матери) удивился и некоторому несоответствию и тому, что роженице должно было быть уже сорок лет...

А из больницы и мать и новорожденный отправились обратно в дом на Саламатовской, где в большой, пятикомнатной квартире негласно существовала коммуна политссыльных и где, по рассказам, нянчили новорожденного тоже все по очереди.

Февральская революция открыла всем политическим дорогу домой, и я расстался с родным городом, так и не увидав его взглядом, который мог бы что-то запомнить.

В 1959 году в составе выездной редакции «Литературной газеты» я летел на «ТУ-104» из Москвы в Хабаровск. Ночью, часа в три, самолет приземлился в моем Иркутске. Еще сверху, с высоты, из окна нашего лайнера, вглядываясь в россыпь огней среди угольно-черной ночной тьмы, я жадно и поспешно старался вобрать в себя прорисованные этими световыми, расползшимися во все стороны точками очертания города, который был моей родиной, но которого я, насколько помнится, не видел. Самолет стоял в Иркутске час. Декабрь. Сухой мороз стягивал губы и жег щеки. Я со своими товарищами прошелся по площади у аэровокзала, заглянули мы и в небольшую аэропортовскую гостиницу, — в гостинице было тихо, усталая дежурная, уставившись в раскрытую газету, клевала носом... И сразу же за гостиницей улица уходила куда-то в темноту...

На обратном пути из Владивостока в Москву свидание с городом тоже ограничилось только двадцатиминутной стоянкой поезда.

Но вот прошло еще несколько лет, и в июне 1963 года с группой латышских писателей — участников дней латышской литературы в РСФСР — я вновь проездом, или, если хотите, «пролетом», оказался в Иркутске: наш путь лежал через Байкал, в Бурятию. Было несколько свободных часов, и я принялся рьяно агитировать всех осмотреть Иркутск. Моросил дождь, дул холодный ветер, мы в автобусе ехали по городу, сохранившему в своем облике что-то от дореволюционных губернских провинциальных центров. Когда мы в очередной раз вышли из автобуса, наконец-то внизу, под крутым спуском, я увидел Ангару, о которой столько наслышался. Но увидел ее не пре-

жнюю: плотина электростанции перегородила реку, а там, за плотиной, начинался широкий разлив, переходивший в просторы «славного моря» — Байкала. Только цвет воды оставался, очевидно, тот же нежно-зеленоватый, с примесью голубизны, и вода, по утверждению моих земляков, была столь же холодной, как и много лет назад.

Я все время спрашивал про Саламатовскую улицу.

Наш гид толком не знал, как она теперь называется и где ее искать.

На обратном пути, вновь вернувшись в центр города, удалось все узнать: она была тут же, рядом, и называлась улицей Либкнехта. Но мы уже спешили, чтобы успеть на самолет. Автобус остановился на углу улицы Либкнехта, бывшей Саламатовской. Мне наказали, чтобы я долго не задерживался. «Зачем ему понадобилась эта улица?» — недоуменно спрашивали друг у друга некоторые мои попутчики. Я не стал вдаваться в длинные пояснения. Вышел, прошел с десяток шагов по Саламатовской. Улица уходила вдаль,— двух- и трехэтажные, почерневшие от времени деревянные дома, строгие и тихие, стояли с двух сторон, как будто нарочно подобранные по ранжиру и нарочно сохраненные. Спокойная улица с темно-коричневыми деревянными домами, с травой, пробивающейся меж камней, с тюлевыми занавесочками и цветочными горшками во многих окнах. И один из этих домиков — тот, где когда-то была коммуна и где меня нянчили.

Надо было торопиться обратно в автобус, в аэропорт, дальше — в Улан-Удэ. Но свидание с родным городом все-таки, хотя почти сорок семь лет спустя, состоялось.

Тогда, в феврале семнадцатого года, после свержения самодержавия, для родителей моих начался совсем уж извилистый путь по дорогам революции, и где и когда мы бывали — установить довольно трудно. Какое-то время отец и мать работали в Москве, потом — в Латвии, где оставались на подпольной работе и во время немецкой оккупации 1918 года. Занимались знакомым им делом — налаживали нелегальную типографию, собирали шрифты и все оборудование; отца арестовали, он бежал, явился в Ригу, скрывался у кого-то; чтобы увидеть жену и сына, просил — в определенный час прогуливаться напротив дома, где он нашел пристанище, и тогда смотрел через окно...

Отца я видел редко и в тех условиях, когда зачастую не мог его по законам конспирации называть отцом, рассказывают, научился звать только по имени.

Следующий эпизод — пять месяцев советской власти в Латвии. Отец — член правительства, народный комиссар социального обеспечения, мать —тоже с утра до вечера занята. Живем в том же доме, где расположен Совнарком, и опять здесь образуется своеобразная коммуна — члены правительства отдают паек в общий котел и все вместе собираются за столом. Из этого же дома мы уходим в изгнание, когда в Ригу врываются белогвардейские банды,— мать несет меня на руках, а я хочу взять с собой и игрушечного коня, наверное самую большую для меня драгоценность.

Затем в памяти начинают всплывать отрывочные детские воспоминания, по которым можно попытаться установить какие-то моменты из многочисленных переездов тех лет. Одно воспоминание — некое вагонное купе, в нем устанавливается резиновая складная ванночка, в которой будут меня купать. Оказывается, мы живем в санитарном поезде. Мать — комиссар поезда. Следующее воспоминание — двухэтажный дом, в котором мы живем, и громадная бочка, поставленная как раз напротив наших окон, у какого-то склада. Бочка невероятно большая — с одноэтажный дом, в нее что-то укладывают, и видно даже, как рабочие утаптывают это что-то уложенное, вышагивая в бочке по кругу. А где-то совсем близко — старый тенистый сад, за ним— водяная мельница с колесом и плотиной. К плотине вечерами, с винтовками за спиной, уходят патрулировать чоновцы, в том числе иногда и мать. У матери после тифа коротко остриженные волосы,— наверное, мы и попали в этот поселок под Псковом, в поселок с чудесным именем Березки, после болезни матери. Отца с нами опять нет: он на подпольной работе в Латвии.

Вторая из этих ненаписанных повестей, которые я перебираю в памяти, наверное, должна начаться с нашего возвращения в Латвию весной 1921 года. Едем мы под чужой фамилией. У матери даже есть фиктивный муж, который тоже должен ехать в Ригу. Теперь моя фамилия Блауберг. Приехав в Ригу, мы остановились на квартире отца, но числились просто знакомыми. А отец уже был не Берце, а Эдуард Стробинь, оптовый торговец, обзаведший-

ся даже какими-то торговыми книгами. Но прошло лишь несколько недель — мы приехали в марте, а в первой половине мая отца, ушедшего в качестве представителя ЦК на нелегальную явку, арестовали: предал провокатор. Впоследствии стало известно, что это была длительная операция, организованная охранкой, охотившейся за Центральным Комитетом Компартии. Много лет спустя, уже в пятидесятых годах, того провокатора поймали и судили. В одном из залов Верховного суда республики он вместе с другим сотрудником охранки сидел на скамье подсудимых, толстый и обрюзглый, со стриженой головой, и все отнекивался и все отрицал; тогда ему читали его собственноручные донесения охранке, помолчав, он говорил: «Ну да, раз вы так читали, значит, действительно...» Но то было много лет спустя, а тогда, в мае двадцать первого года, отец, уйдя по делу («Я ненадолго»,— сказал он), не вернулся. Потом нагрянула охранка, перерыла все вверх дном, забрала всех, кто находился в квартире, а значит, и меня с матерью.

Там, в охранке, я последний раз видел отца. Мать вызвали на допрос, она взяла меня с собой. Я сидел у нее на коленях. Открылась дверь, ввели отца. Вот эту последнюю встречу я помню. Отец поклонился нам — и когда пришел и когда уходил. Но сказать что-либо больше не мог; ведь мы считались только знакомыми. Он стоял у стола, его о чем-то спрашивали— мне кажется, что о каких-то стихах. Потом его опять увели, и все — больше мы не виделись. Нас с матерью, наверное, с неделю держали в охранке. Жили мы в какой-то громадной комнате. Комнату эту я помню, и невесть откуда взявшуюся детскую кровать с сеткой в дальнем углу, на которой мы спали оба с матерью, и длинную обшарпанную скамью помню — на ней мы сидели и завтракали, когда вдруг в комнату вошла группа каких-то господ, все очень вежливые, все качают головами. Оказалось — депутаты буржуазного Учредительного собрания, явились, чтобы посмотреть, что и как тут делается, и сделали замечание начальнику охранки: ай, как нехорошо, у вас тут сидит женщина с ребенком... Нас с матерью выдворили из заключения. А две недели спустя, в ночь с 10-го на 11 июня, у стен Рижской центральной тюрьмы, по приговору военно-полевого суда, расстреляли отца и его товарищей. Так и расстреляли его, не установив настоящего имени, как Эдуарда Стробиня.

И могилу, куда их всех уложили, попытались скрыть — вырыли посреди дороги, сровняли с землей, затоптали. Но кто-то из сторожей сообщил, где закопаны убитые, партия, находившаяся в подполье, восстановила могилу, и над ней как-то утром реял подвешенный к дереву флаг с призывом: «Слава павшим, проклятье палачам!» Есть где-то сохранившийся старый фотоснимок тех лет, на нем видно и знамя, поднятое над могилой...

Тогда я, конечно, еще ничего не понимал. Много позже эта повесть вошла в мое сознание, чтобы остаться в нем навсегда — вместе с опубликованными после смерти отца сборниками его стихов и рассказов. Сборники эти вышли в свет в Пскове, затем в Москве, и увидел я их, когда мы приехали в Москву, и, быть может, тогда, когда я держал эти книги в руках, во мне и зародилось желание тоже писать, прибавить к тем книгам хотя бы одну.

Но то было позже.

После смерти отца мать продолжала жить жизнью подпольщицы: мы часто переезжали с квартиры на квартиру, к нам ходили какие-то люди, происходили какие-то собрания. Приходилось и мне носить таинственные записки и видеть, как в одном доме внезапно приподняли половицу, из-под которой достали печати, штампы, какие-то документы. Перемененных за короткий срок квартир было столь много, что я смутно вспоминаю их. В одну из квартир, очень темную, однажды явился человек, которого мать по поручению партии должна была на время укрыть и который впоследствии стал моим отчимом. Он у нас некоторое время ютился и в другой квартире, в той, из которой я начал ходить в школу. Окончить хотя бы первый класс тогда так и не удалось. Наверное, посещал я школу месяца два. Помню, как занимались рисованием и отвечали по закону божьему. Мне отвечать, по-моему, пришлось один раз: я добросовестно пересказал историю о всемирном потопе и Ноевом ковчеге, получил пятерку. Помню еще: мы должны были из дому принести кто что может — для украшения рождественской елки и для лотереи. Различные лотереи тогда были в моде. Помнится, и я притащил из дому нарисованные и раскрашенные цветные настенные картинки на гипсе. Но саму елку и лотерею не увидел — ноябрьской ночью я проснулся от какой-то возни в нашей очередной новой квартире.

— Вставай, господа пришли,— сказала мать.

В данном случае слово «господа» означало, что пришли из охранки. Я уже знал, что есть этот особый мир, мир «господ».

И вот я опять попал в охранку. Наутро нас обыскивали, а потом перевели в камеру. Там, кажется, даже нар не было,— во всяком случае, спали мы на полу. Зарешеченное окошко было не так высоко: встав на табуретку с помощью матери, я мог глянуть наружу. В памяти сохранился двор далеко внизу, со всех сторон обнесенный стенами, серый какой-то, закованный в камень. И часовой с винтовкой, и собака, бегающая по двору. Еще в памяти запечатлелись узкие коридоры и ночной допрос,— оказывается (потом выяснилось), мы были у самого начальника охранки, а взяла меня мать с собой на допрос на всякий случай. Да, эта картинка, как моментальный снимок, осталась в памяти: как мы сидим за столом в небольшой комнатке, окно где-то слева, ведущий с нами разговор человек сидит по другую сторону стола, что-то спрашивает, предлагает чай с сушками. Впоследствии мать утверждала, что я отказался, но мне почему-то помнится, что я этот чай пил...

Через какое-то время меня отпустили из охранки, отдали на руки тетке. Потекли дни.

А потом, под самый Новый год, как это бывает в сказках, вдруг явилась в тот дом, к тетке, и мать. Раздался стук в дверь, затем дверь открыли, и она вошла как ни в чем не бывало.

Ее освободили до суда, взяв подписку о невыезде.

Но подписка эта не была соблюдена.

Было уже принято решение партийной организацией, были уже заготовлены документы для выезда, и в самом начале нового, 1924 года мы выехали в Советский Союз, в Москву. На этом и кончается вторая из ненаписанных повестей — кончается в вагоне уже по ту сторону границы, в вагоне, полном людьми, набившимися сюда на первых пограничных станциях. Очевидно, отличие было разительное, раз я запомнил этот вагон и этих людей — буденовки, овчинные полушубки, улыбки, смех, шумный разговор, вкус мороженых, ломивших зубы холодом яблок, и запах махорки, и какое-то тепло, хлынувшее от всего этого на нас, только что распростившихся со своей Латвией.

Распростившихся, чтобы вернуться в Ригу лишь через двадцать лет.

Началась жизнь в Москве, ставшей для меня родным городом. Здесь я уже по-настоящему пошел в школу, стал пионером, потом комсомольцем, прочел уйму книг, работал на заводе и учился в институте, ходил вместе с другими на субботники. В праздничной, ликующей толпе, горланя песни, шел на Красную площадь, а по вечерам в праздники смотрел вместе с товарищами иллюминацию и уже знал, где она всего краше... Жили мы, можно сказать, почти что в центре старой Москвы, на углу Новинского бульвара и Кречетниковского переулка. Выйдешь из дому, свернешь в переулок — и тут же начинается неповторимое сплетение приарбатских улочек со множеством старых особнячков, превратившихся в коммунальные квартиры; на Собачьей площадке собирались закутанные в платки няни с ребятишками, в садиках при особняках на протянутых крест-накрест веревках развешано белье, и полощутся на ветру, шумные, как паруса, простыни и белые подштанники с завязками... Пойдешь от дома в другую сторону, вниз по Новинскому бульвару,— и сразу же навстречу тебе поднимается неумолчный гомон Смоленского рынка: уже сверху видно громадное скопление полотняных и фанерных палаток, виден и людской муравейник, безустанно снующий в сером лабиринте базарных временных «торговых предприятий». Какие-то крошечные дымки подымаются посреди этой неразберихи — во многих палатках жарят и варят и тут же продают желающим горячие куски мяса. И лоточницы там толкутся, и слышны выкрики: «Ириски, кому ириски!» А по воскресеньям это людское месиво разливается еще шире, заливает тротуары и прилегающие переулки,— растрепанные книжки лежат на земле, старый шкаф привалился к стенке дома, шныряют с перемазанными лицами, в черных каких-то лохмотьях беспризорные. А вот другая картина: повернешь от дома к Кудринской площади — слышишь, как по обе стороны бульвара, обгоняя тебя и навстречу тебе, грохочут трамваи, изредка позванивая, и уже знаешь, что налево, на углу, дом, в котором некогда жил Грибоедов (на маленьком белом домике есть мемориальная доска), а пройдешь через Кудринку — там напротив школы дом Чехова. Но довольно, хватит, так можно было бы рассказывать без конца и о Пресне, и о Малой и Большой Грузинских улицах, и о маленьком кино на Арбате, в кото-

ром «крутили» по два фильма в один сеанс — все о ковбоях и о приключениях...

Постепенно картина города менялась: закрыли Смоленский рынок, вся его площадь, к которой стекал Новинский бульвар, вдруг оказалась пустой; стали строить новые дома-коробки; рядом с нашей школой возвели Планетарий; на углу Смоленской площади построили новый дом и в нем — обширный продовольственный магазин, о нем много в то время писали в газетах. А потом появились ограды, за которыми шли работы по строительству метро,— и у нас, на Смоленской площади, тоже, и все говорили о планах реконструкции столицы, о том, как она будет выглядеть через несколько лет.

Среди наших знакомых было много политэмигрантов, бывших подпольщиков. Но ни они, ни мы не чувствовали себя эмигрантами,— мы жили в своей стране, нас интересовало все, что делается в Советском Союзе,— и первая пятилетка, и коллективизация. Во второй половине двадцатых годов в Москве появился и отчим — его обменяли в числе других политзаключенных. То ли в осенний, то ли в зимний день их всех встречали на вокзале. С оркестром, под гром музыки мы шли по московским улицам. Для них в Латышском клубе был устроен коллективный обед.

Отчим поступил в Коммунистический университет национальных меньшинств Запада, потом учился в Институте красной профессуры.

С шестого, кажется, класса я увлекся общественными делами, а в седьмом — был принят в комсомол и вскоре стал секретарем комсомольской ячейки.

Одним из основных моих занятий в школьные годы было чтение. Материал для этого занятия черпался повсюду — в библиотеках, в журналах. Ходил я в гости к дяде, тоже обмененному в числе политзаключенных, и брал у него выходившие в приложениях к «Огоньку» сочинения Л. Толстого, Чехова, Горького, Мопассана. Читал все подряд. До сих пор помню эти непереплетенные тетрадки собраний сочинений, желтоватые книжки Чехова, шершавую их бумагу, и тетрадки с портретами Горького на обложках, и маленькие синенькие книжки Полного собрания сочинений Мопассана, и запах типографской краски, еще сохранившийся почти в каждой книге, и как от них пахло клеем, и как я нес их, зажав под мышкой, и как дома разворачивал и вновь разглядывал... А как

чудесно было, когда у двери звонил почтальон и вручал приложение к журналу «Всемирный следопыт» — очередную коричневатую книжечку Собрания сочинений Джека Лондона...

Да, читал много, все, все, что только попадало в руки.

И пробовал что-то писать. Но то, конечно, были чисто детские опыты.

А в 1930 году (да, кажется, именно в тридцатом) я сочинил какой-то стилизованный маленький рассказик или зарисовку и послал в латышскую газету, выходившую в Москве, и через какое-то время обнаружил свое сочинение опубликованным в газете.

Весной 1932 года окончил школу-семилетку и поступил на маленький заводик сантехмонтажных изделий. И тут, пожалуй, начинается та третья повесть, которую нужно бы написать. Повесть о юности тех лет, о самом том времени. О скудных пайках и мерзлой картошке, которую мы перебирали на субботниках. О том, как мы судили-рядили, кого послать на строительство метро. И о буднях — как работали, как в обеденный перерыв набивались в красный уголок, еще чумазые, еще пахнущие машинным маслом...

Заводик весь разместился в одном одноэтажном, плоском, согнутом буквой «Г» здании: тут тебе и механический цех, и кузница (небольшая, темная, больше похожая на деревенскую), и еще меньшая сварочная — совсем крохотная серая комната, где несколько одетых в брезентовые спецодежды людей, заслонив лица железными масками с застекленными прорезями-окошечками, сидят на корточках, согнувшись, и шипящие острые язычки бело-зеленоватого пламени прямо из их рук струйками бьют в металл.

Моя жизнь на заводе началась в ученической бригаде. Бригада размещалась «на верхотуре»: как было заведено еще при бывших хозяевах, до революции, в одной стороне цеха несколько столбов поднимали вверх помост с застекленной конторкой мастера. На этом деревянном помосте, приткнувшемся с краю «вторым этажом», были расположены и верстаки для нас, слесарских учеников. Мы сверху глядели на цех, он весь открывался перед нами. А в перерыв спускались вниз, присоединялись к какой-нибудь группе — то к слесарям, то к станочникам. Серьезный, маленький, подтянутый, приходил в цех поговорить с рабочими директор Гарнов,— уже при мне его назначили на

эту должность, года за три до этого он пришел на завод слесарем — и вот выдвинулся, отвечает теперь за весь завод. Впрочем, вместе с ним за завод отвечает и кузнец, секретарь партийной ячейки Макаров,— жилистый, гибкий и легкий, высокий, чуть сутулящийся, с орлиным носом, чем-то неуловимо похожий на Метелицу из фадеевского «Разгрома». Не очень умелый организатор, но абсолютно прямой, ясный, чистый человек. И слесарь Григорий Прохоров, которого все зовут просто Гришей, тоже отвечает за завод: он председатель завкома, к нему бегут по всем делам, он для острастки сначала принимается ругать, а затем уже берется помочь.

Не могу сказать, чтобы работалось на заводе очень легко, всякие были передряги, и люди были разные, но все же никогда я не забуду тот коллектив, и свой цех, и мерное гудение моторов в цехе, и как пахло машинным маслом, и тех людей — зубоскалов и работяг, и все то время — и скудные пайки, и пустой, с совершенно голыми полками, распределитель, к которому был прикреплен наш неавторитетный заводик...

Но тот заводик был для меня хорошим «рабочим котлом», как говаривали в то время или говорили так немного раньше, в конце двадцатых годов. Грубоватые, но прямые и справедливые люди работали на маленьком заводике, у них можно было поучиться и упорству в труде и сознанию долга.

Там же у нас, в основном в механическом цехе, где трудились все слесарные бригады (четыре длинных ряда верстаков протянулись через весь цех, стучали молотки, звонкий их стук разносился во все концы, четыре цепочки зажженных лампочек в зимних ранних сумерках прочерчивали ряды этих верстаков),— да, там же, но за особым верстачком трудился аккуратный старичок в непривычном для нашего глаза комбинезоне и немного шепелявивший юноша с золотистым пушком на щеках, тоже в аккуратном комбинезоне и в аккуратной кепочке,— его сын. А второй сын, помнится, работал в какой-то из бригад... То были тоже латыши, но из Америки. В свое время, после революции пятого года, будущий отец этого семейства эмигрировал в Америку, а в тридцатом году, когда в Америке разразился кризис, семья приехала в Советский Союз. После революции пятого года многие латыши, участники революционных событий, были вынуждены эмигрировать, многие очутились в Америке. Впрочем, не

могу теперь вспомнить,— может, это семейство выехало в Америку в какое-то другое время, может быть, насчет революции пятого года я им тогда «приписал» в их коллективной биографии, а теперь не в силах уже разобраться, что правда и что вымысел; об этом семействе я написал рассказ «Американец» и послал его на конкурс, объявленный выходившей в Москве латышской газетой «Комунару циня» («Борьба коммунаров»).

Писал я рассказ летом, во время первого своего отпуска, живя у тети под Москвой, в Кратове, где строился поселок старых большевиков. С утра уходил один в лес и, усевшись на пеньке или пристроившись полулежа возле него, писал, иногда, вздыхая, поглядывал, как медленно движется солнце над верхушками сосен, вдыхал пряные ароматы леса и опять брался за карандаш. Увы, значит, был обречен уже с того первого отпуска предназначенные для отдыха дни проводить за писаниной...

Но прочел я рассказ напечатанным лишь месяцев семь спустя и не в Москве, а в рязанской деревушке под Сасовом. Мать прислала вырезки из газет — их было семь или восемь, семь или восемь продолжений! На одной из вырезок дядя, у которого я брал книги, карандашом написал свою «рецензию» на мое произведение: «Сравнительно недурно». «Недурно»! Мог бы, конечно, быть и пощедрее в оценке. Что он, не разобрался как следует в рассказе? Все-таки он написал «недурно». Еще раза два я по буквам разобрал короткую «рецензию», раз пять прочел сам рассказ и остался им доволен. Вдохновился на новое сочинительство — взял захваченную с собой из города, с завода, сброшюрованную книгу для нарядов (бумаги в те годы ведь тоже почти что не было, хорошо, что ее хватало на тетрадки и учебники для школьников, для выпуска каких-то книг, газет, журналов) и на обороте этих напечатанных на коричневой бумаге бланков стал в свободные минуты писать новый рассказ.

— Что это ты пишешь? — спрашивал учитель Борис Иванович, с которым мы вместе жили.

— Да так просто...— мямлил я, отворачиваясь к окну, и, кажется, мучительно краснел.

Много позже, году в пятидесятом, уже в Риге, директор библиотеки имени Мисиня, старый и опытный библиограф, просматривая сохранившиеся комплекты газеты «Комунару циня», наткнулся на моего «Американца» и тут же отдал его перепечатать для меня на машинке.

Я прочел рассказ и ужаснулся,— это был очень плохой рассказ, читать его мне было стыдно и неловко. Но тогда, в рязанской деревушке, тот семнадцатилетний юноша был страшно доволен, и втихомолку брал газетные вырезки, и трогал шершавую бумагу кончиками пальцев, и перечитывал свою фамилию, напечатанную наверху. Недовольство вызывало только одно: произведение было опубликовано не под рубрикой «Конкурс на лучший рассказ», а под рубрикой «Слово молодым». А ведь рассказ-то, несомненно, был лучшим...

Эта жизнь и работа в деревне— тоже часть, к тому же, может быть, и очень важная часть, повести тех лет.

Потом, после возвращения из деревни,— опять работа на заводе. Тянуло писать. Кое-что начинал, но все было некогда — другие дела, казавшиеся более важными, отвлекали. Был я молод, все, казалось, еще впереди, и думалось не столько о том, кем быть, как о том — где быть, где сейчас самый важный участок?

В 1936 году, подучившись на курсах подготовки в вуз и сдав экстерном экзамены за среднюю школу, поступил учиться в Московский юридический институт. В середине тридцатых годов произошел какой-то перелом, многие потянулись к образованию (может быть, потому, что стране нужны были специалисты, оттого и произошел перелом?), и я тоже пошел по той же тропке. Институт мною выбран был сознательно: у меня сложилось убеждение, что вопросы государства и права приобретают первостепенное значение. Недаром же я сразу после окончания школы стал повсюду таскать с собой и постоянно штудировал «Государство и революцию» Ленина и «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса.

И тут, с поступлением в институт, наверное, начинается еще одна из тех ненаписанных повестей, о которых я говорил в самом начале.

Но в то время студенческая наша жизнь мне казалась хотя и необыкновенно интересной, увлекательной, все же — будничной, без особых событий.

Ныне институт наш преобразован в факультет МГУ, но находится все в том же доме на улице Герцена, и когда бываешь в Москве и проезжаешь мимо, то видишь, как ту же старую дверь открывают какие-то серьезные юноши и девушки, озабоченно о чем-то переговариваются

между собой. А мы в эту дверь вваливались шумной толпой и не говорили — орали что-то друг другу.

Набор 1936 года был вторым свободным набором — раньше принимали только по путевкам, направлению соответствующих организаций. И среди принятых вместе со мной был самый различный народ. Большинство — десятиклассники, ничего в жизни не повидавшие, галдящие, блещущие остротами, любящие шутки и веселые вечеринки, но схватывающие знания как будто на лету; среди этой молодой толпы сразу бросались в глаза люди постарше, перешагнувшие за тридцатилетний рубеж или достигшие его и имеющие, как принято говорить, опыт руководящей работы в советских и иных организациях. А затем третья группа — молодежь, пришедшая в институт со строек первой и второй пятилеток. Был среди нас и метростроевец и один участник строительства Комсомольска-на-Амуре. А в национальном отношении — полная смесь разных народностей. Впрочем, тем, кто какой национальности, мы в то время не интересовались, нас увлекали совсем другие вопросы.

Заниматься, как я уже говорил, было очень интересно, что, конечно, не исключало того, что какие-то лекции мы не слушали, используя время для дел посторонних, к каким-то семинарским занятиям относились пренебрежительно. Зато на других лекциях были полны внимания, как будто нам на них открывали самые главные тайны вселенной.

Принималась новая Конституция — это тоже ведь относилось прямо к нам, подчеркивало всю важность именно наших занятий!

В тот день, когда была принята новая Конституция, мы, студенты-первокурсники, человек пятнадцать, прихватив с собой кое-кого со старших курсов, взявшись за руки и шагая одной шеренгой, пошли на улицу Горького есть мороженое и во все горло орали песню о том, что «у нас каждый молод сейчас, в нашей юной прекрасной стране». Был декабрьский день, быстро надвигались сумерки, подмерзшие тротуары звенели под нашими ногами, прохожие расступались перед этой шеренгой беззаботных «молодых хозяев земли», как именно о нас (мы были убеждены в этом!) пелось еще в одной песне.

Да, увлекательных дел в институте было много: и лекции, и научные кружки, и дела общественные, комсомольские, с выпуском наших, ни с чем не сравнимых, инсти-

тутских стенгазет, всегда собиравших возле себя многочисленных читателей.

Люди пишущие тоже были в нашей среде, в том числе Володя Дудинцев с нашего курса и будущий поэт Борис Слуцкий, учившийся у нас и одновременно занимавшийся в Литературном институте.

Мало-помалу собрался и литературный кружок.

Одно время этим кружком руководил Осип Брик: в сером костюме, с большой лысиной, всегда как будто немного медлительный, он внимательно слушал наши задиристые речи и чтение наших произведений, потом говорил сам, тоже неторопливо, как будто вслух размышляя, вдруг поражая нас неожиданным сопоставлением, неожиданной мыслью.

Как-то после одного из занятий Брик, уже уходя, очутившись рядом со мной в одном из бесконечных и по большей части темноватых институтских коридоров, неожиданно обратился ко мне, сказав, как обычно, словно мимоходом:

— А вы пишите, пишите, видите, как в прошлый раз товарищам понравился ваш рассказ. Его бы расширить, чтобы больше простору было, и можно печатать...

Признаться, я только годы спустя понял настоящий смысл этих слов, понял, что их можно было расценить как призыв писать всерьез, как благословение, что ли. А тогда мне показалось, что говорим мы с Бриком о любительских занятиях в рамках литературного кружка...

По утрам, открывая газеты, мы узнавали о новых рекордах стахановцев, о том, что освоены новые виды продукции, о проектах гигантских электростанций на Волге.

Мы своими глазами видели, как продолжает перестраиваться столица, говорили между собой о каждом изменении в облике города, о передвижке домов на улице Горького. Говорят, и здание Моссовета передвинут? Все тогда были захвачены этими планами дальнейшей реконструкции Москвы. Да, жизнь шла по-прежнему с ее радостями и тревогами [...]

...Помню похороны Орджоникидзе: вверх, к Красной площади, вливаясь в проезд между Кремлевской стеной и Историческим музеем, уходит бесконечная похоронная процессия; Манежная площадь в снежной пороше, и холодный ветер пригоршнями срывает откуда-то снежную

крупу и кидает ее в лица; в этом кружении ветра и снега огни от фонарей расплываются, и мгла становится все гуще; совсем к вечеру проходило захоронение — над заполненной многими колоннами Красной площадью застыли чуть подсвеченные синью гигантские лучи прожекторов, и траурный марш кажется почти неслышным, и вразнобой шаг многих тысяч людей, и какие-то голоса, и разговоры — кажутся частью тишины...

Летом 1940 года в Латвии был свергнут ульманисовский режим, образовано Народное правительство, а затем провозглашена советская власть. В начале августа в Москву, на сессию Верховного Совета СССР, приехала делегация Народного сейма республики, чтобы просить о приеме Латвии в состав Советского Союза. Стоя на Пушкинской площади, я видел, как делегация ехала по улице Горького — открытые машины двигались неторопливо, с тротуаров приветливо махали делегатам прохожие; в одной из машин приметил я человека в мундире латвийской армии, собственно говоря, прежде всего приметил его характерную офицерскую фуражку, непривычно для нас высокую и чуть скошенную назад; это — я предположил потому, что читал в газетах,— должно быть, едет недавно назначенный политический комиссар латвийской армии Бруно Калнынь. Я ошибался, то был не он, но я так подумал, потому что имя Бруно Калныня было мне знакомо (может, еще с детских лет?), а тут оно только что мелькнуло в газетах, и я подумал о нем, не мог не подумать. Я знал, что раньше он был одним из лидеров латышских социал-демократов, в голове моей копошились смутные воспоминания о том, что были какие-то слухи о причастности Бруно Калныня к давним событиям 1921 года, когда расстреляли моего отца и других его товарищей. Впоследствии, уже в пятидесятых годах, все это подтвердилось: действительно, Бруно Калнынь, будучи приглашен в охранку, опознал по фотографии секретаря ЦК Компартии Латвии Шилфа-Яунзема, подтвердил, кем тот является, а вместе с тем, в сущности, выдал охранке с головой и всех остальных. В 1941 году, с началом войны, он очутился в Швеции и сейчас еще подвизается за границей среди лидеров белолатвийской эмиграции...

Еще в июле я подал заявление с просьбой направить меня на работу в Латвию. Ответа так и не получил.

Уехал в Ашхабад.

В Ашхабаде работал членом областного суда. Утвердили меня уже на месте. К тому времени в журнале «Огонек» были опубликованы материалы о моем отце и рассказ его, переведенный на русский язык.

Что сказать об этих двух годах в Ашхабаде? Может быть, из того материала, из которого тогда сплеталась моя жизнь, когда-нибудь тоже вырастет повесть. Пока я этого еще не знаю. Работы было много, и шла она напряженно — в постоянных спорах, в отстаивании требований закона, в передрягах, в борьбе за отмену неправильных приговоров. Грудами лежали в шкафах дела о прогулах и мелком хулиганстве. Мы, члены суда, если не сидели в процессах по первой инстанции (дела о хищении социалистической собственности, о контрабанде — ведь совсем под боком Иран), читали и разбирали нескончаемые кассационные дела. Мимо окон в желтой пыли брели верблюды. Выйдешь в полдень на улицу — она кажется выжженной густым зноем; прохожих мало; все идут, стараясь держаться в блеклой и скудной тени. Маленькие белые домики и такие же белые дувалы, зеленая листва за белыми стенами дувалов. На базаре — желтые дыни, горы черного винограда и груды огненно-красных помидоров. Чуть шагнешь из-под навесов рыночных палаток — опять в глаза слепяще бьет солнце; идешь после обеденного перерыва на работу в свой суд на углу улицы Свободы и улицы Энгельса — расплавившийся асфальт под ногами расползается, как месиво из мокрой глины. И опять за тяжелое это дело: разобраться в каждом деле и отстаивать истину. Потому что истина только так и рождается — когда ее отстаивают.

Началась война. До Ашхабада она пока докатывалась ежедневными тревожными сообщениями по радио, слухами, первыми беженцами из западных областей, введением продуктовых карточек, скудным пайком. Наши войска вступили в Иран — в городе было введено затемнение, по улицам, усталые и запыленные, в каких-то серо-стального цвета гимнастерках, шагали колонны бойцов сформированной Туркменской дивизии. Я неоднократно стучался в двери военкомата, но в армию меня не брали. Когда стало известно, что организована Латышская дивизия, я написал заявление в Президиум Верховного Совета Латвийской ССР, но получил ответ — обращайтесь в военкомат.

Наконец, уже в 1942 году, я получил письмо от двоюродного брата, находившегося в латышском запасном полку. На конверте был номер полевой почты, я написал по этому адресу на имя командира части. Прошло еще какое-то время, я собрался с духом, пошел на телеграф, медленно вывел слова телеграммы: «Москва. Наркомат Обороны. Сталину. Прошу зачислить добровольцем латышские части». Недели через три меня вызвали в военкомат. На столе у того, кто со мной разговаривал, лежала копия моей телеграммы, а рядом письмо от командира латышского стрелкового запасного полка. Собственно говоря, в военкомате толком даже не знали, что со мной делать: не отобрали, как было положено, ни паспорта, ни военного билета, выдали справку о том, куда я еду, литер на проезд, и я без продаттестата поехал за тысячи километров, пересаживаясь с поезда на поезд, то в теплушках, то просто на открытых платформах — туда, к месту назначения.

Запасный полк. Потом — фронт. Именно пережитое, увиденное на фронте побудило меня вновь взяться за перо или, точнее, за карандаш. В декабре в боях на Северо-Западном фронте меня ранило: мы пошли в атаку по снежному полю вслед за танками, враг открыл минометный и артиллерийский огонь, мы бежали навстречу этому огню, осколок мины попал мне в ногу. И вот, кочуя из одного эвакогоспиталя в другой, из санпоезда в санпоезд, я уже твердо знал: я должен все описать. И я стал записывать эпизоды из пережитого, из солдатского житья (впрочем, тогда слово «солдат» еще не вошло в обиход, мы, рядовые, назывались бойцами), писал рассказы. В Ярославле, в госпитале нашей дивизии, сидел, сгорбившись, на кровати, у самой лестницы — и писал, писал. Мимо меня шел народ со всех пяти этажей, развевались чернильного цвета халаты, плыли больничные запахи — запахи каких-то лекарств и мазей, йода, мыла; разноголосый шум скатывался вниз и подымался вверх, уходил в стороны, вновь катился по лестнице, пятиэтажный дом, очевидно бывшая школа, гудел, как гигантский улей, чтобы затихнуть только с отбоем, в одиннадцать часов. Но случалось — и отбой не приносил тишины, и санитарки и дежурные врачи не могли разогнать нас по койкам: мы толпились у репродукторов, ожидая сообщений «В последний час» о том, что творилось под Сталинградом.

Первые сообщения о наступлении мы услышали еще на фронте, в болотах под Старой Руссой, теперь, раненые, в бинтах и перевязках, с руками и ногами, закованными в гипс, слушая новые, радующие сердца сообщения из-под Сталинграда, мы догадались, зачем поднимались в яростные атаки, почувствовали и себя участниками той битвы, вести о которой приносило радио.

Иногда по вечерам на город налетали еще немецкие самолеты, и к нам через закрытые окна и шторы светомаскировки доносились сигналы тревоги, слышалось постреливание зениток; лежачих раненых уносили вниз, на первый этаж, остальным тоже полагалось спускаться, но мы не спускались.

А днем — я писал и писал.

Мне даже стало нравиться, что сижу у самой лестницы: я вглядывался в проходящих мимо, мне казалось, что я по каким-то штрихам разгадываю характер, человеческую сущность каждого и уже готов эти подмеченные штрихи перенести на кончик карандаша.

Писал, вовсе не думая о том, будет ли написанное напечатано; чувствовал —должен это записать и вместе с тем и сам обязан в чем-то разобраться, уяснить что-то для себя.

Два рассказа из тех, написанных тогда карандашом на листках бумаги, потом, после войны, были опубликованы.

После госпиталя я опять попал в запасный полк, а в декабре 1943 года меня направили на фронт, на работу в редакцию дивизионной нашей газеты. Назначили меня переводчиком, поскольку я знал и русский и латышский язык, а газета наша выходила на двух языках. Но, конечно, как любому сотруднику газеты, мне пришлось заниматься всем: править военкоровские заметки, писать очерки и передовицы, когда нужно — сочинять фельетоны, и опять приниматься за правку военкоровских материалов, и вычитывать корректуры, и записывать вечерами по радио сводки. («Передаем по буквам... Ольга... Василий...» — тихонько хрипит радиоаппарат и вдруг, совсем уж что-то еле слышным шепотом прошамкав, умолкает: сел аккумулятор; шофер без шинели, в одной гимнастерке, выскочив из устроенного на машине «вагончика» типографии, скрипя сапогами по снегу, бежит к аккумуляторам, за которые он отвечает и которые нас так часто подводят.)

Жизнь редакции дивизионной газеты на фронте примерно известна: бесконечные переезды с места на место, вслед за меняющими расположение частями; лес кругом — шумит и шумит, и кажется, за ним сразу — рокот боя; жизнь в продырявленной палатке или в землянке, пышущая жаром печка, которая, лишь только перестанешь подбрасывать в нее дрова, сразу остывает; на самодельных шершавых столах, накинув на плечи ватники,— при свете сделанных из снарядных гильз коптилок (в палатке все время сильно пахнет бензином и копотью) — пишем и правим материалы; потом — походы в полк и возвращение в неурочный час, совсем поздно, и в густой тьме распознаешь место, где стоит редакция, по тарахтенью движка, приводящего в действие печатный станок, или по вдруг услышанному в лесу попискиванию радиоприемника. И конечно, как всегда, спешка с газетой, с каждым очередным номером. И только напечатана газета — приходит приказ, и опять мы снимаемся с места, и неизвестно,— может, ближайшую ночь будем почевать попросту в снегу, набросав под бок лапник. Не исключено и другое — и редакция, конечно, могла попасть под бомбежку или артобстрел, в ту пору двух своих сотрудников она уже потеряла убитыми. Но вот что, быть может, все-таки также надо сказать: несколько лет спустя, году в сорок восьмом, я как-то разговорился с одним бывшим работником фронтовой газеты, то есть газеты какого-то (сейчас не помню, какого именно) фронта, и он стал рассказывать, как они, сотрудники редакции, находившейся при штабе фронта, рвались, он сказал — на передовую, в штабы дивизии. И тогда я вспомнил не нашу кочующую редакцию «дивизионки» с ее жизнью и бытом, а то, как мы, бойцы, пойдя в атаку, потом раненые выползали — от одной черной воронки к другой — с поля боя и как нам казалось, что стоит добраться до того вон кустика, возле которого еще недавно мы встали и пошли в атаку, и уже будем в безопасности, почти что в тылу. Да, и на войне тоже очень многое относительно.

В сорок четвертом году наш фронт стронулся с места, а затем, в начале лета, пройдя по выжженной врагом земле Белоруссии, с пепелищами, с обугленными, черными трубами, с братскими могилами в лесах,— пройдя по этой выжженной земле, 18 июля мы перешли границу нашей республики.

А в октябре — пришли в освобожденную Ригу.

Для кого-то это было возвращением после трехлетнего отсутствия, для меня — возвращением двадцать лет спустя...

Город был уже освобожден, но наши редакционные машины остановились под Ригой,— мы видели лишь, как над ней плывут черные дымы. Надо было срочно отпечатать воззвание правительства республики к населению: мы пока что оказались единственной действующей типографией. Отпечатали, погрузились в машины и поехали в город. Каким-то серым и молчаливым он казался в тот осенний день, только редкие прохожие попадались на улицах. Улиц я не узнавал — пытался что-то припомнить и не мог. Может, на этой когда-то жил? Может, здесь когда-то проходил? Где там... Впрочем, попозже, уже после войны, прибыв в Ригу, я кое-что вспомнил — нашел школу, в которой начал свои ученические годы: все такой же она стояла на старом месте, в глубине улочки, обнесенная забором,— построенное из красных и белых кирпичей здание с красной же островерхой черепичной крышей. И в тридцати шагах от нее — дом, в котором мы некогда жили, куда к нам на заседания собирались какие-то дяденьки и тетеньки — работники пропагандистской коллегии подпольного комитета партии, дом, в котором я по публиковавшемуся в ежедневной газете в бесконечных продолжениях «Тарзану» учился читать готический шрифт и, подражая герою «Тарзана», мастерил копья, лук, стрелы. Состоялись и родственные встречи. На второй день нашего вступления в Ригу в попавшей в мои руки телефонной книге я нашел адрес, который мог быть адресом моей тети, той, другой, у которой я некоторое время прожил, когда меня в двадцать третьем году из охранки передали на ее попечение. Я пошел по этому адресу, конечно, пешком: не только не ходили трамваи, но в городе не было ни света, ни воды. Гулко звучали мои шаги на пустынных улицах, и я, конечно, не верил, что найду тетку. Но представьте, нашел, нашел по тому же случайному адресу. Правда, тети не было дома, и мне пришлось разговаривать с маленькой, восьмилетней своей, никогда ранее не виданной двоюродной сестрой и разъяснять ей, кто я. Одновременно я и размышлял: сколь все-таки разительно несхожи оказались наши жизненные пути за эти двадцать лет — жизненные пути той и нашей семьи...

Но это почти не относится к моей биографии.

С биографией всегда так — можно ее изложить на одном листке, указав основные даты, и тогда она окажется очень простой и несложной. Чуть ступишь за эту черту чисто анкетных данных — и исчезает простота, и есть уже и над чем самому подумать, на что оглянуться.

В конце 1945 года, при демобилизации, партийные органы (к тому времени меня приняли в кандидаты партии) послали меня на работу в редакцию республиканской газеты. Проработал я там недолго, всего несколько месяцев,— потом перебросили на работу в издательство, назначили заведующим редакцией художественной литературы. Я уже опубликовал в газетах наряду с очерками и статьями несколько рассказов, мне казалось, что, работая журналистом, я смогу легче продолжать и чисто литературную работу — более свободно будет с временем. Но мои возражения не помогли, пришлось пойти трудиться в издательство, где я проработал семь лет. И писал в это время по вечерам, и в выходные дни, и когда был в отпуске. Почти точь-в-точь как тогда, много лет назад, еще рабочим пареньком, во время первого отпуска в лесу на пне писал свой рассказ «на конкурс». Только работать приходилось куда напряженнее и больше. И написанное не казалось уж таким превосходным, как когда-то, а, наоборот, доставляло куда больше огорчений.

В 1948 году рассказы, собранные вместе, вышли книгой. Называлась она «Сила сильных» и была посвящена главным образом эпизодам войны. В нее вошли и два рассказа из тех, написанных в госпитале, на лестничной площадке. Может быть, они в сборнике были лучшими.

В конце того же года мне удалось закончить и опубликовать повесть «Первые одиннадцать» — о первом латышском колхозе, о его людях, о том, каким путем пришли они в колхоз. Повесть родилась неожиданно и началась с чисто деловых контактов с тем первым колхозом: издательство решило взять над ним шефство.

Провел я в колхозе свой отпуск, потом еще ездил туда и написал повесть,— мне интересно было ее писать, было интересно заново беседовать со своими знакомыми и прослеживать их пути. И я понял, решил — нет, тот первый сборник рассказов, пусть его и хвалили, не был еще началом писательской тропы, вот только с этой повестью родился я как писатель, глубже вгляделся в души, начал изображать человеческие характеры.

Кстати, то, что я некогда работал в деревне, пусть в другой, совершенно отличной, в рязанской, тоже мне в чем-то помогло написать эту повесть.

А мой «опыт» работы на заводе помог чем-то в работе над романом «Будущее начинается сегодня» (1951), рассказывавшем о послевоенной жизни рижских рабочих. В 1955 году я закончил роман «Вышли мы все из народа»,— одной из героинь этого романа является молодая девушка-работница, ставшая депутатом райсовета; главное в романе, наряду с прослеживанием этого пути героини,— тема борьбы со старым миром. В 1960 году, после поездки на Дальний Восток, выпустил книгу об этой поездке «Редакция на колесах», в 1964 году опубликовал роман «Наследство», два года спустя — повесть «Эрика, Дзидра и другие», затем, в 1969 году, еще одну повесть — «Чаша весов». Вот как странно получается: кажется, только что, вспоминая два прожитых в Ашхабаде года, я говорил,— быть может, из того материала когда-нибудь тоже вырастет повесть. Быть может. Когда-нибудь. Думал — да нет, если и будет, то не скоро. А замысел неожиданно выпестовался, сложился и, сложившись, не давал покоя, отодвинул в сторону другие, ранее возникшие, и, отложив начатую рукопись, я писал повесть по ашхабадским впечатлениям, перед глазами одна за другой вставали картины тех дней. И теперь, еще раз заново просматривая эти строки, я должен их дополнить, упомянуть и эту повесть как уже написанную. Как это получается? Как это одна из ненаписанных повестей вдруг заявляет свои права на то, чтобы за нее взялись в первую очередь? В чем тут секрет? Да, так вот бывает...

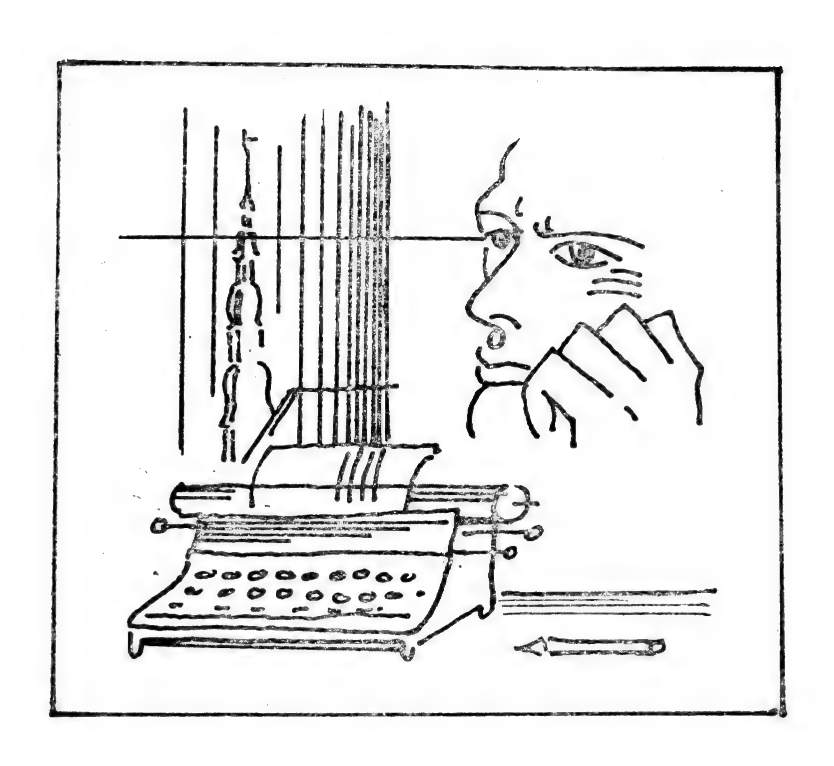
Что из написанного самому кажется наиболее удачным? Взять и наряду с повестью «Первые одиннадцать» назвать последние свои работы? Но боюсь, пройдет совсем короткое время — и на них тоже буду смотреть очень критически, а может быть... нет, не буду так смотреть? А больше всего я люблю те книги, которые еще должен написать, которые напишу. О них думаю и подсчитываю — что еще успею сделать? Думаю и о той, может быть, самой важной книге, которую все-таки тоже обязан написать, в которой каким-то образом преломится история многих близких людей, всей нашей семьи, такой типичной для лет революции,— один за другим они вырастали, еще в преддверии пятого года, и уходили на

борьбу, в подполье, в тюрьмы и ссылки, один за другим гибли, на место их становились другие. Сестру отца Лавизу расстреляли белые в 1920 году, самого его, как я уже рассказывал,— в 1921 году. У одной из моих теток, сестры матери, погибли три мужа, последнего, третьего, расстреляли в сорок первом году ворвавшиеся в Ригу гитлеровцы. Перебираешь в памяти одного за другим сородичей — почти все они были подпольщиками, профессиональными революционерами, — в бурях революции складывалась сама судьба нашей семьи. Да, об этом надо написать. Много еще есть таких, самых любимых, книг, которые нужно написать.

За синей птицей







Тетрадь первая

ЦВЕТНЫЕ СНЫ

СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК

Дверь купе открылась рывком. Вошел плечистый, высокий мужчина с кустистыми бровями. То были не брови, а, можно сказать, настоящие черные заросли над глазами.

— Познакомимся,— громко провозгласил наш новый попутчик.

Голос у него был рокочущий.

— Вы кто такой? Чем занимаетесь? — Он повелительно кивнул мне.— Не стесняйтесь. О себе, к примеру, сам все расскажу. У вас здесь я был на совещании работни-

ков сельского хозяйства. Слыхали про такое? С речами я не выступаю, а поработать пришлось крепко. У меня на руках все данные, если кому что нужно, ко мне обращаются: Поликарп Прохорович, Поликарп Прохорович! И дело, что мне доверили, я хорошо знаю. Все, что нужно, знаю. А кто вы такой? Ах, литератор? Отложите книгу. Лучше побеседуем. А вот я люблю читать ненаписанные книги. Поговорить с людьми, чтоб они про себя рассказали. Вы тоже должны читать ненаписанные книги. Вы меня послушайте, я вам такого нарасскажу, вам только записать и останется. Если б мы недельки две побыли вместе, книга у вас была бы готова. Вы неправильно книгу держите — свет падает только на одну страницу.— Глянув и на второго соседа, который сидел за небольшим столиком у окна и собирался ужинать, Поликарп Прохорович начал поучать и его: — Кто же так хлеб режет? Неправильно. Нож надо с наклоном держать.

Еще оказалось, что сосед не сумел как следует выбрать в магазине туфли, которые только что приобрел и уже надел.

— Когда покупаете обувь, перво-наперво хорошенько ее прогните, проверьте, какая подметка,— солидно поучал нас Поликарп Прохорович.— Я такой человек, все прямо в глаза люблю говорить. Это всем на пользу идет, так что нечего обижаться. Всегда надо у других людей учиться, а если кто поучит, скажи ему спасибо. Человек должен много знать. Как называется главный город Эквадора? Вы не знаете, а я знаю. Спросите меня про любую страну — я вам все про нее расскажу. Какое мне дело до чужих стран и их столиц, я же работник сельского хозяйства, правда? А я все равно знаю... Погодите-ка, покажу я вам, какие дочке купил туфли. У меня дочка взрослая, один я ее вырастил. С женой разошлись, давно это было, сразу после войны. И договорились, что дочка останется при мне. Вы думаете, легко одному дочь воспитывать, без материнского глаза? Но я такой человек — все сделаю... Жизнь меня по-всякому кидала. То есть не то чтобы жизнь, а обязанности. Да... А что такое жизнь? Дом, обязанности. Украину я хорошо знаю, как свои пять пальцев. Белоруссию тоже, и Сибирь, и Север... Хотите, про Азербайджан вам расскажу? Вот в Латвии у вас, правда, в первый раз...

Поликарп Прохорович вдруг стал прислушиваться к тому, что происходит в соседнем купе.

— Знаете, кто там едет? Заместитель министра сельского хозяйства Украины. Вот это женщина, я вам скажу! Знает свое дело... Мне с ней поговорить треба. Она мне в одном деле помочь может! Ха, а что вы думаете, министры такие же люди, как и мы с вами...

Минуту спустя голос Поликарпа Прохоровича рокотал за стенкой, в соседнем купе.

Был уже поздний вечер.

Я вышел в коридор, втихомолку надеясь, что бровастый скоро закончит переговоры с заместителем министра, мы встретимся с ним в коридоре и он тут же снова начнет рассуждать и поучать и, как любитель откровенных разговоров, быть может, расскажет о своей жизни. Каков он на самом деле? Только ли самодовольный хвастун? Что-то выдавало в нем энергичного, знающего дело работника. Быть может, я ошибаюсь? И что это за осложнения были в его личной жизни? В сущности, Поликарп Прохорович не успел еще ни о чем рассказать. Сам он казался несколько излишне самоуверенным и назойливым. Но какая-то черточка характера этого человека как будто уже выявилась, и любопытство толкало еще поговорить с Поликарпом Прохоровичем, вернее — послушать его. Потому что бровастый редко разрешал собеседнику вставить слово. Но, быть может, в нем как в человеке и нет ничего особо интересного и только в первые минуты Поликарп Прохорович своей внешней броской манерой держаться обращал на себя внимание? И все-таки...

— Дарья Михайловна, я вам говорю — на все в жизни надо смотреть открытыми глазами. Вы скажете — философия! Что поделаешь, мне нравится пофилософствовать...

Большеглазая проводница с болезненным лицом, проходя мимо, на миг задержалась у двери, за которой грохотал голос, покачала головой.

Я уже засыпал, когда снова дверь в купе с шумом отворилась.

— Ухожу от вас,— в синей полутьме пробасил Поликарп Прохорович.— Повстречал одного друга в шестом купе, а там свободное нижнее место. Надо и о себе позаботиться, я рассуждаю так: если можешь воспользоваться удобством — пользуйся. И вы опять же избавитесь от беспокойного соседа, ха-ха-ха!

На другое утро поговорить с Поликарпом Прохоровичем не удалось. Пока мылись, завтракали, укладывали вещи, показалась Москва.

Поликарп Прохорович вышел из вагона чуть ли не первым. Оглянувшись, он заметил меня и тотчас прогремел:

— Ага! Сосед! Доброе утречко, и прощайте! Что, и с утра тоже книжечку почитывали?

Так промелькнула, пошла своей дорогой, оставшись «непрочитанной», еще одна «ненаписанная книга», еще один человек, который, возможно, рассказал бы что-то незабываемое, открылся бы как своеобразная личность. Но могло ведь статься и так, что эта «ненаписанная книга» оказалась бы незначительной, неинтересной? Кто знает.

Вступление к этой моей тетради могло бы быть и другим. Не значит ли это, что у того, что я сейчас пишу, может быть два начала? Второе пусть называется

СТАРИННАЯ ПРИТЧА

Однажды вельможе захотелось заказать художнику рисунок. В то время это было модно.

Он велел ему нарисовать петуха.

— Придите через полгода,— сказал художник.

Вельможа явился в указанный срок.

— Петух еще не нарисован. Придется подождать.

Спустя два месяца вельможа снова пришел к художнику.

— Что вы мне заказали? — спросил художник.— Ах, петуха! Присядьте, подождите.

Он взял лист бумаги, тушь, кисть и в течение получаса создал петуха,— жизнерадостный, боевой, взъерошенный и свирепый, вытянув шею, разинув клюв, он орал с бумажного листа так, что казалось — на самом деле слышен его крик и видно, как ворочаются его выпученные глазищи.

Тут терпению заказчика пришел конец.

— Восемь месяцев ты меня промытарил, а рисунок у тебя за полчаса готов!..

Вельможа побагровел от ярости и махал руками.

Художник молча отворил дверь в соседнюю комнату. Она была битком набита нарисованными петухами. Здесь

были петухи и снова петухи — маленькие, большие, с растопыренными крыльями и мирно клюющие зерна, петухи на насестах и на столбах забора. Восемь месяцев, изо дня в день, художник работал, смотрел и рисовал петухов, пока не добился того, чего хотел, и не смог нарисовать петуха, казалось бы, легко и быстро...

Эту древнюю притчу мне рассказал в своей рабочей комнате знакомый художник. Комната была небольшая, узкая, с маленьким окошком. Но в ней жил целый мир — кипы акварелей и рисунков лежали на полках, на полу, громоздились на столе. Художник показывал свои работы одну за другой, и казалось — нет им конца, и хотелось еще и еще смотреть. Одних морей было по крайней мере сорок,— окутанные легкой дымкой или иссушенные солнцем, желтоватые, словно слившиеся с песчаным берегом, или черные, угрожающие, потемневшие под свинцово-темным грозовым небом. А там вон еще одно море — фиолетовое, затуманенное сумерками, и еще одно — багровое, пылающее... Позже, на выставке, из всех этих морей я увидел только одно.

Художник вынул из папки очередную акварель:

— А этот пейзаж я увидел во сне и написал его по памяти.

— Вы видите цветные сны?

Художник удивленно и заинтересованно посмотрел на меня:

— А вы — только черно-белые?

— Да,— вынужден был признаться я.

Так я выяснил, что человек способен видеть цветные сны. С тех пор и я хоть и не очень часто, но вижу их.

...Один из наших поэтов, сотрудник выездной редакции «Литературной газеты», вернулся домой, то есть в вагон, который стоял на запасных путях во Владивостоке, поздно — примерно часов в одиннадцать вечера.

Мы еще сидели в салоне и болтали.

Лицо поэта сияло, он был очень доволен.

— Ну, как было в телестудии?

— Хорошо, очень хорошо было. Под конец прочитал им новое стихотворение, я его только прошлой ночью, пока вы на своих полках похрапывали, написал. Так и сказал слушателям: прочту стихотворение, которое написал здесь, во Владивостоке, за одну ночь...

— Ты не единственный, кто не спал прошлой ночью,— восстанавливая истину, заметил кто-то из нас, тоже любителей работать по ночам.

— Но послушай,— вмешался в разговор и я,— ведь ты еще дней десять назад читал мне строчки из этого стихотворения. Как же ты говоришь, что написал его за одну ночь?

— Тогда у меня было только две строфы, но я их тоже потом переделал, написал заново,— пояснил поэт.

— Напрасно ты в телестудии так сказал, это неправильно,— обрушился на него и другой наш поэт, постарше и поопытнее, и укоризненно покачал головой.

— И позавчера ты тоже читал две строчки из этого стихотворения,— снова напомнил я.

Лицо поэта, только недавно бывшее веселым, вытянулось. Он всегда все близко принимал к сердцу и волновался.

— Ребята, что вы меня ругаете? На самом деле...— Внезапно он заупрямился: — Ведь я же написал это стихотворение, понимаете, на бумаге написал,— за одну ночь!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФРАЗЫ

В начале пятидесятых годов, когда вышла моя книга «Будущее начинается сегодня», один критик, сурово разбранив ее, тем не менее одну фразу в ней признал достойной поощрения. Критик даже утверждал, что фраза эта доказывает, что автор романа все же может что-то написать. Фраза эта, вложенная в уста одного из героев романа, парторга завода Чуприса (в то время, в первые послевоенные годы, на крупных предприятиях работали парторги Центрального Комитета партии), возмещает, утверждал критик, целое описание биографии героя, и тотчас, едва услышав ее, мы представляем всю его жизнь и понимаем, что Чуприс в рядах красных латышских стрелков сражался в степях Украины...

Насчет степей Украины и воплощения целой жизни в одной фразе и возможно ли это — не знаю.

В романе парторг завода Чуприс, расстроенный тем, что инженер Мальчиков не справился как следует с одним заданием, грозится, что он на голову Мальчикова «обрушит такие арбузы, только держись».

Когда я писал книгу, мне просто казалось, что эта фраза соответствует вспыльчивому, беспокойному нраву Чуприса, его манере разговаривать.

Но об этом я вспомнил только между прочим. Если уж рассказывать историю одной фразы, то надо вспомнить все, что с нею связано.

Здесь я не хочу ни спорить с критиком моего романа, ни специально анализировать фразу, которая ему понравилась. Появившаяся статья мне просто-напросто напомнила, где и при каких обстоятельствах я услышал слова, которые потом приписал Чупрису, и, наверное, поэтому вся предыстория этой фразы до сих пор сохранилась в моей памяти.

В начале 1932 года я учился в Москве, в выпускном классе семилетней школы. Было мне пятнадцать лет, я был секретарем школьной комсомольской ячейки и втихомолку страшно гордился этим: ведь в то время ученические организации имели большой вес — меня приглашали на педсоветы, я имел даже право иногда освобождать того или иного школьника от уроков, если, например, требовалось срочно выпустить очередной номер стенной газеты. У нашей школы был шеф — табачная фабрика «Дукат». Мы ходили туда на производственную практику, бывали на фабричных комсомольских собраниях. Меня избрали членом фабкома комсомола, чем я тоже чрезвычайно гордился, хотя, как теперь припоминаю, ни на одном заседании комитета мне побывать так и не довелось.

Все же мы были совершенно самостоятельной комсомольской организацией, непосредственно подчиненной районному комитету комсомола, райкому славной Красной Пресни.

И вот однажды я явился в райком, чтобы пожаловаться на заведующего школьным отделом Савина, который не уделял должного внимания нашей школьной ячейке, ни разу у нас не побывал.

Позже, несколько месяцев спустя, я понял, что весь школьный отдел райкома состоял из одного Савина, заведующего без подчиненных, и обойти все школы он просто был не в состоянии. Но в тот день я был полон священного негодования, воодушевлен своей миссией и заранее тщательно продумывал все, о чем собирался говорить. Слова, которые я собирался сказать, должны были быть вескими и суровыми.

В то же время я трепетал. Я ведь встречусь с самим секретарем райкома или, может, с заворготделом Петей Высоцким.

В те годы на каждом собрании комсомольского актива звучали слова: «борьба», «пятилетка», «комсомольская мобилизация». Мобилизация на строительство Кузнецка, мобилизация в Военно-Морской Флот. Мобилизация на работу в деревню. Мобилизация на железнодорожный транспорт. Мобилизации большие и малые. Иногда на одну ночь.

Внезапно сообщали:

— Собрание районного актива прерывается. Замело железнодорожные пути. Все участники совещания мобилизованы. Пойдем на Белорусский вокзал, возможно, придется работать до утра...

И зал поднимался, и гремела песня:

...Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял,
В бой, молодая гвардия
Рабочих и крестьян!

На каждом пленуме райкома или на собрании актива, заканчивая работу или отправляясь на субботник, мы пели «Молодую гвардию» — песню, которая считалась комсомольским гимном.

Был у нас несколько раз на собраниях районного актива и на заводских комсомольских собраниях Митя Лукьянов, секретарь ЦК комсомола. Бывал Персиц, секретарь МК комсомола, еще недавно работавший у нас в Краснопресненском райкоме. Они говорили от имени пятилетки, призывали работать и руководить молодежью по-большевистски. Они были теми, кто объявлял о новых мобилизациях. Руководителей райкомов комсомола и городской организации, секретарей Центрального Комитета хорошо знала молодежь каждого крупного завода.

И в моем представлении — представлении пятнадцатилетнего паренька, хотя мне и была доверена столь ответственная должность, как пост секретаря школьной ячейки,— каждый из этих комсомольских вожаков являлся удивительной личностью, выдающимся человеком с громадным опытом, непревзойденным организатором...

Потому-то с таким почтением, прислушиваясь к неровному биению собственного сердца, поднимался я на третий этаж, где размещался районный комитет комсомола.

В длинном коридоре множество дверей с разными надписями. Все двери распахнуты настежь или полуоткрыты. В одних комнатах не было ни души, в других разговаривали молодые люди... Остро пахло свеженобеленными стенами и табаком.

Я почти потерял надежду встретить Петю Высоцкого, так как уже несколько работников райкома на мой вопрос отвечали одно и то же: «Здесь был. Погляди в других комнатах, может, еще поймаешь. Он, наверное, на «Трехгорку» собирается или на «Авиаприбор», может, и уехал...»

Высоцкого я нашел в последней, небольшой комнатке. Он сидел на краю стола, на нем была желтая, небрежно распахнутая кожанка. Он разговаривал с двумя парнями и какой-то девушкой, время от времени энергично вскидывая голову. Его рыжие волосы растрепались, усыпанное веснушками лицо светилось веселой насмешкой. Но меня Высоцкий выслушал очень серьезно.

— Савин ни разу у вас не был? — переспросил он, словно собираясь немедленно раскрыть страшное злодеяние, и угрожающе насупил брови.— Пообещал и не пришел? Так? Ну, пусть побережется, посыплются на его голову такие арбузы!..

Не знаю, придумал ли сам Высоцкий эту фразу об арбузах или перенял у кого-то еще, кому он стремился подражать.

Пообещав строго взыскать с Савина, Петя Высоцкий, откинув полу желтой кожанки, снова присел на угол стола, зажав в зубах папиросу. Мы с ним о чем-то еще говорили, он дал какие-то советы, сказал, что надо сделать. Все, что мне казалось сложным и трудным, было решено, улажено в один миг! Удивительный организатор и великолепный, простой парень — таким тогда казался мне Петя Высоцкий.

Несколько месяцев спустя я с изумлением узнал, что Высоцкий уходит в армию и поэтому не будет больше работать в райкоме. «Он еще так молод,— удивился я.— И этого удивительного человека, как самого обыкновенного смертного, призывают в армию?»

Прошли годы, а короткий незначительный разговор все же сохранился в памяти. Возможно, потому, что вместе с ним тотчас воскресало перед глазами все то, что было связано с тем бурным временем, с юностью. И я снова видел темное зимнее ночное небо над Москвой,

вспоминал освещенный редкими фонарями Васильевский переулок и молодую шумную толпу, вываливавшуюся на улицу из клуба какого-то завода после прерванного собрания районного актива. Парни и девушки сбивались в группы, чтобы вскоре отправиться на ночной субботник. Вспоминалось, как громко звучали юношеские голоса в вечерней тишине, как они разом заполняли переулок гамом и шумом. Вспоминалось, как звенел голос какой-то девушки — она все не могла уняться, ей хотелось еще и еще петь. Она снова завела песню, которую мы только что спели, и над крышами маленьких домишек рабочего района взметнулись слова:

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе...

И восемнадцать лет спустя, когда мне надо было написать темпераментного, несколько резковатого и насмешливого Чуприса, я отдал ему слова, которые услышал некогда от Пети Высоцкого.

В другой раз мне вспомнился случайно подслушанный в вагоне разговор молодых парней.

— Я хотел бы, чтобы всегда была весна. Это самое лучшее время года,— сказал один.

За окнами вагона и вправду плыли нежно-зеленые поля. Яростно-яркое солнце жгло и прогревало насквозь еще почти прозрачные, окутанные легкой дымкой зелени березовые рощи, и когда в открытое окно вагона врывался ветер, он нес с собой и запах прогретой весенним солнцем земли, и свежих трав, и цветов, и на сердце становилось так весело, что хотелось прыгать или сотворить что-то необыкновенное.

— Если бы исполнилось твое желание, ты был бы несчастным,— рассудительно сказал другой.

— Почему? —удивился первый.

— Потому, что созревает все осенью...

Какое-то время я держал в памяти этот разговор и придумывал, куда бы его вставить. Потом забыл о нем и вспомнил лишь пять лет спустя, когда понадобилось, чтобы один из героев романа подслушал подобный разговор.

Оказывается, все в жизни — даже случайная и как будто незначительная встреча или самый обычный вечер на берегу реки, когда за спиной у тебя легко шумят листвой деревья, а поверхность реки, над которой уже сгуща-

ются сумеречные тени, кажется застывшей, недвижимой, или последний школьный день, когда непонятно, о чем больше думаешь — о том, что оставляешь, уходя из школы, или о том, что ждет тебя завтра или послезавтра, и всякая работа, которую ты делал на своем веку, все, что ты сумел увидеть и услышать,— это материал для творчества, ничто не пропадает даром.

Кто знает, для какой новой книги память снова воскресит для тебя человека, с которым ты встречался много лет назад, или заставит отдать какому-нибудь герою слова, принадлежащие твоему другу, знакомому, кому-нибудь из родных или случайно подслушанные в каком-то деревенском доме, на улице или в поезде.

Много таких разговоров еще лежат в закромах памяти и так и остаются нигде не использованными.

На улице Кирова, около кинотеатра «Рига», мальчуган лет шести, семеня рядом с матерью, широко раскрыв глаза, спрашивал:

— Мама, мама, ракеты ночью запускают, да?

Мать не отвечала,— возможно, вопрос любознательного сынишки оказался для нее слишком трудным.

Мальчик забежал вперед, загородил матери дорогу и затараторил:

— Ракеты ночью запускают, правда? Тогда луну видно...

Найдется ли в каком-нибудь рассказе или романе место для этого разговора? Кто знает. Придет новый день с новыми впечатлениями и, быть может, заставит завтра, послезавтра или лет через десять вспомнить о себе.

И кто может с точностью определить, сколько времени надо отдать той или иной работе, если все, что до того часа было прожито, пережито, увидено, совершенно незаметно входит в то, что пишешь? Не помню, где я это прочитал, кто это сказал: если писатель написал книгу в тридцать лет, значит, он писал ее тридцать лет, если в пятьдесят лет, то и писал ее пятьдесят лет...

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Илья Ильф, отыскав необычную, толстенную конторскую книгу или блокнот, тщательно выводил на первой странице свою фамилию и адрес и хвалился друзьям, что отныне он ежедневно будет все записывать.

Какое-то время он действительно так и делал.

Проходило несколько недель или месяца два — писатель забывал о книжке, которая в первое время так его радовала.

А полгода спустя ему снова попадалось в руки достойное внимания, в добротном переплете изделие бумажной промышленности, и Ильф опять начинал вести записи.

Некоторые из этих записных книжек сохранились, после смерти писателя были опубликованы, дошли до читателей, и мы еще сегодня перечитываем их и всякий раз, открыв какую-то страницу, поражаемся острой наблюдательности Ильфа, восхищаемся его юмором, его умением подметить в водовороте будней яркие, характерные детали...

Сергей Антонов, отвечая на вопрос, как он относится к записным книжкам, сказал, что без записей, которые накопились за время поездки на целину, он не сумел бы написать повести «Аленка» и что записная книжка всегда была лучшим другом.

А Константин Паустовский утверждает, что ни одно из слышанных им и записанных характерных выражений он не мог нигде использовать, они были не созвучны тексту, и в конце концов он бывал вынужден их вычеркнуть. Память, отмечает писатель, сама сохраняет важное, отбрасывает незначительное. А записные книжки Чехова и Ильфа следует рассматривать как образцы своеобразного литературного жанра, а не как сырье для дальнейшей работы.

И вправду, записной книжки, когда она нужна, никогда под рукой не оказывается. Копаешься в карманах, еще и еще раз перетряхиваешь их — нет, нету! И ни одного чистого листика бумаги тоже, оказывается, не найти.

Только и есть в кармане что какой-то пригласительный билет или использованный билет в кино. Можно на синем билетике написать то, что нужно. Но билеты легко теряются. И нередко даже и такого билета в кармане не обнаружишь. Тогда надо постараться удержать в памяти то, что услышал или увидел; идешь и занимаешься тем, чем должен в тот день заниматься, а в голове гудит то, что необходимо записать, и ты повторяешь это про себя, чтобы не забыть, а на первое впечатление, которое показалось тебе столь важным, уже наслоилось другое и третье; теперь ты все их стараешься сохранить в себе до минуты, когда присядешь за стол, возьмешь лист бумаги

и перо. Случается, целый день крутишься так, взволнованный своими впечатлениями, наблюдениями, кто-нибудь из повстречавшихся тебе знакомых может даже решить, что ты слишком рассеян, а не то и хуже.

Наверное, следовало бы предупредить всех близких, друзей и знакомых литераторов, а заодно и все человечество: если вы встречаетесь с человеком, посвятившим себя сочинительству, будьте осторожны! Он будет говорить с вами о самых обычных вещах, в магазине будет покупать сахар или хлеб, стоять в очереди за «Ригас балсс», в руках у него не будет ни записной книжки, ни вечной ручки, он ничего не станет записывать, но тем не менее он будет на работе! Потому что вся жизнь для писателя рабочее место, и, пожалуй, нет минуты, когда бы он не жил двумя жизнями. Одной — обычной и второй, в которой мозг почти автоматически хватает, впитывает в себя, аккумулирует и трансформирует увиденное. «Вот у этого мужчины улыбка особенная. Вот тот вечно говорит о том, как прекрасно он справляется с любым делом. А вот та дама всегда разъясняет вам ваши собственные мысли. А те двое влюбленных то и дело переглядываются и оба одновременно заливаются смехом...»

Все это, возможно, не будет нигде записано, просто сохранится в памяти, быть может, и позабудется, вытесненное другими, более яркими впечатлениями. Но, может быть, и незаписанное будет вставлено в книгу, в рассказ, в поэму...

Так нужна писателю записная книжка? Или не нужна?

Перелистываю старый, с войны сохранившийся блокнот.

Блокнот совсем маленький, бумага в нем желтоватая, плохая. Карандашные записи стерлись, редко какую, и то с большим трудом, разберешь. В то время мы в редакции дивизионной газеты «Латышский стрелок» писали почти исключительно карандашами. Каждый из нас тщательно хранил свои письменные принадлежности; секретарь редакции даже изобрел особую держалку, в которую можно было вложить короткий огрызок карандаша и использовать его. Бумагу сотрудникам время от времени выдавал наш печатник, он же и хранитель бумажных богатств, не забывавший отчитать каждого из нас за расточительство. А наборщики с заведующим типографией во главе каждый день плакались, что написанное карандашом невоз-

можно разобрать, и можно было то одного, то другого из них видеть разгневанным, с зажатой в руке рукописью бегущим в палатку или в землянку к провинившемуся автору, чтоб тот сам расшифровал свои иероглифы. Частенько провинившимся бывал я.

Держу в руке старый блокнот. Страница. Другая. Третья. Ничего не могу разобрать. Наконец нахожу одну в какой-то степени сохранившуюся фразу. Только одну.

«...Рыжая, запряженная в сани лошадь на дороге, бока заиндевели, обрисовывая ребра...»

Стараюсь припомнить, в какой связи сделана запись, и понять, что могло быть написано дальше.

Внезапно в памяти оживает давно ушедший день: я вижу рыжую лошадь на белой дороге и ее очерченные инеем ребра. Вокруг все бело — белые невысокие холмы по обе стороны дороги, белое поле стелется за пригорками слева. Белы и землянки, которые можно разглядеть подальше, у дороги. Легкие дымки поднимаются с крыш некоторых землянок и быстро расплываются в выбеленном морозом небе. Справа, на пригорке, видна группа солдат, стоящих у кучи свежевырытого песка. Песок, хотя его и немного, среди снега выглядит неправдоподобно, слишком ярко-желтым.

Я все еще гляжу в ту сторону, не догадываясь, почему собрались люди.

Вдруг, разрывая тишину, хлопает резкий винтовочный залп. Вслед торопится автоматная очередь. И снова гремит залп, второй, третий.

Дыма после залпов почему-то не видно. Прозрачно небо над могильным холмиком. Рядом с ним чернеет одинокое, растопырившее щупальца ветвей дерево.

На пригорке в молчании застыли солдаты в серых шинелях и в желтоватых овчинных полушубках.

Я тоже останавливаюсь на обочине дороги. Стою неподвижно. А потом прибавляю шаг — надо спешить в штаб дивизии.

Это было за несколько дней до боев под Нарвой.

Все это напомнила мне расшифрованная фраза, но что было написано на замусоленной страничке блокнота дальше — не могу ни угадать, ни додуматься, ни разобрать...

Тотчас после демобилизации, в 1945—1946 годах, работая в редакции газеты «Циня», я не успевал запасаться новыми и новыми записными книжками. Хорошо, если книжки хватало на два-три дня. С утра часов до пяти

пополудни я бегал по городу в поисках материала для газеты. И если вечером подворачивалось срочное задание, я радовался ему. Жизнь только-только начинала восстанавливаться.

Перед глазами еще стояли дни, когда Рига опять стала получать воду, газ, и дни, когда на улицах снова появились трамваи; во дворах заводов рабочие разбирали развалины и закладывали фундаменты первых новых цехов. Все продукты выдавались еще только по карточкам, и хозяйки терпеливо изучали продуктовые талоны и тщательно делили скудные порции на членов семьи. После одиннадцати ночи появляться на улицах можно было, лишь имея специальный пропуск. Днем и ночью кипела работа на разрушенной набережной Даугавы. На барахолке таинственные личности и дородные тетки из-под полы продавали теплые шапки, пальто, карандаши, вечные ручки, старую обувь, мыло. Тут же какой-то старик в толчее рынка терзал шарманку, и она жалостно выводила украденный у современности мотив «Катюши». В Наркомате коммунального хозяйства (министерств еще не было) и в Рижском исполкоме, срочно решая текущие дела, уже планировали, каким должен стать город. Открыли Дворец пионеров, и в новогодний вечер в сверкающем огнями зале у первой общей елки собрались рижские ребятишки и маленькие девчушки в белых фартучках, взобравшись на сцену, широко раскрывая рты, пели:

Скоро взрослыми мы станем,
Все мечты осуществим.

Одолевало желание быть повсюду, все видеть, находить для газеты факты, которые бы всесторонне показывали кипучую жизнь, были бы свежими и необычными. В новогодний вечер после елки во Дворце пионеров я долго блуждал по темным коридорам здания Центрального телеграфа, размахивая своим корреспондентским удостоверением,— мне пришло в голову, что интересно бы установить, сколько получили и послали рижане поздравительных телеграмм в первый послевоенный Новый год.

Меня командировали в Лиепаю — в обожженный войной город с разрушенными улицами. После беседы с грузчиками в порту я тотчас бежал в музыкальную школу. Оттуда — на восстанавливаемый пробково-линолеумный завод. Затем опять в порт, куда должен был прибыть какой-то пароход. Потом в театр: режиссер настоятельно

просил прийти, а я не мог упустить возможности впервые не простым зрителем, а корреспондентом побывать в театре, сидеть в режиссерской ложе...

Казалось, все, что я изо дня в день заносил в свои блокноты, было использовано во многих опубликованных в газете информациях, подписанных разными именами. Мне почему-то нравилось по крайней мере раз в неделю придумывать себе новый псевдоним. Да, всего лишь несколько строк на газетной полосе, но зато мои, и факт, о котором они рассказывают, такой, какой другие не могли отыскать. Какое-то время спустя я просмотрел измятые в карманах блокноты,— оказалось, в них поднакопилось материала по крайней мере для нескольких больших статей.

...Перелистываю записные книжки времен поездки на Дальний Восток. Взгляд останавливается на какой-то фамилии: Ковалев. Заведующий Центральной сберегательной кассой Владивостока. Что интересного может быть в жизни руководителя сберкассы? Счета? Балансы? Денежные перечисления? Ковалев участвовал в боях на подступах к Волге. Вместе с десятком солдат принял бой с гитлеровскими танками. Они уничтожили несколько танков. Об этом бое в 1942 году писал Илья Эренбург в одной из статей.

В кабинете заведующего сберкассой за большим письменным столом сидит солидный, коренастый мужчина. Когда к нему входят сотрудники, Ковалев прерывает разговор со мной и дает им короткие деловые указания. И снова он меняется, становится многословней, когда возвращается к рассказу о событиях 1942 года, к боям, к воспоминаниям о боевых товарищах. То, что с ним было на фронте, кажется Ковалеву самым значительным в его жизни, и он обещает в следующую нашу встречу показать сохранившиеся у него материалы — фотоснимки, газеты того времени, еще какие-то документы. Об остальном, что было в его жизни, Ковалев говорит неохотно, скупо, и на его лице появляется выражение скуки — что там останавливаться на таких обыденных вещах! Он не догадывается, что самое интересное — это вся его жизнь, день за днем.

В пятнадцать лет в одном из отдаленных селений Приморского края он вступил в комсомол. Вскоре подошла очередная комсомольская мобилизация — на этот раз была мобилизация на работу в финансовые органы. Кова-

лева послали на курсы, по их окончании назначили в районную сберкассу. Через некоторое время его перевели в другой район, потом мобилизовали на работу в деревню, посылали в бесчисленные командировки, снова срочно вызвали в центр и направили в отдаленный район, чтобы укрепить там финотдел.

Вся юность Ковалева, если вглядеться, прошла с комсомольской путевкой в руках. Начинается война, и он приносит в военкомат одно заявление за другим. Его не берут в армию — он необходим для работы на месте. Но наконец-то желание Ковалева осуществляется: с очередной командой мобилизованных на катере он отправится во Владивосток, чтобы оттуда следовать на фронт. Команда уже собралась, катер готовится к выходу в море. В последнюю минуту приходит распоряжение: Ковалева из армии отозвать. Ковалев настаивает на своем. Катер отдал концы, уже гудит его мотор. Ковалев ничего больше не слушает, разбегается и с пирса прыгает на отплывающее судно.

Вот и еще одна ненаписанная книга, еще один человек, которого я встретил и о котором не рассказал. Еще один долг. Много их накопилось. Они напоминают, они требуют.

...Старые записные книжки лежат в ящике стола, засунуты на полки шкафа в свободные промежутки между толстыми томами и комплектами журналов. Откроешь дверцу шкафа — записные книжки начинают вываливаться из него. Поднимешь их с пола, раздумываешь — куда бы затолкнуть? Может, действительно следует раз и навсегда навести порядок, выкинуть то, что не нужно? Перелистываешь одну — нет, эту все же нельзя еще выбросить. В другой тоже находишь какую-то интересную запись. Третья? О третьей еще надо подумать. Сама жизнь, вся жизнь служит источником творчества, всю ее ты должен записать, в этом твой долг. Копятся долги, но накапливается и опыт. Из жизни, как деревья из земли, вырастают замыслы и набираются сил...

О КАЖДОЙ КНИГЕ МОЖНО НАПИСАТЬ РОМАН

Друг

На заснеженном поле темным пламенем горят три наших танка. Танки черные, черный густой дым и копоть клубятся над тяжелыми, ставшими неподвижными маши-

нами. И темно-багровые языки пламени пляшут в гуще черного дыма.

— Друг, ты живой?

Я лежу в воронке от снаряда, прижав голову к земле. На каску с краев воронки сыплется песок.

Рядом со мной, еще раньше найдя здесь прибежище, в таких же маскхалатах, из белых ставших пятнистыми от копоти, земли и крови, съежились еще два солдата. Поворачиваю голову, невольно улыбаюсь.

— Да вот, жив.

— Немцы пойдут в контратаку,— говорит один.

Проверяю винтовку — не забит ли затвор снегом или песком. Вгоняю в ствол патрон. Если пойдут в контратаку...

Гитлеровцы, едва мы следом за танками продвинулись метров на пятнадцать вперед, встретили нас ураганным огнем. Земля рвалась. За несколько минут она была разворочена. Белое поле покрылось черными ранами воронок. Пехотинцы, оступаясь, падая, снова поднимаясь, все еще пробивались сквозь огонь. Но сильные взрывы разорвали цепь наступающих — черные столбы один за другим поднимались из земли к небу, и снова и снова падали снаряды. Загорелись танки...

По полю в разорванном, обгоревшем комбинезоне, пошатываясь, идет танкист. Около воронки, в которой я лежу, он останавливается:

— Что с тобой, друг? Чего остался здесь?

Те двое, что были со мной, ушли или уползли — я и не заметил, как они оставили наше убежище. У меня болит раненая нога, но сейчас не это главное: меня пригибает к земле тяжелая сумка с шестью минами. В последнюю минуту, перед тем как идти в атаку, меня перебросили к минометчикам.

— Мины придется оставить. Ничего не поделаешь,— говорит танкист.— Давай к своим выкарабкиваться, пока не поздно.

Не могу снять сумку с минами — она повешена под маскхалатом. У танкиста находится нож, он разрезает лямку.

— Вставай, друг, попытаемся как-нибудь добраться до своих.

Когда доползаю до блиндажей, откуда мы пошли в атаку, встречаю ефрейтора Шера. На лице у него ссадина, тонкая струйка крови течет по щеке.

— Надо идти искать наших ребят,— может, кто там остался и не может выбраться.

Он рукой указывает на поле боя.

За блиндажом санитар Карклинь перевязывает раненых. Лейтенант Бривуер, широко расставив руки, как слепой, ощупью, медленно уходит по дороге в санроту. У него прострелена грудь. Карклинь перевязал ему рану, и теперь ему самому надо двигаться дальше, — может, по дороге попадется повозка, которая довезет до санроты.

...Мне повезло. По правде говоря, помогли люди, которых я встретил в первый и в последний раз в жизни и лица которых так и не успел запомнить.

— И далеко надеешься добраться? — окликнул меня какой-то солдат.

Я ковылял по дороге, опираясь на винтовку как на костыль.

— Вон там повозка. Эй, ездовой!

Мне помогли взобраться на повозку. Была зима, но ездовые не успели еще сменить повозки на сани и везли боеприпасы на позиции как могли.

— Эй, ездовой!

Повозку снова останавливают. Рядом со мной укладывают еще одного раненого.

— Аркаша, ну как ты? Ничего, ничего, потерпи...

— Ты скажи там...

— Скажу...

Что следует сказать — непонятно. Но солдат, который какое-то время идет рядом с повозкой, вероятно, знает, что надо сказать.

— Держись, Аркаша! Держись! — в который раз повторяет он перехваченным болью голосом.

— Иди, делай, что положено! — оглядывается ездовой.— Я взялся его доставить, а ты иди выполняй...

— Да,— говорит солдат,— он тяжело ранен.

— Прощай, друг,— вздыхает раненый.

— Держись, Аркаша! Аркаша!

Солдат остается на дороге, смотрит вслед повозке, потом поворачивается, уходит назад.

В санроту мы приехали, когда совсем стемнело. Зимние дни, как известно, коротки. Меня подняли с повозки, какой-то санитар взвалил на плечи и втащил в палатку. Аркашу в палатку не внесли — он умер по дороге.

И еще надо было бы рассказать...

Когда ночью небольшой санитарный автобус должен был везти нас из санроты в санбат, в последнюю минуту обнаружилось, что в палатке остался мой вещевой мешок. А в нем мой диплом и письма. Обозленный, опоясанный множеством ремней старшина начал кричать — этого еще не хватало, еще и о вещмешках заботиться! Я решил, что своего мешка больше не увижу. Но вдруг железная дверца автобуса распахнулась, заветный мешок упал к моим ногам, дверца, лязгнув, снова захлопнулась. Взревел мотор, автобус качнулся. Мы поехали.

Только позже, развязав мешок, я понял, что он не мой. Но сделать уже ничего нельзя было. Пропало нехитрое мое барахлишко. А кто-то другой лишился своего. Где он, человек, чей мешок по воле случая оказался в моих руках? По совести говоря, мне следовало извиниться перед ним и поблагодарить его. Хотя и был я без вины виноват. Ничего особенного в мешке не оказалось. Там лежали чисто выстиранные портянки, кусочек мыла. И еще лежало несколько листков бумаги и два карандаша. Карандаши и бумага! Они попали ко мне в руки... А ведь я, даже если бы мне и не на чем было, должен был писать. Это я чувствовал как неодолимую потребность. Как долг. Я не мог не писать.

Я должен был рассказать о темных зимних ночах, когда, сжавшись, мы сидели в окопах, о том, какой холодной кажется тогда земля, о том, как бесшумно в такие ночи прилетает вражеская пуля.

— Так вот оно и бывает,— тихо сказал кто-то.— Еще одного нет.

— Что, убили кого?

— Рядом здесь стоял. Незнакомый, не знаю, какого взвода.

Надо было рассказать о том, как в сумеречный предрассветный час в окопе, став на ящик с боеприпасами, командир читал приказ Военного совета о переходе в наступление. Надо было рассказать о том, как, взвалив на плечи тяжелые ящики с патронами, мы несли их бесконечно долгой дорогой к передовой, и как белая ракета, внезапно взлетевшая в воздух, дрожащим светом осветила дорогу, вывороченные снарядами, лежащие на обочине ели, и как после этого вокруг нас начали рваться мины, и как один из нас, не выдержав, бросил ящик и побежал. Остальные, согнувшись под тяжелой ношей, медленно

плелись дальше, затем цепочка носильщиков повернула и скрылась в лесу.

Надо было рассказать о том, как перед атакой, усевшись на снегу, маленькой солдатской лопаткой мы рубили и делили замерзшую, ставшую твердой как камень буханку хлеба.

Надо было рассказать о товарищах — о всегда бодром краснощеком Павнине, об упрямом правдолюбце Озоле, о комсорге роты Кнегеле, который, как я потом узнал, пал в январских боях.

Первый рассказ так и должен был называться — «Друг».

Надо было рассказать о дружбе, которая рождалась на передовой, под огнем противника, и о той силе, которая объединяла бойцов, заставляла преодолевать все и вся и снова и снова подниматься, верить в победу и отдавать ей свою жизнь.

Между прочим, в санбате в качестве друга ко мне прилепился какой-то верткий и говорливый парень. Он лежал рядом со мной на нарах, так же, как и я, положив под голову вещевой мешок. Нары были двухъярусные, мы лежали на втором этаже, под самым потолком. Но и здесь мой сосед чувствовал себя удобно, ежеминутно подползал к краю нар и, свесив голову, заводил длинные разговоры с лежащими внизу.

— Ну, друг, как дела? — вернувшись на место, всегда спрашивал он.— Может, тебе что нужно? Гляди, друг, я кладу тебе в мешок твою пайку хлеба.

Днем позже, уже в каком-то прифронтовом госпитале, который был устроен в крестьянском доме, лежа на таких же сколоченных из грубых досок нарах в небольшой темной комнатке, я начал шарить в мешке, искать свой хлеб. Хотелось есть. Хлеба в мешке не оказалось. «Ах, друг, друг!» — вспомнив бойкого парня и его усердие, я усмехнулся.

Нужно ли здесь вспоминать давний незначительный случай? У меня и у самого возникло сомнение. Может, вычеркнуть уже написанное? И все же нет, не стоит, нельзя вычеркивать эти несколько строк. Нельзя не потому, что, по русской поговорке, «из песни слова не выкинешь», и не только потому, что в то время хлеб имел другую, колоссальную цену. Нельзя потому, что случай с вертким парнем еще раз напомнил мне о других, настоящих друзьях. И еще сильнее окрепло во мне желание

написать об этих людях, о том, как они, сами усталые, раненые, помогали товарищу, поддерживали друг друга. Да, моим долгом было рассказать о них, настоящих бойцах, а не только об этом мелком жулике.

В памяти снова ожил последний вечер перед началом наступления. Шалаш из ветвей, который мы второпях соорудили в лесу. Посередке костер. Руки протянуты к красному пламени. Спины мерзнут, солдаты горбятся, ежатся. Быстро входит политрук роты Панков — небольшого роста, в ватнике, в измятой шапке. Нос у него как маленькая пуговка, лицо в резких морщинах.

— Утром пойдем на исходные, потом в наступление. Сперва будет артподготовка. Так что не трусить, когда над головами полетят снаряды! А потом по команде — все как один! Комсомольцы должны быть впереди!

Значит, через несколько часов...

Парни у костра зашевелились.

— Из мешков надо выкинуть все лишнее, чтобы в бою ничто не мешало,— сказал ефрейтор Шер.

— И всем держаться вместе,— сказал кто-то еще.— Если товарища ранят, помогать. Слышите, ребята?

— Кому табачок нужен, кто курить хочет?

— У меня ремень лишний, никому не нужно?

— Ребята, только помните — все как один...

Пришел повар Кит, присел у нашего костра.

— Вам, ребята, надо хорошо выспаться, завтра у вас тяжелый день,— задумчиво сказал он.

Оттаявшие ветки шалаша роняли в костер тяжелые капли. Упав на красные угли, они, шипя, лопались и исчезали.

...Грузовики, разные санитарные поезда везут меня от деревни к деревне, от города к городу, все дальше от фронта. В мешке лежат карандаши и бумага. Нет надежды, что я встречу владельца мешка,— все равно я не знаю, кто он. Бумага и два карандаша напоминают —ты должен писать! Суровыми, отрывистыми словами, такими, какой была сама жизнь, надо рассказать о фронте. В ярославском госпитале сижу на кровати, положив бумагу на колени, сгорбившись, пишу. Госпиталь переполнен. Моя кровать стоит на площадке, у самой лестницы. С утра до ночи мимо меня идут обитатели госпиталя. Всегда гуськом шагают с третьего этажа раненные в руку и плечо. Руки у них закованы в гипс, закреплены на планках и вытянуты в стороны, как крылья.

Госпитальные остряки прозвали их «самолетами».

В очередной раз вспыхивает у кого-то спор с санитаркой.

— Больной, вам пора на перевязку...

— Мы не больные, мы раненые!

Я все пишу и пишу, торопясь рассказать обо всем, о чем, по-моему, следует рассказать.

Уже после войны повстречался я со своим соседом и приятелем по госпиталю артиллеристом Эгоном Ребоком. Он сказал:

— Тогда-то я удивлялся. Думал: ну, этот свихнулся — сидит и только пишет и пишет...

Но иначе я тогда не мог: я должен был рассказать о пережитом, увиденном, рассказать правду о фронтовой жизни, должен был сказать нечто такое, что никто другой еще не сказал, что мог сказать, передать другим, казалось мне, только я. Наверное, в таких случаях говорят: не могу не писать. И быть может, именно в этом стремлении открыть правду жизни такой, какой ее еще никто не увидел, и теми словами, какими никто еще не сумел этого сделать, и скрыта та сила, что заставляет нас браться за перо, быть может, именно в этом и таятся истоки творчества? Правда, не всякий раз удается найти нужные слова, не всякий раз удается сказать что-то новое. Но все равно ты должен взять карандаш, ручку или сесть за пишущую машинку и писать, ты должен исполнить свой долг.

Четырежды переписанному рассказу «Друг» суждено было еще три года оставаться в рукописи и выйти в свет в 1946 году.

ПЕРВЫЕ ОДИННАДЦАТЬ

Солнечным июньским днем легковая машина, свернув с шоссе, остановилась у стоящего на проселке хутора. Год назад здесь, в Штибской волости, бандиты убили парторга.

Теперь тут уже шесть месяцев как существует первый в республике колхоз «Накотне» («Будущее»).

Бригадир Арвид Уэрт рассказывал:

— ...К осени я уже столько наработал у хозяина, что мог получить у него на несколько дней лошадь и плуг и вспахать свое поле. Прокладываю борозду за бороздой

и вижу — идут парторг и председатель сельсовета Лискне.

«И долго ты еще собираешься так мучиться?»

«Какое же это мучение? Нелегко, конечно, но, что полагается, надо сделать».

«А если в МТС трактор взять?»

«Это мне не вытянуть, слишком дорого...»

«А если нескольким договориться, сложиться вместе?»

«Тогда — да. Это дело другое. Но каким образом?»

«Если будет колхоз, ты вступишь?»

«Стой, стой, легче на поворотах! Нельзя так вдруг...»

«А так надрываться можно? Ты подумай, взвесь...»

— И вот, когда заговорили насчет колхозов, подумав, — а думалось нелегко, — собрались мы, первые, одиннадцать семейств...

Артур Миллер, тогдашний садовод «Накотне», вспомнил первые послевоенные месяцы, когда ему и его семье негде было даже переночевать, и свою тогдашнюю жизнь вспомнил он, как долгие годы учился садовничать, как строил для хозяина теплицу, а когда она была готова, хозяин выгнал его, нашел другого садовника; как он бился, как не мог в одиночку сладить с хозяйством и после земельной реформы, получив отрезанную у кулака полоску земли. «Скажем так, у Уэрта телега, но нет лошади, у меня лошадь, но нет телеги, сложимся — у нас обоих уже что-то есть...» — рассуждал он.

Эти рассказы первых колхозников я читаю в своей толстой тетради записей 1947 года.

Мы возвращались в Ригу, и мой спутник сказал:

— Ты должен написать книгу об этих людях. И название уже есть, само собой напрашивается: «Первые одиннадцать».

Не берусь утверждать, что именно в тот день появилась у меня мысль написать повесть о людях первого колхоза. Кажется, это было в другой раз, когда я часа в три ночи, вернувшись из колхоза домой, объявил:

— Я напишу о них! О них необходимо написать! Это замечательные люди!

Вероятно, писатель должен хоть немного да влюбиться в людей, о которых пишет, чтобы непременно хотелось о них рассказать другим...

Да, видимо, ночная клятва написать об основателях «Накотне» была дана позже. А до нее мне по крайней мере еще раз пришлось туда съездить, встретиться с

некоторыми колхозниками и — каких только чудес в жизни не бывает! — самому с собой вступить в переписку.

В тот июньский день, о котором я только что писал, мы ездили в «Накотне» с совершенно конкретным делом: коллектив издательства решил взять шефство над первым в республике колхозом, наша делегация была направлена в качестве «разведки» — разузнать, как отнесутся к такому шефству колхозники. Когда мы вернулись в Ригу, мне поручили написать от имени коллектива издательства письмо колхозникам «Накотне». Текст письма был затем утвержден на общем собрании. Неделю спустя мы снова сидели в машине и ехали в Штибе. Прибыли как раз к колхозному собранию. Прочли свое письмо. Участники собрания постановили: признать шефство делом хорошим, предложить правлению написать коллективу издательства ответное письмо.

После собрания вместе с членами правления мы поднялись на второй этаж, в светлую комнату, в которой стояли только стол и несколько скамеек. Правление должно обсудить некоторые текущие дела...

— А насчет письма, знаете... к писанию мы непривычные. Может, поможете, если взяли шефство?

Взоры членов делегации обратились ко мне. Я уже понял — придется сесть и написать ответ на письмо, написанное мною же.

Я взял ручку, сел у подоконника.

За столом члены правления решали, какие в колхозе работы первоочередные, кому выдать денежные ссуды.

Полчаса спустя, вручив членам правления свое сочинение, я стоял у того же окна, смущенно отвернувшись, притворяясь, будто похвалы меня нисколько не интересуют.

Конечно, я слушал то, что говорили о моем письме за столом. Но думал и о другом. Вспомнились многочисленные поездки по сельским районам еще в предыдущем, 1946 году. Вспомнил я стариков, с которыми разговаривал в коридорчике Народного дома одной из волостей. Они сидели в ряд на длинной низкой скамье и в ожидании собрания дымили самокрутками. Они неохотно тянули слова, когда я спросил, что думают они о колхозах. «Колхозы? Слыхать слыхали... Видать вот не пришлось». Вспомнил и председателя исполкома, с которым встретился в другой волости, вспомнил, как он рассказывал о своей работе, о разных случаях деревенской жизни, о том,

как бандиты сожгли дом потребкооперации. Вспомнил Витолда, долговязого, длинношеего парня, вместе с которым был в армии и которого после войны направили комсоргом волости. Думал я и о Миллере и о Лиекне — они сидели тут же в комнате. Какими путями пришли они к решению вступить в колхоз? Этих людей я уже немного знал... Мысли сплетались одна с другой. И в книге, которая будет написана, должны были сплестись судьбы многих людей, необходимо было проследить их жизненные пути... Казалось, повесть о первых одиннадцати начинает обретать форму.

В колхозе, когда я жил там, я встречался еще со многими крестьянами, бывал у них дома, слушал их рассказы, наблюдал их жизнь. Замысел развивался, креп, вбирал в себя новый материал, наполнялся жизнью.

Пришлось лицом к лицу столкнуться и с теми, кто еще года два назад владел здесь всем.

В сад к Уэртам вошел добродушно улыбающийся толстяк, доброжелательно кивнул головой, вздохнул.

— Яблонька моей жены,— он показал на одно из деревьев.— Зашел по пути взглянуть. Сам все сажал, растил... Да что поделаешь! — Он погладил ствол яблони.— Мне-то, конечно, неплохо, жить можно...— Толстяк снова улыбнулся.

Если бы я не знал историю жизни отца Уэрта, который пробатрачил у этого человека пятнадцать лет, если бы я не знал, каким жестоким был он, когда во время гитлеровской оккупации выгонял стариков Уэртов из дома, то на самом деле мог бы поверить в добродушие толстяка... Он был крупным землевладельцем, настоящим серым бароном, ему принадлежали два хутора, у него было много батраков...

О каждой книге можно написать роман. Или повесть. У каждой книги своя история.

Чтобы воссоздать ее, надо вспомнить не только день, когда на стол лег первый лист белой бумаги и пришлось долго сидеть над ним, прикидывать и так и этак, а одна-единственная первая фраза все не рождается. Образы стоят перед глазами, уже различимы черты героев, известно, что с ними произойдет, но первой фразы нет и нет.

...С водосточных труб на тротуары звонко падают капли. В оконные стекла слепяще бьет солнце, улицы в со-

лнечных пятнах. Когда начинал работу, тоже была весна, только другая.

Встречаешь приятеля.

— Ну, как двигается роман?

В тебе еще сохранились остатки юмора.

— К позавчерашнему дню было написано сто восемьдесят страниц. А сегодня уже только семьдесят!

Возможно, это и не юмор. Возможно, ты и на самом деле рад, что нашел наконец правильный поворот в книге, рад, что тебе оказалось по силам выкинуть в корзинку то, что писал пять месяцев подряд.

Бывают и более горькие часы...

Толстая рукопись лежит на столе. Работа закончена. Закончена? И вдруг видишь — это всего лишь «полуфабрикат», тебе не удалось сказать того, что хотел. И непонятно даже, как можно переделать роман.

— Никогда не буду больше браться за перо!

Но как ты можешь не писать? Это немыслимо. Чтобы снова взяться за книгу, которая не получилась и которую тем не менее необходимо довести до конца, надо собрать всю волю. Быть может, понадобятся новые впечатления, новые наблюдения, чтобы изменить весь план романа, всю систему образов.

Чтобы рассказать, как создавалась книга, недостаточно было бы вызвать в памяти дни, когда работа спорилась. Казалось, еще месяц — и будет поставлена точка. Но тебя вдруг отзывают из отпуска; ты пытаешься отбояриться, идешь к одному начальнику, к другому. Ничего не помогает. Приходится оборвать работу на полуслове. Приходится сидеть по вечерам, по ночам. К этому можно бы добавить и другое воспоминание — ссору с другом и то, как она повлияла на твою работу. Можно вспомнить волнение и тревогу, когда болел близкий тебе человек. Но и это не все. Вся жизнь — само время с его бурными поворотами, большими событиями, с ракетами, улетающими в космос, с новостройками, которые возникают в тундре, в степи, на великих сибирских реках, с трудностями, что выпадают на долю человека, с трагедиями и радостями — врывается в твою работу, заставляет и самого тебя страдать и радоваться, менять замыслы и обогащать их. И рассказать о создании книги — значит рассказать о всей жизни, какой она была и какая есть. В самом деле — о каждой книге можно написать роман.

Я рассказал здесь только о началах некоторых замыслов. Как искра, высеченная временем, вспыхивает замысел и зажигает костер, материал, горючее для которого дает сама жизнь. Наверно, замысел будет полнокровным, действенным лишь тогда, когда он возникает не только как тема, как проблема, но когда наряду с явлением, о котором не можешь не говорить, перед глазами твоими одновременно встанет и та особая художественная форма, что одна способна выразить жизненный материал, дать ему звучание. Быть может, сами образы, которые уже зажили своей жизнью в мыслях писателя, помогают ему найти и это художественное воплощение. Быть может, тема рождается вместе с образами или в процессе их развития...

Когда осенью 1959 года мне позвонил корреспондент «Литературной газеты» и предложил в составе бригады газеты отправиться на Дальний Восток, я отказался: надо было кончать другую работу. Но едва я опустил трубку телефона, перед моими глазами возникла картина: я видел наборщиков, стоявших у наборных касс в вагоне выездной редакции, слышал, как они переговариваются между собой и спорят с редактором и сотрудниками газеты. Я подумал о том, как интересно было бы соединить изображение жизни редакции с рассказом о людях Дальнего Востока, показать, как напечатанная в газете статья вырастает из материала действительности, и рассказать о самой жизни дальневосточников.

Наверное, свою роль здесь сыграли и воспоминания о работе в редакции фронтовой газеты.

Покоя больше не было.

Меня терзало желание еще раз пуститься в дорогу, снова торопливо заканчивать статью к очередному номеру, изо дня в день встречаться со многими людьми, спорить с наборщиками — ведь они совсем особенные люди! И я уже представлял себе, каким интересным может получиться повествование, и даже видел перед собой берега Тихого океана.

Месяц спустя «Литгазета» повторила приглашение, и я отправился в путь, уже заранее думая о книге, которая должна была называться «Редакция на колесах».

Ни наборщиков, ни типографии в нашем редакционном вагоне не было. Но теперь это не имело значения. Замысел несколько изменился, и все же в основе он остал-

ся таким, каким родился. Жизнь изменяла его, диктовала ему свои законы, поворачивала его по-своему, отдавала ему свои богатства.

Однако ведь замысел — это лишь начало. Как добиться, чтобы то, что ты ясно видишь перед собой, передать и другим, то, что ты разглядел в жизни, поведать многим и заставить их видеть это твоими глазами?

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

Он вышел на сцену быстрым, торопливым шагом, нехотя поклонился. Он выглядел очень озабоченным и каким-то отрешенным. Сел за рояль, опустил на колени большие руки. Сидел, словно был совсем один, словно никого не видел.

В тот вечер исполнялся Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром.

Дирижер взмахнул палочкой. Мгновение тишины, а потом ожили замершие скрипачи, задвигались в их руках смычки, коренастый виолончелист тоже едва заметно тронул струны своего инструмента. Но я хочу рассказать о Святославе Рихтере, а не обо всем, что происходило в тот вечер.

С того мига, когда Рихтер, чуть нагнувшись, а потом подавшись вперед, вонзил острые, как клювы, пальцы в клавиши рояля, невольно пришлось глядеть только на него, слушать мятежные, мощные звуки, которые он вырывал из небытия, словно именно перед нами, сейчас, в этом зале, впервые рождалась эта музыка.

У него продолговатое бледное лицо, сильные челюсти, редковатые волосы. Прядь волос упала на лоб, повисла над правым глазом. Он ничего не замечает. Тяжелые капли пота медленно стекают по его щекам. Взгляд застыл. Но вот внезапно его лицо болезненно кривится. Рихтер выпячивает губы, кажется — верхнюю губу он прикусил. Он словно одержимый. Его крупные руки поднимаются, еще и еще, весь он, как пламя, в тревожном движении. Нет слов, чтобы рассказать об этом. Нет, мы не имеем права так говорить. Нет слов? Народ создал богатый, выразительный, гибкий язык с сотнями тысяч слов. Не по силам тебе найти нужные? Отыщи в себе эти силы, отдай всего себя каждому образу, каждой фразе, каждому слову!

Я видел и слышал в концертах многих пианистов. Их исполнение было безукоризненным. Их техника — виртуозной. Их игра доставляла наслаждение.

Святослав Рихтер своими большими руками открывал нам за роялем целый мир. Его музыка потрясает, делает слушателей такими же одержимыми, как и сам он там, на сцене. Волны жизни вскипают над залом, рождаются трагедии и настоящее человеческое счастье; ты слышишь, как звучит сама жизнь.

Каждому звуку, каждому аккорду он отдает всего себя, свои силы, свое сердце; кажется, в этом единственном часе — весь его век.

Никогда, наверное, не сумею забыть его измученное лицо.

Замкнутый, застывший стоял Святослав Рихтер на сцене. Лоб его и щеки взмокли, прядь волос все еще нависала над глазами. Черный фрак казался не по нем, не по его большим рукам рабочего человека, слишком узким в плечах. Скрипачи легким постукиванием смычков по своим инструментам приветствовали мастера. Снова казалось, что Рихтер никого не видит, не слышит, не слышит и вала аплодисментов...

В концертном зале в Дзинтари окончился концерт Святослава Рихтера. Вероятно, зажгли еще лампы — стало светлее.

Над дверью, на стене, можно было прочесть слова Ленина: «Искусство принадлежит народу».

Я вышел на улицу. Над морем уже легла тьма. В черном небе медленно покачивались верхушки сосен. Когда на миг вдруг замирал людской гомон, можно было расслышать, как шумит море, и соленое его дыхание ударяло в лицо. Я думал о том, что настоящее искусство рождается тогда, когда художник все свои силы, всего себя отдает каждому аккорду, всего себя вкладывает в каждый мазок кисти, в каждое мгновение своей работы...

ДОЛГИ

Вера Панова в автобиографии вспоминает свою первую учительницу:

«...Когда-нибудь я напишу о ней и о том, как она меня учила: это неоплаченный долг мой. Она ходила в темной кофточке навыпуск и маленьком чепчике из черного кру-

жева. До последнего дня не горбилась и держала руки сложенными благопристойно и чопорно, на старинный лад...»

«Это неоплаченный долг мой», — отметила писательница.

Приходится вернуться к разговору о долгах. Быть может, в том, что зовется творческим процессом, эти долги играют немаловажную роль, о них стоит поговорить.

В году сорок седьмом или сорок восьмом стало известно, что Андрей Упит работает над романом об Эдуарде Вейденбауме — революционном латышском поэте конца XIX века.

Как-то Упит пригласил других писателей поехать с ним в деревню, на хутор Калачи, под Цесис, где некогда жил герой его будущей книги. Писателю для работы над романом надо было своими глазами увидеть места, где обитал поэт, чтобы затем в воображении полностью воссоздать обстановку, какая там некогда была: почувствовать прохладу утренних сумерек, вползающих в старый деревенский дом, слышать шаги Вейденбаума на петляющей тропке, пройтись по ней вместе со своим героем, слышать так же, как слышал он, знакомый скрип дверей в доме, вой ветра в промозглую осеннюю ночь, узнать нужду и горе и надежду тех дней.

— Посмóтрите Ка́лачи, а потом прочтете, как я их опишу,— с горделивой усмешкой мастера, знающего силу своего воображения, умеющего скрупулезно точно воспроизвести мельчайшие детали действительности, сказал Андрей Упит спутникам.

И вот несколько писателей поехали в Ка́лачи.

Остановились на хуторе, полдня ходили там, смотрели вместе с Андреем Упитом.

Потом в газетах стали появляться отдельные главы романа. Вейденбаум в дороге. В корчме. Его поездка в Ка́лачи. Сутуловатый, с втянутой в плечи головой, с выставленным вперед большим острым подбородком, поблескивая стеклами старинных, в тоненькой оправе очков, поэт то сердился, в запальчивости повышая голос, то становился совсем тихим, даже мрачным, тоска затаилась в его глазах...

Несколько лет спустя вышел роман Андрея Упита «Просвет в тучах». В нем можно было найти те же и еще другие главы о Вейденбауме. Но это не был роман о поэте; очкастый, сутулый бунтарь и чудак, живой, до

последней мелочи достоверно выписанный, занимал в книге весьма скромное место. На первый план выступили Анна и Андрей Осис и другие их товарищи, рижские рабочие, деятели «Нового течения»; сатирически остро набросанные, возникали портреты буржуа; в чреде событий того времени, описанных Упитом, плотную тьму все больше пробивали искры революционных вспышек, а потом на страницы книги настоящим ее хозяином ворвался грозный Рижский бунт 1899 года.

— Как же так, он писал роман о Вейденбауме, а написал совсем другое? — искренне недоумевал и даже возмущался один литератор.— Сколько лет мы знали: Андрей Упит работает над романом о Вейденбауме. А тут — главные действующие лица другие, и сюжет, и все...

В известной степени так оно и было: был затеян один роман, написан другой, гораздо шире, масштабнее.

Можно в объяснение этого указать на разные причины, но между ними, уверен, не последнее место займет то, что писатели называют своими долгами — перед временем, перед людьми, с которыми рядом жили, перед событиями, участниками и свидетелями которых довелось быть. Воспоминания о пережитом в те далекие годы, в конце века, о тогдашней Риге, о всех, с кем встречался, кого знал, о юных своих днях, о первых трудных шагах на жизненном поприще — все то, что он один знал, чего не мог не описать, теснилось в душе писателя, все шире и шире раздвигая повествование, до воспроизведения всей эпохи в ее главном движении и в неповторимых подробностях. В роман вступали новые герои, чьи характеры не давали покоя, должны были быть запечатлены на бумаге...

С того часа, когда написана первая книга, человека, избравшего своей долей писательство, обступают долги. Не дают покоя ни днем, ни ночью. То, что дотоле было лишь милым воспоминанием о прожитом, будь то детство, юность, зрелые годы, первая любовь, какая-то поездка,— все, все неожиданно выступает в ином качестве, напоминает: напиши о нас. Писатель пишет книгу о людях, которых знал, о каком-то событии, надеется — оплатил долг, станет легче, но когда книга закончена, оглянется вокруг — и оказывается: долги не уменьшились, даже выросли. Новая написанная книга раздвинула рамки вйдения действительности, выступило в памяти то, что раньше мнилось незначительным, не требующим ответа, жизнь

в своем движении тоже принесла новое, и долги умножились. Надо опять и опять садиться и писать, день за днем. Вся прожитая жизнь собралась вокруг писательского письменного стола, и все, что пережито,— это долги. В них важнейший импульс творчества, они повелевают: ты не можешь не писать. Быть может, самые огромные долги те, что прошли с писателем сквозь многие годы, с юных его лет, с каждым днем от новых впечатлений обретая бо́льшую плоть и кровь, сильнее волнуя сердце.

В начале 1933 года в «Комсомольской правде» появилось письмо одного рабочего паренька, призывавшего молодежь поехать на культработу в деревню— избачами, библиотекарями, учителями.

Я в то время работал на небольшом московском заводе в Сыромятниках, за Курским вокзалом.

Маленькие, обшарпанные домики сгрудились в сплетении переулков за железнодорожной насыпью, по булыжным мостовым громыхали телеги и грузовики, веселая зеленая трава пробивалась меж камней.

Когда в погожие дни в обеденный перерыв мы все высыпали во двор и, рассевшись на ящиках, бочках, груде досок, вытаскивали из карманов и разворачивали принесенные с собой из дому тогдашние скудные харчи,— да, когда мы так рассаживались, то слышали, как неутомимо перекликаются паровозы на привокзальных путях, и как поют дудочки железнодорожников, и как по мосту грохочет поезд. Клубы черного дыма обрушивались на нас, на миг застилая солнце. Крепко пахло гарью.

Внутри, в цехе, где мы работали, всегда было немножко сумеречно, над токарными и фрезерными станками горели желтые лампочки, не смолкал стук молотков, гудение моторов, пахло машинным маслом, металлом.

На завод я пришел из школы-семилетки.

Собственно говоря, я мог бы учиться дальше: как раз когда я кончал школу, было введено десятилетнее образование. Но меня, как и многих моих сверстников, это не устраивало. Нам казалось, что если мы не оставим возню с тетрадками да учебниками, то без нас переделают все дела, все построят, выполнят пятилетний план и второй пятилетний тоже, свершат все подвиги. Этого нельзя было допустить! Слово «рабочий» было для нас одним из самых гордых, прекрасных слов. В ФЗУ поступил мой дружок

Витька Попов, последний год все щеголявший в солдатской гимнастерке и в больших громыхающих сапогах. На краткосрочные курсы слесарей приняли Толю Дедушкина. А я вот прорвался прямо на завод, хоть что-то, но уже делаю!

Когда в «Комсомольской правде» появился призыв — поехать в деревню — и отклики на него, я, конечно, не мог остаться безучастным. На строительство метрополитена меня не послали,— признаться, мне было только шестнадцать лет. Зато теперь...

В июньский день после работы я с нашим секретарем комсомольской ячейки пошел в Бауманский райком комсомола, на улицу Карла Маркса. Почти всю дорогу молчали.

Секретарь наш любил держаться официально, требовал, чтобы его звали по фамилии или по имени-отчеству — Романом Васильевичем. В каких-то кинофильмах и книгах уже фигурировали подобные молодые люди, неотступно радеющие о своем авторитете, так что я чувствую некоторую неловкость от повторения того, что уже написано или показано, но наш секретарь действительно настаивал на подобном к нему обращении и страшно сердился, если его случайно называли Ромой. Впоследствии мы его скинули, в ту пору мы тоже все время с ним спорили, но в день, когда мы пошли в райком, я готов был простить Роману Васильевичу все его прегрешения, лишь бы он меня поддержал.

В крохотной полутемной комнатке крупноголовый, спокойный секретарь райкома Сидоров в застегнутой наглухо черной косоворотке выслушал торопливые объяснения моего поводыря: дескать, изъявил желание, привязался, что с таким делать, может, есть смысл пойти навстречу. Потом Сидоров проверяюще и — екнувшим сердцем я почуял — с сомнением посмотрел на меня.

— Сколько лет?

— Будет семнадцать,— выдавил я, глядя в потолок.

— Молод,— проронил Сидоров.

Выходя из райкома, я еще успел заметить, что в коридоре и в отделе учета, где выдавались документы, группками, переговариваясь, стояли парни и девушки,— очевидно, счастливцы, которые поедут...

— Внесена ясность,— сказал Роман Васильевич на улице.

Не такой ясности я жаждал.

— Пока,— сказал я, сурово и непреклонно отвернувшись, и побрел совсем не в ту сторону, куда мне было нужно.

«Ничего, — утешал я себя, шагая среди грохота и трамвайных звонков, в пыли и духоте летней московской улицы,— ничего, мало ли что еще предстоит...»

Я думал о том, что мы, например, можем шире развернуть работу нашей «легкой кавалерии», вожаком которой я был (так тогда и называли руководителей этих групп — вожаками), проверить, например, распределитель, то есть продуктовый магазин, к которому наш завод был прикреплен и на полках которого почти всегда было пусто, или посмотреть, что делается у нас на складе. Но то были мелкие дела, и я чувствовал себя неудачником. Так я, горестно размышляя, шел неизвестно куда и бормотал себе под нос слова из «Песни о встречном»:

Такою прекрасною речью
О правде своей заявив,
Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви!..

...Но несколько месяцев спустя я все-таки оказался в деревне — в Сасовском районе, Рязанской области, на культработе, избачом в подшефном нашему заводу колхозе. Зимним ясным днем, таким, что жжет щеки, на сасовском базаре я разыскал крестьянина из деревни Серовское и, подождав, пока он завершит свои дела на поприще купли-продажи, устроился поудобнее в его розвальнях, взгромоздив под бок себе чемодан. Ноги — в сено, поднял воротник своего пальтишка, руки — в рукава, и мы тронулись в путь по бесконечной белой дороге. Сгущались синие сумерки, скрипели полозья, я придумывал, что бы спросить у моего возницы, и он иногда оглядывался, будто желая задать вопрос.

А дней через пять я уже был в гуще таких дел, которых раньше и представить себе не мог.

Половина деревни состояла в колхозе, вторая половина были единоличники. Я должен был проводить работу и в колхозе, но изба-читальня числилась при сельсовете. Вернее — в штатном расписании сельсовета значилась должность избача с окладом семьдесят рублей в месяц (не в нынешнем исчислении, а в тогдашних деньгах), а самой избы-читальни, то есть хотя бы помещения, не было. На скорую руку, с помощью местного учителя, был

создан список членов совета избы-читальни, проведено заседание, причем выяснилось: никто из нас не знает, как должна быть поставлена наша работа. Затем мы нашли дом, оставленный каким-то уехавшим из Серовского хозяином, связались с ним, чудом получили разрешение пользоваться помещением. Отколотили доски с окон, с дверей и вступили владельцами в пустую, насквозь промерзшую избу...

Но то была лишь малая часть неожиданно навалившихся забот. Председатель сельсовета Иван Артемьевич порядком попивал и промотал некую сумму, рублей восемьсот, из сельсоветских богатств. Мы с учителем Борисом Ивановичем Наплековым, с которым вместе жили, пришли к выводу, что должны сигнализировать в район; написали письмо, и Ивана Артемьевича сняли. На его место было некого поставить, я вдруг в свои семнадцать лет, которых все-таки дождался, занял пост исполняющего обязанности председателя сельсовета. На меня навалилась ответственность за мясопоставки, налоги, подготовку к весне, за регистрацию браков и бог знает за что еще. Как-то даже приехал уполномоченный и осведомился, почему я ничего не предпринимаю для обеспечения выполнения заготовок шерсти...

Нечего говорить, что о своем молодом возрасте я предпочитал умалчивать, чтобы на меня не смотрели как на молокососа. Если случайно заходила речь о том, сколько мне лет, я отвечал как-то неопределенно...

Потом прислали нового председателя, парня лет двадцати трех, комсомольца, высокого, стройного, с чуть прыщеватым лицом, очень невозмутимого. Я обрадовался его прибытию. Но через месяц, как будто неплохо вместе проработав, мы поехали в районный центр на пленум райкома комсомола; по дороге, уже в городе, мой спутник сказал, что ему необходимо забежать в исполком и что встретимся мы на заседании. Больше я его в своей жизни не видал. Искал на пленуме — его не было. Продолжал поиски после. Зашел в Дом колхозника — там все места заняты, а его нет. Сунулся в исполком — двери на запоре. Райком комсомола тоже закрыт. Пробродив зимнюю ночь по пустынному городу, я наутро вернулся в деревню, а председателя нет как нет. Через несколько дней мы получили от него письмо: пусть его простят, но работа для него не по силам, поэтому он уехал, а деньги, которые взял, непременно вернет.

Даже порассуждать об этом бегстве было некогда.

Прибыл инструктор райисполкома, и мы занялись поисками нового председателя. Наш общий, всего актива, выбор остановился на кандидатуре хозяина, у которого я жил, — Ефима Семеновича Орехова, человека пожилого, с седеющими небольшими усами, кряжистого, степенного.

— Что же,— погладив подбородок, медленно цедя слова, сказал он,— вроде бы можно. Значит, и зарплата, стало быть, там пойдет, и в колхозе я смогу работать, чтобы трудодни шли...

Мы облегченно вздохнули: уговорили!

Но до того, как в сумерках собралось заседание сельсовета, мой хозяин побеседовал дома с женой, и когда мы в густо пропахшей, даже благоухающей махоркой комнате торжественно расселись на скамьях, готовые быстро и единодушно проголосовать за Ефима Семеновича, он вдруг отказался занять предложенную ему должность...

Я вел заседание и по поводу его поведения произнес самую, наверное, лучшую, во всяком случае самую громовую в своей жизни речь. Я честил своего хозяина как дезертира, как человека, оказавшегося под каблуком у жены, и характеризовал его еще всяческими другими словами.

Члены сельсовета в овчинных полушубках, сгорбившись, приумолкли, даже перестали дымить самокрутками и смотрели в пол. Я закончил — стояла мертвая тишина.

На столе тускло горела маленькая керосиновая лампочка с наполовину отбитым, почерневшим стеклом, и длинная струйка черной копоти, крутясь, чуть слышно шипя, поднималась от пламени к потолку.

— Ну, ты, парень, молоток, — шепнул мне инструктор райисполкома. — Я собирался кое-что сказать, но теперь...

Такая же нестерпимая тишина встретила меня дома, куда я зашел перед тем, как отправиться в избу-читальню. Только хлопнула дверь, и все — больше ни звука. Хозяин и хозяйка, строгие, прямые, сидели рядом за столом, глядели не столько на меня, как куда-то в пространство надо мной. Их лики были неприступны, как на иконах.

Минут через пять заговорила хозяйка:

— Мы к тебе как к родному, как к сыну, а ты...

Я не знал, что ответить. То есть знал, но предполагал, что не буду понят. Я считал себя совершенно правым, считал, что никакие личные мотивы не могут, не смеют

влиять на дело! Это было недостойно. Я презирал дезертиров и не собирался ничем поступаться.

К тому же мне надо было спешить на работу в избу-читальню.

Каждый вечер я шел туда, неся в руке лампу, первые месяцы — маленькую, настенную, потом большую, двадцатидвухлинейную, которую сам подвешивал к потолку. Стекло лампы, керосин, даже фитиль были огромными ценностями. Для избы-читальни отпускали в месяц три литра керосина, и выдавался он почему-то по большей части в соседнем селе, в пяти километрах от нас. Каждый вечер я подливал в лампу горючее из бутыли, стоявшей у нас в комнате в углу, и шел с этим светильником в руке в свой очаг культуры. По дороге пальцы начинали стыть, шагов через сто приходилось менять руку.

С помоста, сооруженного в нашей избе-читальне в простенке между громадной русской печкой и окном, я читал собравшимся газетные сообщения о приезде в Москву после Лейпцигского процесса освобожденного из гитлеровских застенков Георгия Димитрова, о полетах Водопьянова, Каманина, Ляпидевского, Молокова по спасению челюскинцев.

Изба была битком набита народом, все молодежью. Посреди моих чтений откуда-то из угла вдруг доносился нетерпеливый всхлип гармони и резко обрывался,— очевидно, гармонист решил еще на некоторое время оказать снисхождение, подождать.

Но через какой-нибудь час уже вовсю шли танцы, девичий смех и визг, притопывания, какие-то разговоры переплетались с резкими вскриками гармони, и только несколько отчаянных книголюбов, вроде секретаря сельсовета Миньки Ваничева — курносого, мягко улыбающегося маленького увальня в низко надвинутой на лоб ушанке, взбирались на помост к столу с газетами и книгами. Помост от танцев ходил ходуном, стол подпрыгивал.

Что и говорить, танцы в распорядке занятий избы-читальни занимали выдающееся место. Но и теперь ведь, и не где-нибудь, а в крупных городах, в благоустроенных клубах, под вывеской «вечеров отдыха молодежи» многие субботы, воскресенья и другие дни отдаются тем же танцам. Так что ныне, читая частые объявления о «вечерах отдыха», я уже не так стыжусь того, что не смог тогда побороть неугомонной, веселой гармони...

Часов в одиннадцать ночи я вешал на дверь своего учреждения маленький замочек, который можно было открыть не то что гвоздем, а просто спичкой или булавкой, и опять с лампой в руке, иногда для безопасности засунув стекло в карман пальто, брел по едва различимым, заснеженным тропкам домой. Случалось, если учитель Борис Иванович заходил в избу-читальню, мы домой возвращались вместе. Черными горбатыми тенями, почти без огней в окнах, громоздились по сторонам избы. Вдали еще что-то выводила уходящая гармонь и срывающийся голос выкрикивал:

Мил целует и жмет крепко,
Любовь сладкая конфетка...

Какие дальше были слова в частушке, уже нельзя было расслышать — даль поглотила все, гармошка тоже смолкла.

Да, надо бы подробно рассказать о той зиме и той весне, все, все, что было. И о двадцатилетнем учителе Борисе Ивановиче, горбоносом, узколицем, тощем, как бедуин, с вечно торчащей в зубах громадной самокруткой, и о том, как он вел курсы ликбеза со взрослыми девицами его же возраста, и как они перед ним трепетали, и как он в свободные минуты дома учил наизусть лермонтовского «Демона», заставляя меня по книге следить за текстом. И о нашем хозяине Ефиме Семеновиче Орехове, и о председателе колхоза (колхоз был без названия, просто колхоз — и все) Лапшине, и о других людях. О том, как мы готовились к весеннему севу: тракторов у нас в деревне еще и в помине не было, только доходили слухи, что в другом конце района организуется МТС; лошадей у колхоза было меньше, чем у единоличников,— в артель собрались бедняки да не очень крепкие середняки, часть середняков еще выжидала. И о том надо бы рассказать, как мы проводили хлебозакупки и везли красный обоз в район, в честь партконференции, и запоздали с рапортом на пять минут...

Года три спустя, вернувшись в Москву, я, пробуя силы в литературе, начал писать нечто вроде рассказа по тем впечатлениям. Написал только две странички: у меня ничего и не могло получиться, не было настоящего замысла, да и повидал я в жизни недостаточно, чтобы суметь глубже вглядеться и понять те дни.

А потом мне было некогда.

Но я нет-нет да вспоминал деревню Серовское, тогдашних моих друзей и знакомых, людей, вместе с которыми жил и работал, и в глубине души понимал, что со временем придется, обязательно нужно будет обо всем этом написать.

Иногда я рассказываю приятелям какой-нибудь кажущийся забавным случай из приключений той поры. Например — как я ко всему вдобавок стал еще и председателем сельского товарищеского суда и делил имущество разводившейся жившей по соседству молодой пары.

— Почему об этом не написано? — задают строгий вопрос приятели.

Я стыдливо улыбаюсь, пожимая плечами.

Уже несколько лет я твердо знаю, что напишу книгу о том времени — о том, что пережил, видел сам, о том, как жили другие. Не только о своей избе-читальне и о том, как весной в оттаявшей, пахнувшей прелью земле колхозники деревни Серовское гнали первые борозды, но и о нашей юности тех лет, когда мы порой сетовали, что родились слишком поздно — все, мол, подвиги совершены до нас.

Это один из моих долгов, вслед за мной прошедший через годы, опять-таки вместе с другими долгами, и в череде лет выросший в замысел. Пока я пишу другую книгу, но вокруг меня вместе с героями этой книги теснятся люди, жившие в деревне Серовское в начале тридцатых годов: девчата, что зимним вечером набивались в избу-читальню, колхозники, перед выходом на работу сидящие в «нарядной» — в узенькой шорной мастерской, освещенной подвешенным к бревенчатой стене фонарем «летучая мышь», и мой друг Борис Иванович, своим быстрым шагом снующий по комнате и повторяющий строчки из «Демона»:

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством...

Я вспоминаю и эти строки, которые запомнил тогда, вместе с Борисом Ивановичем.

Замысел сложился, я знаю уже кое-какие сюжетные «ходы» и ту особую форму, в которую отольется повесть. Только об этих «сюжетных ходах» и особой форме я ни слова не скажу: нельзя говорить, это «секрет» книги, ко-

торый должен «открыться» в ней самой. Очевидно, через несколько лет я напишу эту книгу. Но все же кое-что еще стоит на пути к началу осуществления задуманного, выношенного за долгие годы: что-то надо додумать, о чем-то добеседовать с героями, и — надо съездить еще раз в те края, в ту деревню, поглядеть, как там живут сейчас...

Бывает и так, что долги остаются неоплаченными. Скажем точнее: часть долгов обязательно остается неоплаченной, как бы много ни было писателем написано. Все пережитое, увиденное идет следом за ним. Шагают с ним рядом его современники. Писатель перед всеми в долгу. Это хорошо — потому что, если иссякнут такие долги, он окажется пуст, ему не о чем будет писать. Пишет писатель тогда, когда он в долгу перед временем: ему жизненно необходимо поразмыслить над всем, что он увидел. Это, наверное, основа творчества. Все, над чем он сам задумался, над чем задумались его современники,— превращается в долги. Да здравствуют долги! Пусть идут они следом по жизни, если даже не каждый будет оплачен и придется им остаться лишь в векселях набросков, черновиков, планов, записных книжек, находимых потом, когда на полуслове оборвалась последняя строчка и писатель ушел из жизни. Находимых — как нашли и опубликовали строфы недописанной поэмы Маяковского, главы неоконченных романов Фадеева, Горбатова, Виктора Кина, Эммануила Казакевича и многих других.

ЧТО МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ О СВОИХ ГЕРОЯХ

Как-то я беседовал с одним литератором. Было это давно — в конце сороковых годов. Я работал в издательстве, и должность время от времени заставляла меня выступать в неприятной роли наставника.

Речь шла о рассказе, в котором молодая девушка была назначена директором МТС и успешно справлялась со своими обязанностями.

— Сколько лет вашей Айне?

— Сколько лет? Хм... Наверное, девятнадцать или двадцать один...

— Так сколько же?

— Какое это имеет значение?

— Все-таки... Три года разницы многое по-иному поворачивают в жизни. Неясна биография Айны, как она стала директором.

— Директором ее назначили.

— Да, но почему? Где она работала до этого? Какие качества дали повод считать, что она справится с ответственной работой? Когда она вступила в комсомол? Что она делала? Где была во время войны?

Автор пожал плечами.

— А родители ее живы? Чем они занимаются? — чтобы прервать молчание, задал я еще один вопрос и даже обрадовался, полагая, что беседа оживится, станет непринужденнее и наконец приоткроется какое-то оконце в мир, в котором жила Айна. Но оказалось, что и о родителях Айны ничего не было известно.

Следует признаться: в те времена я и сам, возможно, не смог бы ничего больше рассказать о некоторых своих персонажах. Но в литературной работе даже чужие ошибки, неудачи, так же как и собственные, могут послужить уроком, заставить призадуматься. И в свою очередь творческий опыт других писателей может обогатить и твои методы работы. Здесь речь идет не о заимствовании или подражании, а о том, что каждое новое звено работы является и началом новых исканий, новой учебы.

В те годы мне привелось довольно часто встречаться с Андреем Упитом.

Роман Андрея Упита «Просвет в тучах» издательство сдавало в набор по частям. До конца года, когда, согласно плану, книга должна была выйти, оставалось сравнительно мало времени, а Упит еще продолжал работать над последними главами романа.

Я пришел к нему за очередными страницами рукописи.

Как обычно, застал его за письменным столом. Он отложил ручку. На столе — наполовину исписанный мелким, аккуратным почерком большой лист бумаги. Как только я попрощаюсь и уйду, он снова возьмет перо, чтобы дописать начатую фразу.

В то время Андрей Упит работал по крайней мере часов двенадцать в день. Я смотрел на его коричневатое лицо, на сухую руку, которая отдыхала, опущенная на край стола, и дивился тому, откуда берутся у него силы держать перо все эти долгие часы. Казалось, от страшного напряжения судорога должна была бы свести пальцы.

Семидесятилетний писатель законно гордился тем, что может так работать: легкая, довольная и все же четко обозначенная усмешка тронула его губы.

— Когда я написал «Землю зеленую»,— рассказывал он,— это было в Котнинине, Кировской области, в эвакуации, я сказал жене: говорят, есть люди, которые гуляют просто так. Идут в лес или в парк. Мне что-то не приходилось. Не попробовать ли и нам это проделать? Первый раз в жизни прогуляться просто так...

Еще он сказал:

— Теперь издательству придется немного подождать. Я подошел к эпизоду заседания городской думы. И о каждом члене думы мне необходимо знать, какой он дома, какие у него отношения с женой, с кем он приятель. Иначе я не смогу написать, как они держались на заседании, о чем говорили. Все надо знать о каждом...

Глаза писателя весело вспыхнули, словно он внезапно увидел кого-то из этих людей, со всеми его повадками, привычками, во всей своеобычности его жизни, которую надо было выявить, представить самому себе для того, чтобы, описывая заседание городской думы, заставить одного из персонажей произнести, быть может, одну-единственную фразу...

Детям настрожайше было запрещено даже приближаться к дверям кабинета Диккенса. Однако иногда они тайком прокрадывались на второй этаж и сквозь замочную скважину пытались подглядеть, что творится в таинственной, находящейся для них под священным запретом комнате. Однажды они увидели, как отец стоял перед зеркалом, дергал себя за бороду, жестикулировал, потом неожиданно стал раскланиваться и, наконец, откинув голову, широко разинув рот, поглаживая руками живот, начал громко, странно смеяться — так он обычно никогда не смеялся.

Испугавшись, дети сбежали со своего наблюдательного поста и, забыв об осторожности, кубарем скатились по лестнице, только внизу опомнились и, забившись в угол, стали хохотать над непонятным, нелепым поведением отца.

Диккенс, перед тем как написать очередной эпизод, частенько сам для себя, став перед зеркалом, изображал его, чтобы все увидеть и суметь описать, как держится,

как говорит, жестикулирует каждый из его персонажей; таким способом он «влезал в их шкуру», полностью сливался со своими героями, вживался в каждый характер.

Станиславский, как известно, частенько требовал от актеров, чтобы они сами составили и написали историю жизни персонажа, которого должны были воплотить на сцене, требовал, чтобы актеры знали, что происходило в жизни их героя до того, когда начиналось действие пьесы, напоминал также, что актеры должны знать, чем были заняты их герои в тот день с самого утра до минуты, когда они появляются на сцене.

Система Станиславского, предназначенная для театра, в сущности, открывает и многие законы литературного творчества. Только писателю недостаточно влезть в шкуру одного персонажа, до последней мелочи исследовать его жизнь, обычаи, особенности характера, его тайны, симпатии и антипатии. Писателю приходится жить десятью жизнями одновременно, говорить разными голосами, так, как это делал Диккенс. Конечно, об этом уже писалось, но все же не вредно повторить это еще и еще.

Наверное, можно не писать заранее за героя его анкету, не приводить сразу в порядок «отдел кадров» романа или повести. Некоторые писатели уже заранее составляют «личные дела» всех персонажей. Так, как это делал Золя.

У каждого, конечно, свои приемы работы.

Но вдруг герой романа, который уже начал действовать, у которого уже есть свои черты, в самом обыденном разговоре замолкает, не в силах выговорить ни слова.

И чтобы найти то слово, которое он скажет, тот особенный жест, присущий именно ему, именно в эту минуту, приходится заново проанализировать всю жизнь героя, выяснить, каковы его отношения с разными людьми, надо вспоминать, какова была его первая любовь... Все это останется вне рамок романа, но все это необходимо знать.

Откуда берется «сырье» для такой истории жизни героя, из чего писатель лепит его характер? Жизнь в своей красочности и богатстве дает материал для всего этого.

Наверное, надо уметь день за днем зорким следопытом, неутомимо шагать по ее тропам, уметь видеть и слышать то, что для других остается незамеченным. Особые повадки, привычки людей, с которыми сталкиваешься. И то, как шумит застигнутый врасплох проливным до-

ждем густой бор. И то, как внезапно меняет людей горе, как воодушевляет радость. Еще многое и многое, большое и малое, совсем как будто незначащие детали — все, из чего, как из миллиона тончайших, вечно снующих нитей, сплетается картина действительности. Все надо видеть, знать. Повторим еще раз — надо и глазом и слухом, психологическим чутьем, всем существом своим запечатлевать, улавливать и то, что для других остается неприметным, неувиденным. Надо видеть цветные сны, как видел их тот художник, о котором я рассказывал, в то время как к нам, не привыкшим каждодневно работать с кистью и палитрой, жить в мире красок, такие сны обычно не приходят и мы «обходимся» своими черно-белыми плоскими сновидениями.

Писатель, создавая свои персонажи, может и не вспомнить, что отношения, в которые он поставил героя или героиню, были подсмотрены в доме, где он живет, в семье соседа, а черточки, приписанные герою, заимствованы у какого-нибудь друга или знакомого.

Здесь опять придется хотя бы в нескольких словах вернуться к Поликарпу Прохоровичу, с которым я на короткое время случайно встретился в поезде и о котором рассказал в начале, и вспомнить о многих «написанных» и «ненаписанных» книгах. В среде литераторов мы часто говорим о художественной типизации, о процессе типизации. В наших спорах и дискуссиях не представляем ли мы подчас этот процесс слишком абстрактным? В действительности этот процесс очень конкретен, вплотную спаян с ежедневным жизненным материалом, с наблюдениями, с самим участием в жизни. А сколько «ненаписанных» книг, интересных, своеобразных людей порой проходит мимо нас непримеченными! Вместе с тем растет и наш долг — все то, что мы не увидели, не исследовали, чего не знаем. Чтобы рассказать об одном интересном человеке, надо знать их десятки, сотни; надо знать и различные жизненные случаи, конфликты, чтобы правда жизни во всей своей полноте, со многими подробностями, противоречиями, радостями и трагедиями, вливалась в повествование, в образы, ежеминутно их обогащая. От каждого из окружающих берешь понемногу — какую-то черточку, какую-то особенность...

Кстати, следует признаться: и в этой тетради, вспоминая случайного попутчика с большущими бровями, Поликарпа Прохоровича, изобразив его таким, каким он был, я

приписал ему несколько выражений и черточек, которые, правда, соответствовали его характеру, но которые я все же позаимствовал у двух других некогда повстречавшихся людей. Тут происходит нечто вроде «переливания крови». Но так же, как и в медицине, переливается кровь одной и той же группы, чтобы герой набирался сил, новых жизненных соков, чтобы ярче зарделось его лицо, щеки.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Очень интересно читать о том, как работали и работают писатели. Меня, во всяком случае, всегда увлекало такое чтение. Даже комментарии к собраниям сочинений можно перелистывать без конца. Из письма редактору журнала «Нива» можно заключить, что Чехов начал писать повесть в феврале 1896 года, 16 июня начало повести было отослано в редакцию... Работа закончена 29 июля.

Мопассан работал с девяти утра до двух-трех часов дня. За это время он успевал написать примерно шесть страниц. И по вечерам он обычно садился за стол, чтобы записать дневные впечатления.

Бальзак работал днем и ночью, почти беспрерывно. Днем читал корректуру. К вечеру, запершись в комнате и надев свое излюбленное одеяние, нечто похожее не то на балахон, не то на ночную сорочку, быстро начинал писать. Непрестанно пил черный кофе. Кредиторы и судебные исполнители стучали в дверь. Лакей отвечал, как было велено: «Господина Бальзака нет дома. Он уехал. Куда? Не знаю». Мутный рассвет, занявшийся над крышами парижских домов, наполнял комнату неясными пятнами света. Бальзак продолжал лихорадочно писать — надо было закончить книгу. После короткого отдыха, после нескольких часов тревожного сна, написанное отсылалось в типографию, а писатель брался за корректуру. В корректурах он все переделывал, дописывал; посланная в типографию рукопись была лишь первым наброском, чем-то вроде сценария романа. В корректуре роман разрастался, новые лица и новые сюжетные повороты, новые замыслы врывались в уже написанное. Бальзак вечно был обуреваем грандиозными замыслами, десятки планов одновременно зарождались в его мощном мозгу.

Жорж Санд однажды закончила роман в час ночи. Но еще оставалось время до конца установленного ею самой

срока — работать следовало до трех часов. Писательница начала новый роман...

Алексей Толстой писал на пишущей машинке. Рабочая норма — две страницы в день. Если до двух-трех часов дня норма не была выполнена, работал до пяти часов дня. Письменные принадлежности — хорошая бумага, вечные перья — доставляли ему невероятное удовольствие. Стопка отличной белой бумаги лежит на столе — можно приниматься за дело...

А разве умелый столяр, высококвалифицированный слесарь не любят свой инструмент? Поговорите с каким-нибудь старым мастеровым: в первую минуту он, возможно, и не признается, но потом покажет вам свой любовно подобранный инструмент, с которым работа лучше спорится, который в руках держать приятно.

Если человек любит свой рабочий инструмент, значит, он любит и то дело, которым занимается.

Хемингуэй неизменно отмечал на особом листке, сколько каждый день написано, и если иногда оказывалось, что написано не столь много, он на том же листке, рядом с числом, писал объяснение, почему так получилось. По его словам, самодисциплина Флобера является одним из самых важных качеств для писателя. Случайно найдя в последние годы жизни рукопись старого своего романа, Хемингуэй радовался тому, что и в молодости умел так же тщательно и упорно править каждую страницу, каждую строчку, фразу.

Максим Горький не признавал никаких определенных рабочих норм. Он всегда работал сверх нормы. До обеда, а потом снова по вечерам. Под конец дня у него болели плечо и рука, словно он с косой весь день в поте лица, под палящим солнцем косил сено на зеленом лугу.

В декабре 1959 года в Находке, в красном уголке в общежитии портовых рабочих, куда мы, члены бригады «Литературной газеты», пришли, чтобы рассказать о новых явлениях в литературе и прочитать свои сочинения, какой-то юноша победоносно объявил:

— А все-таки писать легче, чем в трюме мешки ворочать!

В тот же миг десятки веселых, полных любопытства глаз обратились к нам. Кто-то из юношей даже рассмеялся: ага, вот заковыристый вопрос, что вы на него ответите?

Кажется, тогда, в общежитии, мы не нашли нужных слов, которые бы убедили юношей, и кое-кто из них так и остался при своем убеждении, что писательство относится к легким профессиям. В скобках замечу: мнение о том, что литераторам не приходится особенно много работать и что живут они развеселой, беспечной жизнью, является довольно распространенным.

Возможно, в Находке, отвечая на вопрос, нам следовало рассказать многое.,. Ведь для того, чтобы только прочитать черновые варианты произведений Льва Толстого, понадобится труд нескольких лет. Александр Фадеев переписывал бо́льшую часть «Разгрома» двадцать с лишним раз. Джек Лондон, написавший за семнадцать лет пятьдесят книг, умер (как правильно отметил В. Каверин) от переутомления. Семнадцать лет подряд, где бы он ни находился — в своем кабинете в Лунной долине или в далеком путешествии на борту «Снарка»,— больной или здоровый, Джек Лондон отдавал сну не более пяти часов в сутки и ежедневно выполнял самому себе определенную громадную норму — писать не менее тысячи слов. Диккенс годами работал по десять — двенадцать часов в день, с утра писал один роман, по вечерам — другой...

Но в тот раз, отвечая портовикам, мы лишь сказали, что работа писателя требует многих наблюдений, знания жизни, ежедневного труда, быть может такого же, как труд рабочего за его станком. Возможно, это и был правильный ответ.

Мы находились в городе, который за десять лет возник из небытия, который вырастал прямо на наших глазах. На каждом шагу появлялись новые улицы, целые районы. То был город, где даже горы, когда это понадобилось людям, сдвигались и погребались в морской пучине во имя новой жизни. И при сравнении с этим героическим подвигом сотен тысяч рабочих людей труд за письменным столом действительно мог выглядеть скромным.

В самом деле, вечное перо ведь несравненно легче мешка с цементом или носилок, нагруженных кирпичом. Возьми вечное перо в руку— сколько оно весит?

Не верьте ни одному такому рассказу о десяти-, двенадцати-, восьми- или шестичасовом рабочем дне писателя!

Потому что это будет лишь половиной, нет, лишь четвертью правды!

Покинут письменный стол, за которым писатель проработал пять, шесть или десять часов. У одного видимое, проведенное за столом рабочее время длиннее, у другого короче, кто как привык. Перерыв до следующего утра?..

Нет перерыва.

Ты ходишь по улицам, встречаешься с людьми, улаживаешь какие-то дела — начатая или только задуманная книга идет за тобой. Вечером в театре смотришь пьесу, и вдруг оказывается: мысли твои привязаны к незаконченной главе романа, или к фразе, которую нужно переделать, или к трудному эпизоду романа, который переписан уже раз пять. Случайно ты проснулся в четыре утра. Вставать еще рано. И отдохнувшим себя не чувствуешь. Закроешь глаза покрепче, чтобы задремать. Но в мозгу начинают ворочаться события еще не написанной главы, новый поворот получают судьбы героев, усложняются их взаимоотношения. Стараешься заснуть. Не можешь. За окном по улице, грохоча железными брусьями, едет грузовик. Дрожат оконные стекла. Очень точно слышно, как дребезжат стекла, и как тяжело гудит мотор грузовика, и как железно грохочут брусья. Темная ночь, беззвездная, небо забито черными тучами. Нельзя уснуть — не из-за шума. В мозгу как будто работает автоматический телеграфный аппарат, и гонит, и гонит бесконечную ленту, на которой написано все, что в ближайшие дни произойдет с героями романа. Мозг устал, голова гудит, но радостное возбуждение живет в тебе.

Нет отдыха; нет перерыва! Работа писателя их не знает. Так же, как первая любовь не знает ни отпуска, ни скидок.

...Вы поссорились. Было ли это ссорой? Кто знает. Любимая девушка, которая еще не слышала твоих признаний, оказалась взбалмошной, капризной. Она требует, чтобы все было только так, как она хочет. Не слушает возражений. Вы три дня не виделись. Это невыносимо долго. Это значит почти то же самое, что вы никогда больше не встретитесь. Это значит — жизнь кончена... Сохранилась лишь маленькая, самая крохотная надежда, что вы все-таки встретитесь. Нет, не надежда, надежды никакой! Каковы бы ни были ее отрицательные качества, три ночи и три дня ты думал только о ней. Зазвонил телефон — это она! Нет, не она. Руки опускаются, жизнь становится бессмысленной. Тысячи планов, как с ней увидеться, как объясниться, рождаются в голове, все они отмечаются и все хранятся в памяти.

Зрение твое и слух необычайно обострились. Чудится, каждого человека видишь насквозь, так, как если бы он стал прозрачным. Просто читаешь в его душе каждую его мысль. И в отчаянии думаешь только о ней, слышишь ее голос.

И в радостный, полный ликования день, когда после работы вы должны встретиться, только утром раскроешь глаза, первая мысль опять о ней: сегодня должно что-то произойти, что-то невероятное, сегодня мы встретимся. Как медленно тянется время, правда? И все же — удивительный день. Каждая минута, чем бы ты ни занимался, отдана ей, единственной, любимой. И жизнь оказывается невиданно богатой, прекрасной, до краев наполненной движением, работой, радостью.

Так и писатель месяцами день изо дня живет как бы во власти первой любви, страдая и радуясь вместе со своими героями, впадая в отчаяние, когда работа не ладится, мучаясь, но все равно не в силах мыслями оторваться от своих замыслов, от своих наблюдений, от того, что завтра ему суждено будет написать. Легко это или трудно? Такой вопрос никто, вероятно, себе и не задает. Просто потому, что другая жизнь писателю кажется немыслимой.

Занимается новый день и снова несет с собой эту упорную работу. Работу, которая сама рождает новые мысли и образы, что опять и опять не будут давать тебе покоя. Работу, которая опустошает, но и воодушевляет, вливает новые силы, и снова и снова обогащает воображение, и на каждом шагу напоминает о большом долге перед жизнью, о книге, которую пишешь, и о книгах, которые еще не написал, обо всем, что еще предстоит сделать. Творческая лаборатория? Вся жизнь для писателя творческая лаборатория...

Тетрадь вторая

ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

СИНЯЯ ПТИЦА

Птица и на самом деле была сияюще синей, такой синей, что излучала вокруг синий свет. Я сам ее видел и прекрасно помню эту вспышку лазурно-синего огня на темной сцене.

Мальчик протянул руку к удивительному крылатому созданию и поймал его. Голубое пламя горело теперь на его ладони.

Наконец-то! Закончен путь, тяжелый и трудный, мечта стала явью, Тильтиль и Митиль со своими спутниками могут вернуться в отчий дом, в теплую комнату, где за печкой поет сверчок и из старого скрипучего шкафа выходят с протянутыми руками буханка хлеба и сахарная голова...

А минуту спустя крылатое голубое пламя превратилось в самую обыкновенную серую пичужку, которая, легкомысленно чирикая, прыгала по клетке. Только что Тильтиль и Митиль были обладателями чуда, но, ступив несколько шагов и опять заглянув в клетку, они, огорошенные, потрясенные, замерли. Чудо пропало, на его месте копошился воробей.

Когда я из зрительного зала глядел на эту страшную несправедливость — другие слова, кроме этих, мне и на ум не могли прийти! — мое бедное сердце разрывалось на части, словно я сам потерпел тягчайшую неудачу.

Тогда, в детстве, я, разумеется, ничего не понимал ни в актерской игре, ни в других подобных премудростях. Надо признаться, я и не догадывался, что на сцене действуют какие-то актеры,— по моим представлениям, там текла сама жизнь. Происходившее на подмостках имело неповторимое значение, и в миг, когда пропала Синяя птица, я сам чего-то лишился, почувствовал, что обязан собраться в дальний путь, чтобы отыскать крылатое сверкающее чудо. На душе стало грустно, своим детским умишком я вновь и вновь прикидывал — на самом ли деле нет конца этим поискам и завтра снова придется пуститься в путь, в погоню за Синей птицей? (Так, я слышал, взрослые объясняли смысл пьесы и спектакля.)

...Не знаю отчего, но, как только я вспоминаю этот увиденный в детстве спектакль — «Синюю птицу» Метерлинка в Московском Художественном театре,— в ту же минуту перед моими глазами встает заснеженная Москва, вся-вся в снегах, в сугробах, громоздящихся по обочинам улиц длинными грядами, даже в центре, на Тверской (нынешней улице Горького), и по всем переулкам. Посеребренный инеем, белый, весь искрящийся белизной город, каким никогда больше мне не удалось его увидеть. Едва мы вышли из театра, навстречу нам ринулся этот слепящий блеск, вобравший в себя прозрачное зимнее

небо, солнце, студеный воздух, сверкание заснеженных крыш. Невольно пришлось остановиться и зажмуриться, чтобы глаза могли выдержать встречу со всепобеждающим белым сиянием. По белым улицам неслись санки с запряженными в них каурыми лошадками, длинные серебристые облачка то и дело вылетали из лошадиных ртов. Спины лошадей дымились. Окна домов заросли белыми студеными цветами, а трамваи, что, громыхая и нетерпеливо позванивая, словно соревновались с поседевшими от мороза, тащившими за собой легкие санки лошадьми, казались невидящими, слепыми — их выстроенные в ряд окна залепил толстый белый слой льда и снега. Моховая была еще совсем узкой улочкой: по одну ее сторону — желтоватое, тоже поседевшее от инея здание университета, по другую — бурые, одно- и двухэтажные деревянные и кирпичные домишки, в которых расположились всевозможные книжные лавки. В Охотном ряду (теперь — проспект Карла Маркса) друг около друга лепились различные большие и маленькие дома. Какой-то хвастливо возвышался над своими соседями, а другой конфузливо жался за спиной более высокого. Все они — в рекламах и магазинных вывесках (маленькие лавчонки в бесчисленном множестве, куда ни глянь, теснились, как пчелиные соты). Выше всех, на стене пятиэтажного дома, висел громадный плакат с выведенными на нем словами: «Пух и перья» (во всяком случае, я помню только эти два нарисованных большими буквами слова).

Вслед за первой воскресшей в памяти картиной из глубин прошлого возникают и другие. Я уже не вижу город таким белым, но новые картины все же встают где-то рядом с той, первой. Мои близкие часто встречались с такими же, как и мы, политэмигрантами из Латвии и из других стран — Венгрии, Польши,— и иногда мне начинало казаться, что Москва переполнена недавними подпольщиками, только и ждущими минуты, чтобы снова двинуться в путь и снова взяться за свое трудное и опасное дело. Казалось: вся жизнь — это борьба, и только борьба. Перед глазами встает какая-то демонстрация — по улице, окутанной вечерней дымкой, движутся колонны к иностранному посольству (не могу теперь припомнить, посольство какой страны это было). Раздаются возгласы, звучат песни, над головами демонстрантов плывут плакаты, карикатуры. Я, мальчишка лет десяти, держусь в этой толпе возле матери и втихомолку терзаюсь, почему не

взрослый, почему мне так мало лет. Будь я взрослым, знал бы, как быть и что делать...

Мы идем по улице Воровского. Памятник погибшему советскому послу возвышается и на площади, около здания Народного Комиссариата иностранных дел.

Газеты полны сообщений о приговоренных в Америке к смертной казни Сакко и Ванцетти, о тысячах писем протеста, которые со всех концов мира стекаются в Вашингтон и Бостон. Кажется — не сегодня, так завтра мощный ураган промчится по всему земному шару.

У Никитских ворот, в конце Тверского бульвара, напротив памятника Тимирязеву, стоял дом, весь испещренный ясно видимыми выбоинами — следами пуль, сохранившимися со времени Октябрьских боев 1917 года. В школе наша тучноватая, добродушная учительница как-то рассказала, что сама, идя к Никитским, видела, как тогда щелкали пули по стене, услышала выстрелы, спряталась в подъезде, но время от времени выглядывала и видела, как с дома, где аптека, сыплются стекла и осколки кирпича. Мы, школьники, отлично знали тот дом с аптекой, и потому рассказ учительницы убеждал и волновал нас.

Московские улицы были еще вымощены булыжником.

В клубах собирались люди только для того лишь, чтобы прослушать самую обыкновенную радиопередачу. Все терпеливо сидели, ждали, когда большая черная труба репродуктора начнет рычать и громыхать, и, глубоко взволнованные, замирали в ту минуту, когда труба извергала первые слова. «Говорит, на самом деле говорит!..»

Именно из этого ясно различимого, реального тогдашнего мира выпорхнула для меня, влетела в мою жизнь сказочная Синяя птица. Вспоминаю, как в мгновенье ока она вспыхнула сияюще синим светом и погасла, превратилась в серую пичужку, и опять надо было думать, как сызнова поймать ее. Я помню тот день, помню заснеженный город...

Но в то время я не знал, да и не мог знать, что пройдут годы и я сам начну день за днем искать Синюю птицу.

Хотя и тогда еще, в мальчишеском своем мире, я думал о том, что обязательно буду писать. Постепенно это желание писать укреплялось. Быть может, следовало сколько было сил сопротивляться влечению к книгам, к тому, чтобы листать их, и вместе с тем миновала бы меня

и эта напасть? Едва ли. И кто может точно указать, что высекло ту первую искру, из какого конкретного случая родилась непреодолимая страсть к тому, чтобы часами, месяцами и годами,— в конце концов, всю жизнь, как пожизненно приговоренный, — корпеть и терзаться над белым листом бумаги? Когда выйдет в свет первая книга, на какой-то миг может почудиться, что захватывает, привлекает сама возможность публиковаться, видеть напечатанным свое имя. И вероятно, даже в этот день — в день выхода первой книги — совсем еще не догадываешься, что ступил на нескончаемый путь, путь поисков. Пройдут годы и годы, будет написана не одна книга, и тогда наконец поймешь, что никак не мог бы не писать, что сама жизнь обязывает тебя, требует, чтобы ты садился за стол, брался за перо, требует, чтоб день за днем ты снова и снова искал, пробовал, изобретал. Ибо только однажды ярко вспыхивает найденное слово, сравнение, метафора, своеобразный прием, значительная деталь. Лишь однажды. Если захочешь вторично воспользоваться найденным и не сможешь найти для него новый поворот, придать ему иную форму,— оно тотчас поблекнет, превратится в обыкновенного, невзрачного, серого воробья.

Так Синяя птица, прилетевшая из давних, далеких дней, ворвалась в раздумья о работе, в раздумья, от которых немыслимо ни на минуту избавиться. «Каждая новая книга по содержанию должна быть открытием, а по форме — изобретением»,— утверждает Леонид Леонов. По-видимому, это именно так.

СКАЗКИ АНДЕРСЕНА

Художник был полноват, краснощек и — как положено представителю мира искусства — с растрепанной шевелюрой. Волосы у него порядком поредели, но художник упорно отращивал их подлиннее: по бокам они густо разрослись, а за ушами и на затылке местами кудрявились.

В редакцию он всегда входил стремительно, с силой одну за другой распахивая двери, нимало не заботясь, закроются ли они за ним. Двери все подряд оставались открытыми, и вслед за художником по комнатам редакции начинал гулять сквозняк.

— У меня все продумано, надо лишь еще раз прикинуть некоторые детали,— таинственно и воодушевленно

рассказывал он.— Каждому разделу дадим отдельный титул, но рисунок должен быть скупым, всего несколько линий. А объединять все — обложку, титул, каждый отдел — будут одинаковые, повторяющиеся голубые пятна. Дай листок бумаги, я набросаю, как это примерно будет выглядеть. Надо, чтоб у тебя было понятие о всем замысле... Получится здорово!..

С первой же минуты он со всеми был на «ты».

А в его рассказах о своих замыслах, о том, что он нарисует, напишет, таинственность неустанно единоборствовала с увлеченностью и нетерпением.

Его большие, круглые, голубые глаза, в которых временами вспыхивал неистовый блеск, горели нетерпением.

Снедаемый нетерпением, художник никак не мог усидеть на месте — он поминутно вскакивал и начинал бегать по комнате, торопливо суя в рот папиросу, на ходу чиркая спичкой о коробку.

— За десять дней я должен кончить с этой книгой. Отложу все остальное — некогда...

Бум! Бум! Бум! — тяжелые удары, потрясшие дом с самого основания вплоть до многочисленных труб на крыше, прервали художника.

— Опять с самого утра сваи вбивают? — Он глянул в окно.

Как раз под нашим окном, на огороженной дощатым забором, изрытой ямами строительной площадке, неторопливо двигались серо-зеленые фигуры, что-то рыли, тащили носилки, перекатывали камни и время от времени собирались в кучки — особенно когда начинали вбивать сваи. Сваи были бетонные, серые, длинные и тяжелые. Их вгоняли в землю машиной, которая, бахая по концу сваи тяжелым молотом, каждый раз шумно, пыхтя и шипя, выпускала сизо-серые струи пара. Сизые струйки смешивались с черным дымом горевших в ямах костров. Пока машина сотрясала окрестные дома, военнопленные в своей серо-зеленой одежде лениво покуривали, переминались с ноги на ногу и наблюдали, как работает странное приспособление, или же, присев кто где, спокойно пережидали.

Когда это было — в сорок шестом или сорок седьмом? Теперь все то время в памяти слилось в нечто единое.

Там, внизу, за забором (сверху мы все видели как на ладони — что и как там делалось,— зеленоватые фигуры, и бурые холмы вырытой земли, и пестрые — то желтые,

то темные — ямы), закладывали фундамент новой гостиницы, которая должна была подняться на месте старой, разрушенной в войну. Почва оказалась болотистой, укрывшаяся глубоко под землей речушка Ридзене не давала покоя, и пришлось без конца и края вколачивать сваи. Вспоминаешь послевоенные годы в издательстве — и немедленно возникают в памяти эти никогда не стихавшие тяжелые удары машины, с шипеньем и пыхтеньем вгонявшей в землю сваи, и строительная площадка, которая вставала перед глазами всякий раз, как только подойдешь к окну...

...Признаться, я в то время вовсе не придавал значения постоянной взвинченности румяного нашего художника и не задумывался над тем, в чем ее причины.

Задумываться и понимать я начал теперь, много лет спустя.

Явившись как-то в издательство, показав несколько образцов своих работ и получив первый заказ, Вениамин стал посещать нас ежедневно, а вскоре вступил на ответственную штатную должность. Работники были необходимы, и потому никто не удивился его молниеносному возвышению.

Но Вениамин остался таким же, каким я знал его с первых дней.

Придя к нам в редакцию, он торопливо и горячо выкладывал свои замыслы. Их у него было великое множество. Вениамин жадно хватался за любую работу, так жадно, будто половину своего века промотал и теперь у него остался ничтожный отрезок времени, чтобы наверстать потерянное и сделать все, что положено. Он придумывал невиданные, удивительные обложки для книг, суперобложки, виньетки, абсолютно оригинальное оформление книг, яркие плакаты,— казалось, от бесчисленных замыслов его голова должна была распухнуть. Когда Вениамин рассказывал, задуманные им обложки расцветали всеми красками радуги, название книги прямо кричало с обложек, каждая иллюстрация к роману или повести была полна драматизма, — там на глазах у читателя должны были решаться человеческие судьбы. В одно мгновение, как при вспышке магния, должны были раскрываться характеры, а лицо героя должно было запечатлеться в памяти до конца жизни именно таким, каким его изобразил художник!

Вениамин сам бурно восторгался красочными плодами своей фантазии, его голубые глаза загорались ярко и яростно, будто в глубине каждого было спрятано по невидимой лампочке.

— Хо-хо-хо! — широко открыв рот, гулко смеялся Вениамин.— Вот увидишь, кое-кому будет как нож в сердце, от зависти лопнет... Завтра принесу эскизы,— нетерпеливо бросил он.— Ты здесь с самого утра будешь?

И, сказано — сделано, наутро, едва начинался рабочий день, он был тут как тут и уже раскладывал на моем письменном столе, поверх рукописей, неподписанных документов, чернильного прибора, поверх всего, что тут было,— наброски, наброски, наброски на белых листках бумаги. Минуту спустя мой стол превратился в белоснежный хребет.

— Теперь смотри! Смотри подряд! — торопил Вениамин.

Мне оставалось лишь поражаться. Было ясно: Вениамин, словно одержимый, словно истый безумец, жадно работал далеко за полночь. Быть может — до рассвета, до мига, когда, нечаянно оторвав взгляд от очередного рисунка и протерев воспаленные глаза, не веря себе, вместо черной тьмы, закрывавшей окно, увидел посветлевшие стекла, и раму, и крыши за окном и понял, что до предела устал. И все равно опять тянул руку к туши. Растревоженное воображение подгоняло его и вдохновляло, ему казалось, что едва успевает схватить на кончик карандаша рожденные фантазией образы. Рука лихорадочно двигалась, в тишине шуршала бумага, поскрипывал стул. За закрытой дверью, в соседней комнате, мирно спали жена и ребенок. Чтобы не мешать им, художник, беззвучно, приоткрыв рот, смеясь, радовался сотворенному им и, воодушевленный новой идеей, яростно хватал чистый лист бумаги...

Нет, однако,— как он успел? Пусть это лишь наброски...

— Смотри, как здорово выходит! — громко хвастал Вениамин.— Второй план я затушую. Он будет затенен, в движущихся тенях, по контрасту к нему, выступят очень яркие пятна, а в центре — резко очерченные фигуры... Получится преотлично, если только наша полиграфия не подгадит... Но я сам буду следить за выполнением! Смотри! Смотри! Вот на это глянь...

— Ах, если бы хоть одну книгу удалось сделать как надо! — В голосе художника неожиданно прорвалось что-то напряженно-болезненное. Пораженный, я удивленно глянул на Вениамина. Но он снова громко, несколько деланно смеялся и нервно хватал то один, то другой из своих рисунков.— Ну что, нравится?

Тогда я не заметил, не понял, что сам Вениамин недоволен своей работой и старается справиться с этим мучительным, страшным недовольством.

Я брал рисунки, снова клал их на стол. Казалось, от великолепных замыслов Вениамина в них не было и следа. Переместившись на бумагу, они стали плоскими, выветрились. На квадратных листах были нарисованы безжизненные, застывшие фигуры со странными короткими руками. И все — на одно лицо. Ни одной характерной, индивидуальной черты. Что я мог сказать? Как заведующий редакцией, я должен был или утвердить эскизы, или не принять их. Но мог ли я считать себя таким знатоком? Может, я ошибаюсь? На рисунках Вениамина всегда обнаруживались эти безжизненные, однообразные фигуры с короткими руками...

За окном — серенький денек. Невидимая машина, вбивавшая сваи, пыхтела, кряхтела, потом, застонав, изо всей силы бухала, и наш дом дрожал и трясся.

Я нажал кнопку настольной лампы, чтоб зажечь ее,— так темно было в комнате.

Может, из этих набросков потом что-то и получится?

— Ну что, не так уж плохо? — чуть ли не умолял Вениамин.

Обычная, будничная работа. Надо посмотреть эскизы, высказать свои соображения. Ждет череда других дел, больших и малых. Впереди целый день, по крайней мере восемь часов суеты. Надо беседовать с редакторами, с авторами, читать рукописи, сидеть на совещаниях... За бравадой Вениамина я не разглядел трагедию, что происходила у меня на глазах.

Теперь, много лет спустя, я понял: да, то была трагедия. Не знаю, не могу припомнить, окончил ли Вениамин какое-нибудь специальное учебное заведение или нет. Началась война — четыре года на фронте. Четыре года, когда он мог только мечтать о том, что и как он нарисует или напишет. Едва кончилась война, Вениамин демобилизовался и жадно взялся за дело. Сколько дорогого времени потеряно! Как мало сделано! Другие — быть может,

менее талантливые — вон чего достигли, стали знаменитостями! Хоть бы теперь поскорее нагнать упущенное, сделать все, что было задумано! Нельзя давать себе ни минуты передышки. Писать, рисовать, оформлять книги — теперь мне понятно — для Вениамина это было не только занятием. В этом была вся его жизнь. Потому он жаждал удачи. В рисунках своих он клал ко мне на стол свою жизнь, всего себя...

...Об этом не принято говорить, но так оно есть: каждый, кто связал себя с музами, будь то художник, актер, литератор, в глубине души всегда лелеет свою большую мечту — он напишет новую «Войну и мир»! Отобразит свой век так ярко и сильно, как никому еще не удалось! Он превзойдет Рембрандта! Создаст симфонию, которая захлестнет мир!

Мальчишки мечтают о приключениях, путешествиях, героических делах. Бегут по улице, размахивая руками, а видят себя верхом на коне, скачущими по прерии... Или, поднявшись на крыльцо, малец воображает себя в реактивном самолете, на громадной скорости — вжих, вжих, вжих! — несущемся над океаном. Не будем высокомерно посмеиваться над этими мечтами — они, день за днем входя в сердце, формируют человека и совсем нередко становятся явью.

Как мальчишка о подвиге, так художник мечтает о своей главной книге, картине, симфонии. Мечтает с первого дня, начав первую картину, книгу, написав первую песню. И если год за годом, следом за ним идут долги — все то, о чем он не успел написать,— то и мечта эта идет всю жизнь рядом с ним, держит в своей власти. Может, с самого начала надо было взяться за главную картину, главную книгу, в которой вылилось бы все, что лежит на сердце? Кто знает... Написана новая книга, вышла в свет, писатель берет ее, трогает переплет, открывает первую страницу, читает. Сколько раз она читана слово за словом. Знакома каждая буква. Нет, следует отложить на несколько дней. А через несколько дней радость окажется уже померкшей, читая, ясно видишь, что задумано все было гораздо ярче, сильнее. В лучшем случае задуманное воплотилось лишь частично. Нет, следующая книга будет куда лучше, в ней действительно раскроется все, что накопилось в сердце и в мыслях, в ней по-настоящему за-

бурлит жизнь, изображенная на каждой странице с такой силой правды, что будет дух захватывать. Может, она и окажется той большой, главной книгой? Надо скорее браться за работу. Образы — уже перед глазами. И опять начинается тот ежедневный тяжелый труд, где сталкивается замысел с его воплощением, где приходят к тебе радость и горе, ликование и страдание, прилив сил и безысходное отчаяние. Шахматист в какой-то партии может удовлетвориться ничьей, художник — обязан побеждать на каждой странице. Так же, как Гамлет на каждом спектакле вновь и вновь должен решать — быть или не быть? — и на каждом спектакле идти на смерть.

Удачи, удачи! — жаждет сердце. Жаждет признания.

Честолюбие — да, и ему принадлежит какая-то роль. «Если придет слава вместе с деньгами, пусть приходит слава. Если придут деньги без славы — пусть приходят деньги»,— писал в одном из писем своему другу Клаудслею Джону Джек Лондон. Сам он, однако, написал книгу о людях лондонского Ист-энда, принесшую ему одни неприятности и убытки, написал «Мартина Идена», «Железную пяту», «Мексиканца», стремясь показать в них истинное обличье жизни. Из множества созданных разными художниками произведений долголетие суждено лишь немногим, самым лучшим, в которых наиболее ярко отражен век, которые сами становятся составной частью эпохи. У художника в жажде успеха, удачи в переплавленном виде живет стремление подняться на вершины подлинного большого искусства, сказать своими произведениями людям нечто очень важное, то, чего до него никто не сказал, и таким образом помочь движению жизни вперед, и раскрыть в полную силу свой талант. Анализируя это стремление, в нем можно найти еще многое другое. Да, большое, благородное и мелкое, чисто человеческое слитно живут в этой мечте. Ведь каждый художник — человек со всеми сильными и слабыми сторонами. Не забудем и другое: как бы там ни было, удача, успех, признание — окрыляют. Успех может стать и толчком для того, чтобы по-настоящему развернулись силы, новые грани таланта. Удача, первая удача,— когда она пришла, как хорошо, как прекрасно тогда работается! Вместе с первым успехом художник может и по-настоящему найти себя, найти то направление, в котором сумеет наиболее плодотворно работать.

Случается, конечно, и нередко к тому же, что удача, успех художника — пусть и небольшие, но такие, что могли бы послужить трамплином для раскрытия таланта, для следующего успешного шага,— проходят незамеченными, неотмеченными, и вместе с тем увядают, чахнут замыслы, и многое из того, что могло бы появиться на свет, остается неосуществленным. Бывает и так, что признание приходит слишком поздно. Но это, наверное, совсем другая тема, совсем другой разговор...

— Я всех вас переселю в сказки! — Вениамин, как настоящий волшебник, взмахнул рукой. — Буду иллюстрировать сказки Андерсена и нарисую там Н., О. (он назвал всех по именам), заведующего производственным отделом, себя, тебя тоже... Ха-ха-ха! — Он радовался и от всего сердца хохотал, глядя туда, куда уткнулся его палец, будто по мановению руки там уже появилась какая-то красочная картина.

Передо мной, по другую сторону стола, сидел волшебник, а я и не догадывался об этом.

Мысль нарядить в одежды героев сказок Андерсена близко знакомых людей, с которыми ежедневно встречаешься, вместе работаешь, показалась забавной и на минуту даже развеселила меня.

— Интересно! — пробормотал я.

Возможно, голос мой звучал принужденно. Не особенно-то хотелось верить в возможность соединить нашу будничную, такую обыкновенную жизнь со сказками Андерсена. Интересно-то оно интересно, но...

Издательство — длинные темные коридоры, холодные комнаты. По утрам зимой, когда мы в синеватых сумерках являлись на работу, печи, хотя и топились, были еле-еле теплыми и вскоре совсем остывали. Так что мы часто накидывали на плечи пальто, а иногда, чтоб заставить кровь побыстрее бежать в жилах, принимались тереть озябшие, бледные руки. Все же мы особенно не жаловались. Знали — послевоенные трудности. Дрова для дома тоже можно было получить только по ордерам. В конце каждого месяца выдавались различные карточки на следующие тридцать или тридцать один день: хлебные, другие продуктовые с талонами на сахар и мясо, а кому положено— лимиты «А» и «Б». И заранее было известно, сколько в месяц получишь сахара, сколько коробок папирос... Правда, по соседству с издательством в Централь-

ном универмаге открылся коммерческий магазин. Но цены в этом заведении оказались такими, что можно было лишь любоваться всем выставленным в сверкающих стеклянных витринах. Иногда после работы я забегал в магазин и тогда ходил там, как по музею. Осенью для сотрудников издательства привезли картошку, и мы, красные и потные, тащили свои увесистые мешки на пятый этаж, чтобы позже переправить их домой...

Одежда редактора, заведующих редакциями и техредакторов, художников и остальных сотрудников тоже могла вызвать у непосвященных немалое удивление. В дело шло все: солдатские гимнастерки, кирзовые сапоги, поношенные ушанки и купленные по случаю или чудом сохранившиеся старые, довоенные вещи... Так что вид у нас был изрядно пестрый.

Часто мы собирались на различные, то большие, то поменьше, производственные совещания и собрания и то справедливо, а то без всякого основания отчитывали друг друга за допущенные ошибки и за срыв графика сдачи рукописей в производство. Самым большим мастером по созыву совещаний был человек, которого здесь я обозначу буквой О. (Вениамину с прототипами было легче, он с ними мог делать что хотел, мне же придется, говоря о тех же лицах, обходиться этими буквами, ведь я их никуда не переселяю.) Заведующим редакциями нередко случалось просиживать в кабинете у О., обсуждая различные производственные вопросы, целые дни.

У О. было изможденное, длинное лицо, горбатый нос. Деревянно протянув руку, он брал в костлявые пальцы лежавшую на столе лупу и, несколько откидывая назад и в сторону голову, сквозь свое магическое приспособление долго изучал принесенные на утверждение рисунки и недовольно чмокал губами.

— Придется еще подумать.— С долгим вздохом он засовывал рисунки в ящик стола и, глубокомысленно усмехаясь, качал головой, будто знал нечто такое, о чем у нас и понятия не было.

В заключительных словах, закрывая совещание, он всегда, усмехаясь и кривясь, недовольно подергивая узкими плечами, высказывал замечание почти каждому из присутствующих — то за неточность в выступлении, то по поводу какой-нибудь рукописи,— и мы все чувствовали себя виновными и наказанными. Если кто-то решался ему возразить, О., еще больше побледнев, вперял в смельчака

острый неподвижный взгляд и с металлом в голосе напоминал:

— Не забывайте, какая на нас лежит ответственность!

Минуту спустя, выпрямившись, он говорил с кажущимся равнодушием:

— Но последнее слово остается за Н., ему оно принадлежит по праву!

Н. тоже явно терялся перед всеведением и угрожающим голосом О. Побагровев, опустив голову, он неловко вертелся на стуле, обещал принять соответствующие меры, так как работу действительно следует улучшить...

Стул скрипел и шатался под тяжестью его тела и казался случайно подвернувшейся игрушкой, совсем не предназначенной для сидения.

Зато в своем кабинете Н. встречал каждого из нас добродушной улыбкой на толстом, круглом лице и тотчас начинал говорить о книгах.

Книги он любит сумасшедше: наслаждаясь, нежно поглаживая обложку только что вышедшего сигнального экземпляра, бережно, стараясь не помять, листал страницы в поисках иллюстрации, которую хотел показать посетителю.

— Замечательно, правда?

И начинал рассказывать о каком-то редком издании, о какой-то хорошо оформленной книге.

— У меня она есть! — гордо восклицал он.— Я вам как-нибудь покажу, принесу из дому. Только бы не забыть...— А сам уже поглаживал другой сигнальный экземпляр.

Договоры Н. подписывал насупившись, озабоченно, будто выполняя какой-то неприятный урок, и, торопливо отодвинув подписанные бумаги, снова принимался разглядывать свои сокровища.

А заведующего производственным отделом чаще всего можно было поймать бегающим по издательству из помещения в помещение, с этажа на этаж, растрепанным и без пиджака.

— Когда твоя редакция сдаст нам рукопись побольше? Мне на этих днях понадобится.— Он пыхтел, почти задыхаясь, застав меня в редакции или остановив в коридоре, называл типографию, чье требование надо было срочно удовлетворить.— Завтра дашь?.. Ну, тогда послезавтра обязательно. Я жду! Договорились?

Так же гонялся он и за запоздавшими иллюстрация-

ми, корректурами, на ходу распределял рукописи машинисткам для перепечатки.

Лишь недавно, к концу войны, вновь запущенная громоздкая издательская машина еще не вработалась, ее лихорадило. Редакторы по утрам приходили на работу с распухшими, до отказа набитыми портфелями, принося из дому взятые накануне для ночного бдения рукописи и корректуры. И тем не менее — сколько самых разных книг успели мы издать в те годы! Надо было восстановить опустошенные в годы войны библиотеки, обеспечить учебниками школы, снабдить книгами работников сельского хозяйства и промышленности, выпустить все новинки художественной литературы...

Попав в эту сутолоку, я — во всяком случае, весь первый год — чувствовал себя как завязший в тесте сверчок. Перед этим, демобилизовавшись из армии, я работал в газете. В один прекрасный день меня вызвали и сказали, что переводят на работу в издательство. Вместе с другими товарищами меня направляют туда, чтобы поднять работу сего учреждения, укрепить его кадры. Но я вообще понятия не имел о том, как издают книги. Конечно, почетно быть одним из избранных, которым доверяют столь ответственное дело. Но на этот раз, хоть и был приучен ни при каких обстоятельствах не отказываться от боевого задания — раз посылают, надо идти! — я сопротивлялся новому назначению, сколько было сил. Мне казалось, что с переходом на работу в издательство придется, по крайней мере на время, отказаться от мечты о литературе, от работы над рассказами. Но возражения не помогли, пришлось приступить к исполнению новых обязанностей.

Вся редакция художественной литературы в то время состояла из трех человек, и мы должны были выпустить в год книг общим объемом до тысячи пятисот листов. Те, кому приходилось соприкасаться с издательскими делами, могут с основанием утверждать, что это почти невозможно.

Однако вскоре нам утвердили несколько дополнительных штатных единиц редакторов.

Для заполнения вакантных мест у нас выработался свой метод. В поисках работы к нам забредали попытать счастья и студентки университета. Мы усаживали очередную претендентку часа на два за стол, вручали ей несколько страниц неотредактированной рукописи и говорили:

— Поработайте над этим отрывком, тогда посмотрим.

Ошарашенная претендентка попеременно взирала то на работодателя, то на рукопись, и всякий раз, когда она вновь поднимала глаза от страницы, усеянной грозными черными машинописными буквами, на ее лице все явственнее проступали растерянность и испуг.

— Что я должна делать? — вопрошал дрожащий голос.

— Редактируйте!

Минута молчания. Взгляд испытуемой в отчаянии блуждает по строкам рукописи.

— Как это надо делать? — Голос становился все более робким.

— Исправляйте то, что считаете неверным, — следовало разъяснение, которое, по-видимому, никак нельзя было считать исчерпывающим.

Эти два часа для претендентки, вероятно, были настоящей пыткой. Краснея и бледнея, очередная наша жертва сражалась с неподатливыми страницами, наскоро припоминая все правила грамматики и мобилизуя свои полученные на первом курсе знания по литературе. Внизу, на улице, машина, с завидным упорством вгонявшая сваи в землю, стеная и кряхтя, делала свое дело, не давая возможности бедному будущему редактору сосредоточиться на очередной чрезмерно трудной фразе. Наконец наступала минута, когда мы, те, кто здесь работал, просматривали отредактированные страницы и нерешительно спрашивали друг друга:

— Ну как? Будет толк?

Наши методы проверки, как я теперь догадываюсь, конечно, следует признать не только несовершенными, но явно непригодными.

Но нам позарез нужны были редакторы, а как их подбирать — мы не знали.

Редакция пополнилась еще кое-кем из демобилизованных, из тех, у кого в прошлом были связи с журналистикой, или же из числа тех, кто с непоколебимым упорством выражал желание работать в данной области, заверяя, что усердно следит за новейшей художественной литературой.

Примерно год спустя в комнатах нашей редакции почти за каждым столом сидело по новоиспеченному редактору. По большей части то были серьезные, прилежные, краснеющие молодые особы в очках, опытнейшие знатоки

грамматических правил, но абсолютные профаны в делах издательских. И часто, когда надо было готовить рукопись посложнее, мы сами, руководители акции по вербовке кадров, ужасались результатам своих усилий. Кому поручить редактирование? Кто справится? Но, пожалуй, и сами мы тогда умели не намного больше, чем они, эти юные очкастые создания.

Может показаться, что я отошел далеко в сторону от рассказа о художнике. Но в истории этой переплетаются многие нити. Вспоминая ход событий, я воскрешаю в памяти и нечто такое, о чем, мне кажется, не могу не упомянуть хотя бы несколькими словами. В рассказе, в повести нередко самое главное событие, его ядро, оживает по-настоящему, только воспроизведенное вместе со всеми сопутствующими обстоятельствами, восстановленное во множестве подробностей, обрастая которыми, как кость мясом, оно предстает в своем истинном виде; а без этого воздуха всей жизни — теряет краски, блекнет. Поэтому случается, что, словно бы уйдя в сторону, останавливаясь на кажущемся незначительным, удается по-настоящему высветить основное событие, одушевить его дыханием подлинной жизни.

И теперь я тоже должен припомнить все: и то, как мы тогда работали, товарищей по работе, темные и тихие улицы Риги по вечерам, и как мы на субботниках в старом городе с ломами и лопатами атаковали горы развалин, оставшихся на месте разрушенных во время войны домов. Как под конец года торопились сдать в производство возможно больше рукописей (ведь план надо выполнить!) и одну за другой выпускали книги в простых бумажных обложках, которые теперь выглядят такими невзрачными, и как готовили первый том Собрания сочинений Райниса...

Теперь я понимаю: когда в тот раз Вениамин рассказал мне о своем замысле — в иллюстрациях к сказкам Андерсена переселить кое-кого из нас в эти самые сказки, — я невольно мысленно обратился к нашим будням — с продовольственными карточками, нетопленными помещениями, с утомительной привычной суматохой на работе, к будням, с бесконечными заботами, с нашими ошибками, спорами и неудачами. И в моем представлении у обыденного этого мира, в котором мы жили, не нашлось

ничего общего с многоцветным, ослепительным и влекущим миром сказок знаменитого датчанина. Там, в его сказках, над красными черепичными крышами со множеством островерхих башен всегда расстилалось прозрачно-голубое небо и далеко слышалась веселая барабанная дробь храброго и стойкого солдатика. Там в роскошных каретах на громадных колесах из дворца во дворец катили прекрасные светловолосые принцессы. Там у дверей любого ждали волшебные калоши, а буря однажды заменила все вывески в городе, вместе с тем каким-то чудом дав каждой лавочке подлинное ее название. Там серый некрасивый утенок весной, раскрыв крылья, поднялся в воздух, чтобы превратиться в прекрасного белого и могучего лебедя. Там, тронутое волшебным прикосновением искусства, преображалось все — даже осколок стекла,— ярко сверкало, обретя непревзойденные, необычные краски, увидеть которые можно, пожалуй, только где-то на южных морях.

Давними воспоминаниями веяло от этих слов — сказки Андерсена. В них теплился запах прогретых летним солнцем кустов смородины и малинника. От них дышало ароматом старого, заросшего, тенистого сада, сухой летней пылью тихого, зеленого провинциального городка; в памяти возникал весь в ярких солнечных пятнах двор, и кривое грушевое дерево у сарайчика, и густые заросли крапивы вдоль дощатого забора... Я приехал на лето погостить к тете и однажды, скучая, перебирая все, что было на полках, набрел на толстую книгу в твердом голубом переплете. Начав читать, пораженный и захваченный, я за один день познакомился со стойким оловянным солдатиком, и с принцессой, которой не давала спать горошина, спрятанная под двенадцатью пуховыми перинами, и со многими другими героями Андерсена, и с волшебными калошами счастья, и казалось — с этого мига преобразилось все окружающее: мир стал необыкновенным, теперь его населяли благородные и мужественные люди!.. Не приходилось ли и вам сталкиваться с удивительным явлением: сколько бы ни минуло лет, но, если вновь встретишься с действительно хорошей книгой, прочитанной в детстве или в юности, с ее страниц опять начинает дышать аромат тех далеких дней, и кажется — вся жизнь твоя еще впереди, словно ты только что ее начал, и мечты и надежды юности сызнова входят в сердце... Так и со страниц сказок Андерсена на меня веет ароматом теплых

листьев, густыми, пьянящими запахами жаркого, напоенного солнцем лета...

...Что могло быть общего у наших знатоков грамматических правил в юбках с принцессами?

Или у О. или Н. с каким-нибудь из героев Андерсена? Или у заведующего производственным отделом, да и у меня самого? И что общего у будничной, черновой издательской работы со сказками?

О почерке Вениамина как художника у меня также было сложившееся мнение. Прикинул: может, ему лучше взяться за менее ответственную задачу? Ему я, однако, об этом не обмолвился ни словом, и, наверное, правильно сделал.

Однако и сам я со своей литературной работой в то время был далеко не в лучшем положении.

Когда меня направили в издательство, я предвидел, что писать не смогу. Но отказаться от мучительных бдений над белым листом бумаги, словно специально созданным для какого-нибудь рассказа, был не в силах. Медленно, с большими трудностями, рождалась моя первая книга — сборник рассказов.

В то время, признаться, мне думалось, что написать один или два небольших рассказа сравнительно нетрудно. Я был переполнен фронтовыми впечатлениями, они чуть ли не терзали меня. Так же как в минувшие военные годы, мне казалось, что нет более святого дела, чем изложить на бумаге все пережитое. Но чтобы начать работать над очередным рассказом, я должен был в клубке воспоминаний отыскать какой-то конкретный, пережитый самим или кем-то рассказанный эпизод, чтобы положить его в основу сюжета. Только тогда, когда бывал найден такой реальный исходный пункт (утром, по дороге на работу, или вечерами, возвращаясь домой, или днем, в перерывах между делами), в моем воображении постепенно создавались сцены, которые потом я переносил на бумагу. Событийное русло реального факта я наполнял тем, что сам пережил: раненный, вновь полз по изрытому воронками полю, чувствовал под собой, под локтями, коленками, под животом, студеную, заснеженную землю, снова маленькой солдатской лопаткой рубил закаменелую, мерзлую буханку хлеба, видел вокруг суровые лица товарищей фронтовых дней и героев своих рассказов рисовал такими же угловатыми и требовательными.

Звонили из редакции какой-нибудь газеты или журнала:

— Напишите нам рассказ!

— Ладно. Когда вам нужно?

В голове тотчас начиналась непрерывная работа по созданию рассказа, которая могла и надолго затянуться. Тогда на писание порой оставался лишь последний вечер да еще утро с шести до восьми, так как после восьми надо было собираться на службу...

В то время мне на самом деле казалось, что рассказы такие следует писать — по заказу и в определенный срок. Я фантазировал, подсчитывал: за год наберется по крайней мере двенадцать рассказов — и сборник готов. За два года — двадцать четыре, а через десять лет...

Но вскоре я почувствовал, что зашел в тупик. Заметил, что начинаю повторяться. Возник и другой вопрос: надолго ли хватит фронтовых впечатлений? Жизнь резко повернула по другому руслу: был утвержден первый послевоенный пятилетний план; будучи в Лиепае, я видел, как восстанавливают порт и устанавливают оборудование в давно смолкших корпусах линолеумного и пробочного заводов. Выезжая в командировки в деревню, на собраниях и дома у крестьян, я слышал разговоры о семенах, об урожае, расспросы о колхозах, а потом — осенью сорок шестого года — пришло известие о создании в республике первого колхоза. По лесам, правда, еще прятались бандиты и совершали нападения на советских активистов. Но все же это была совсем другая война.

Я попытался было написать один-два коротких рассказа и о мирной жизни, но сам увидел — о войне у меня получается лучше. Там, на фронте, каждое мгновение было полно драматизма. Поднимаешься в атаку, через мгновенье тебя может сразить пуля или осколок. Отступает, не выполнив боевого задания, рота, и попавшая в окружение дивизия истекает кровью...

Здесь, в мирной жизни, в однообразном потоке дней и недель, трудно отыскать необыкновенное. Бывший фронтовой друг архитектор приходит в гости, жалуется на низкую зарплату и на то, что нет надежды получить в ближайшее время самостоятельную работу над каким-нибудь сто́ящим проектом. Потом он звонит и сообщает, что у него родилась дочка; в сигнальном экземпляре какой-то книги обнаружена грубая ошибка, надо вырывать страницу и печатать заново; наша редакция не сдала

вовремя в производство две рукописи, и теперь придется оправдываться перед руководством; надо запастись дровами на зиму и подумать о пальто взамен шинели; старый знакомый разводится с женой и рассказывает о своих бедах... Как из этого материала, из всего, что кажется столь обыденным, выкроить рассказ?

Нет, ничего не получится!

Я был в отчаянии. В тупике. Может, в то время всего этого так отчетливо и не понимал. Но меня мучило что-то тяжкое и смутное. Я ни с кем не делился своими сомнениями, этой мукой! Надо работать, повторял я себе. Но для того, чтобы писать, оставалось совсем мало времени, к тому же новый, послевоенный материал расползался, едва я к нему прикоснусь,— на бумаге появлялось что-то вымученное, мертвое. Неужто первая книга всегда дается так трудно? Это можно было бы даже назвать творческим кризисом, если бы речь шла о сколько-нибудь зрелом творчестве. Но никакого зрелого творчества еще не было. Было только самое начало работы. Что же будет,— может, я, выпустив первую книгу, замолкну, не смогу ничего больше написать? Потому что этот будничный материал никак не хотел даваться, в нем как будто не было ничего такого, что могло перевоплотиться в рассказы, в драматические сцены, в роман.

Месяц за месяцем проходил в напряжении. День за днем я в издательстве занимался книгами, написанными другими. Вечерами и по воскресеньям, сгорбившись над столом, стиснув зубы, воевал со своими собственными рассказами. Как медленно и с каким трудом давалась каждая новая строка! Может, бросить? Но что делать, если я не могу не писать? Теперь вспоминаю все это и вижу, что в те долгие месяцы, хоть я и был перегружен делами в издательстве, для меня основным оставалась эта утомительная, тяжелая работа за письменным столом, над каждым рассказом, борьба с упорно сопротивлявшимся материалом.

Иллюстрации Вениамина к сказкам Андерсена я увидел только по выходе книги (она числилась по другой редакции — по редакции детской и юношеской литературы).

— Вышла! — довольно смеясь, сообщил Вениамин, на минуту заглянув в нашу обитель.

Книгу он почему-то с собой не захватил.

Снедаемый нездоровым любопытством, я сам раздобыл экземпляр и стал его перелистывать, признаться — искал сенсацию, портреты знакомых. Но вскоре я забыл о своих намерениях: передо мной страница за страницей и без повторного чтения сказок, как говорится — в одних «картинках», раскрывался полный контрастов мир удивительных сказок Андерсена, со всеми его драмами и столкновениями. По книге теперь больше не кочевали деревянные, застывшие фигуры. На ее страницах жили люди, настоящие люди, каждый со своим лицом, со своими, лишь ему присущими чертами; люди, то ленивые, то проворные, а то и чудаки со своими маленькими странностями, то со сморщенными от невзгод лицами, то лукаво усмехающиеся или сияющие от счастья, многие и разные люди. Каждый соответственно своему характеру шел навстречу своей судьбе, боролся за свое счастье. Помнится, только в одном, улыбчивом, как солнышко, одутловатом, восседающем за стойкой трактирщике, мне удалось уловить черты нашего Н. И все ж, спрашивал я себя, не ошибся ли я? Нет, это не он, это кто-то другой, в ком, пожалуй, можно найти непонятно как преображенные знакомые черты. То же произошло по крайней мере с большинством и остальных героев — они, несомненно, были людьми из сказок Андерсена, но в каждом жило нечто от хорошо знакомой, подлинной жизни, в каждом ощущались своя биография и свои индивидуальные черты. В каждом в то же время била ключом жизнерадостность датского сказочника. Я вовсе не хочу утверждать, что то были самые лучшие, непревзойденные иллюстрации к сказкам Андерсена. Нет, наверное, есть иллюстрации куда лучше. И все же, как бы там ни было, в тот день передо мной на столе, отпечатанная во многих цветах на меловой бумаге, размноженная в десяти тысячах экземпляров, яркая, как сами сказки, лежала удача художника! Будто Вениамин и вправду обмакнул свою кисть в сказочную живую воду и тем сообщил ей небывалую силу выразительности.

Много позднее, лет пятнадцать спустя, когда у нас в Риге гостил Ленинградский театр драмы и комедии, театр Акимова, я увидел у них пьесу Евгения Шварца «Тень».

Открылся занавес, и мы перенеслись в сказочный мир.

Но сказка волновала с той же силой, что и реальная жизнь, хотя в пьесе на каждом шагу возникало нечто совсем фантастическое. Тень ученого, сбежавшая от хозяина, нагло издевалась над своим бывшим господином и повелителем. В мясной лавке и в ломбарде работали людоеды...

А потом со сцены прозвучали тихо сказанные слова героя пьесы, ученого: Андерсен, сказал ученый, ему както признался, что он, мол, всю жизнь подозревал, что и сочиняя сказки он, по-видимому, писал только правду, одну чистую правду.

Примерно в то же время или чуть позже в одной из статей К. Паустовского я нашел такой совет: если кто-то из ваших героев получается «голубым», без плоти и крови, попытайтесь подложить под него прототип и тогда начните лепить его заново, опираясь на реальные характерные черты прототипа.

Да, так оно и есть. Дон Кихот, леди Макбет, Гамлет, Индулис и Ария Райниса, герои сказок Андерсена, Гобсек Бальзака, Кола Брюньон и Жан Кристоф Роллана, Тарас Бульба и Плюшкин Гоголя, Наташа Ростова, Пьер Безухов и Анна Каренина Л. Толстого, Левинсон и Морозко Фадеева, Аксинья и Григорий Мелехов Шолохова, Бривиньш и Робежниеки Упита — все они созданы из самого обычного «сырья», из глины действительности, из того материала, который поставляет бурлящая вокруг нас жизнь,— из человеческих радостей и горестей, будничных дел и забот, самых обыденных, хорошо нам известных.

Как просто, не правда ли? Но сразу рядом с первым выводом возникает второй. Глина переплавляется в фарфор. Столетия были отданы раскрытию тайны этого процесса, поискам температуры плавления, ее технологии. Как переплавить «сырье» действительности в произведение искусства? Как добиться этого? Удачи и неудачи, открытия, находки и снова неудачи чередуются друг с другом...

А что сталось потом с Вениамином? Кажется, рассказа о нем я не закончил? И не знаю толком, как его закончить. Мы редко пишем рецензии на иллюстрации и оформление книг. Удача художника так и не была отмечена ни словом, ни единой строчкой. Быть может, за всю жизнь та книга сказок была единственной его удачей. Со временем Вениамин сменил место работы, теперь, как я

слышал, работает в редакции одного из журналов, рисует виньетки, время от времени, наверное, кое-что иллюстрирует...

НЕУДАВШИЙСЯ РОМАН

Стоит ли рассказывать о неудачах? Кого они могут интересовать? Но ведь вот какое дело — произведение, в котором в большей или меньшей степени реализовался замысел, которое написано, как говорится, на известном уровне и вышло в свет, тем самым становится доступным всем и всякий сам может дать оценку тому, что в нем хорошо и что плохо. Конечно, случается — печатают и неудачные романы и повести. Но как бы там ни было, удачи, изданные, напечатанные, становятся общим достоянием, неудачи же остаются лишь за самим автором. И быть может, иной раз имеет смысл оглянуться и на свои неудачи.

Для человека, посвятившего себя литературе, в конце концов любой сюжет может стать предлогом, средством, чтобы проникнуть в толщу жизни и правдиво раскрыть картины действительности. Почему в таком случае этой цели не послужить и рассказу о неудавшемся романе?

Дома, на книжном шкафу, в синих, зеленоватых и коричневых папках лежат бумаги, записи, рукописи. Среди этих папок и папка с неудавшимся романом. Триста пятьдесят страниц машинописного текста. Вначале творение моего пера было увековечено в восьми экземплярах. То был настоящий небольшой запылившийся хлам на верху книжного шкафа. Я надеялся, что, быть может, вскоре смогу взяться за переработку романа. Со временем, освобождаясь от ненужных бумаг, пришел к заключению, что для переработки достаточно и одного экземпляра.

Как избавиться от остальных, лишних?

Я запихал рукописи в портфель, оставшиеся сунул под мышку и пошел вниз, в котельную.

Самосожжение произошло просто.

Заросший русой щетиной, худущий истопник, пожав плечами, сказал:

— Почему нет? Могу сию минуту сжечь, сунул в печку — и всего делов!

Долгие часы ежедневного одиночества в котельной приучили его ловко использовать любую возможность завести разговор и повыспросить нечаянно заглянувшего

сюда посетителя. Нарочито не торопясь, медленно, старательно закурив папиросу, истопник, хитровато усмехаясь, принялся выспрашивать и меня про все, что только взбредало ему на ум:

— Как там, наверху, еще льет?.. А-а, перестал... Вот, я давно хотел узнать — какая у вас, у писателей, зарплата? Сколько в месяц получаете?.. Не получаете зарплаты? Ну уж, такого не может быть! Как так? Нет, я еще у кого-нибудь спрошу, такого не может быть. А за границей вы бывали? Как там? Вчера я тут в газете прочитал...

Беседа, по-видимому, могла затянуться надолго, но ее оборвали тяжелые шаги, загремевшие по каменным ступеням. Вошел какой-то приятель хозяина котельной. Любознательный мой собеседник, обрадованный появлением нового гостя, мигом позабыл о своих вопросах, засуетился, громыхнув засовом, торопливо откинул тяжелую, всю в коричневой ржавчине, дверцу печи.

Из багровой, наполненной живым, гибким огнем пасти мгновенно полыхнуло жаром, и тотчас вместе с волной горячего воздуха в лицо мне ударил острый запах гари, угля.

— Запихнем — и баста! — весело воскликнул истопник и оглянулся на своего приятеля: — Человек просит, надо выручить...

Широким взмахом он поддел рукописи на большую лопату и сноровисто кинул их в печку. Затем отправил следом два оставшихся экземпляра, длинным железным ломом разворошил бумажную кипу и несколько раз с силой ударил по ней. Я вздрогнул, будто кто-то хватил меня по голове. Рукописи с минутку сопротивлялись огню (по-видимому, листы крепко слежались), потом ярко вспыхнули и превратились в нечто черное, еще тлевшее посреди буйной пляски багрового пламени.

С резким скрипом, вновь громыхнув задвижкой, с силой захлопнулась дверца печи.

— Прямо как в крематории! — смеясь, горделиво сказал истопник.

Я глядел на тяжелую заржавленную печную дверцу, будто за ней только что были сожжены четыре года моей жизни...

Позвонил корреспондент «Гудка» и попросил написать очерк о работниках станции Шкиротава (Сортировочная).

Помнится, именно на станции Шкиротава мне впер-

вые довелось услышать рассказ о молодом инженере, который, испугавшись трудностей и преград, стал искать более легких путей в жизни. Нет, наверное, я и раньше слышал подобные истории, но эта, хотя в ней не было ничего особенного, почему-то врезалась в память и потом не раз заставляла мысленно возвращаться к ней.

В старой «Победе» мы вдвоем с корреспондентом газеты поехали в Шкиротаву. На повороте дороги, когда вдали завиднелись белые кирпичные домики поселка Шкиротава (одинаковые белые коробочки, аккуратно расставленные на желтоватом плоском поле), перед глазами мелькнула странно знакомая картина. Возможно ли это? Не ошибаюсь ли я? В памяти мгновенно ожило: две зеленые машины нашей дивизионной газеты стоят здесь, возле какой-то канавы, посреди такой же заросшей бурьяном, как эта, желто-бурой, выгоревшей на солнце поляны. Вдали, там, где должна была быть Рига, тогда медленно тянулись крученые черные клубы дыма и сажи. Целый отряд смоляно-черных облаков поднимался над невидимыми отсюда крышами города.

Был октябрь 1944 года.

Рига только что была освобождена.

Мы ехали в освобожденный город и застряли здесь, посреди желтоватого пустыря, чтобы срочно отпечатать воззвание к жителям города: типография нашей редакции оказалась пока единственной действующей.

Быстро тарахтел мотор печатного станка.

Я сразу вспомнил это тарахтенье и опять слышал его, слышал, как совсем невдалеке, за небольшим желтоватым пригорком, оно превращалось в эхо и возвращалось назад к нам, будто за холмом неустанно работал еще один до предела усталый, задыхающийся мотор.

Столпившись вокруг машин, мы напряженно смотрели на смолянисто-черные облака на горизонте.

Двое из работников редакции не выдержали, пешком пошли в Ригу.

И вот двенадцать лет спустя я опять оказался на том же месте!

...В помещении станции Шкиротава, в какой-то маленькой пустой комнатушке, секретарь парторганизации рассказал мне о переменах, происшедших за последний год. О только что отстроенном поселке. Уже открыт детский сад. Вскоре будут свои школа и клуб. Одновременно решится и проблема обучения, потому что до сих пор

вечерняя школа ютилась здесь, прямо в помещении станции. Еще он рассказал о стрелочнице, которая заочно учится в вузе, и о парне из Латгалии, который, начав чернорабочим, прошел все ступени железнодорожной службы и, все время учась, стал инженером-путейцем, а недавно был назначен на должность начальника станции. Рассказывал и о том, как перестроена станция Шкиротава.

После этого я отправился к самим сортировщикам — поговорить с ними и поглядеть, как они работают.

Паровоз, медленно пыхтя, втащил на пригорок вереницу красных вагонов.

Я стоял подле белой, с большим, широким окном диспетчерской башни. Над моей головой, хрипя и кашляя, грохотал репродуктор, ежеминутно посылая во все стороны какие-то распоряжения.

Слева и справа чисто и звонко, весело пели рожки железнодорожников.

Столкнувшись все разом, железно гремели буфера втащенного на горку каравана.

Затем стайка красных вагонов заскользила назад, вниз с горки.

Один из рабочих сортировочной бригады, высокий, костистый брюнет в парусиновых штанах, парусиновой куртке и парусиновых рукавицах, метнулся к просвету между вагонами, к буферам, и быстро откинул большой крюк; крюк, лязгая, стукнулся о стенку вагона. Второй рабочий, в такой же парусиновой спецовке, но низенький и квадратный, подбежал к колесу следующего вагона и сунул под него на рельс странную колоду. Позже я узнал, что эти чурбаки называются «тормозными башмаками», сокращенно их просто называют «башмаками», а самих мастеров этого дела — «башмачниками».

Вагоны, остановленные «башмаками», еще раз громыхнув буферами, остановились, а один, отцепленный, стал все быстрее и быстрее катиться вниз с горки, потом, ловко свернув на другой путь, проехал еще немного, пока не замер на месте. Щелкнула путевая стрелка — были отцеплены еще два вагона, они так же быстро, споровисто, как и первый, покатили вниз по сверкающим на солнце рельсам и так же ловко свернули, а потом заскользили под гору все новые и новые вагоны. Маленький, одетый в парусину человечек подкладывал под колеса «башмаки», второй, высокий и костлявый, лязгал крюком между буферами; стоя на месте или время от времени двигаясь

то в одну, то в другую сторону, с шипением выпуская длинную белую струю пара, тяжело пыхтел черный паровоз; красные вагоны, обретя свободу, весело скользили один за другим вниз и непонятно почему и как — как озорные мальчишки! — разбегались каждый в свою сторону; пели дудки железнодорожников, из башни с большим окном над нашими головами грохотал голос диспетчера; голубое небо расстилалось над широко разветвившимися по желтой насыпи многочисленными, ярко блестевшими на солнце рельсами, и было захватывающе интересно следить за тем, что здесь происходит.

В перерыве, пока паровоз, пыхтя, отправился за следующей партией красных вагонов, мужчины в парусиновых спецовках, шутя и смеясь, иногда глубокомысленно замолкая и недоуменно переглядываясь, выкладывали свои истории о работе, о том, сколько в день комплектуется железнодорожных составов, о том, как им живется, как они учатся...

А потом они все как один, будто по команде, бросили сигареты — паровоз подтащил новую «порцию» вагонов.

Я продолжал смотреть, как сортировщики разделываются с вагонами, и одновременно разговаривал с начальником станции и с другими железнодорожниками. И тут-то я услышал рассказ о том самом молодом инженере. Сначала он, говорили, был очень настойчив и решителен, обещал перевернуть все на станции, потом стал угрюмым, сердитым, потерял всякий интерес к работе и, скучая, в одиночку бродил вокруг, а при первой возможности подал заявление об уходе.

— Да, был у нас тут такой вертопрах,— насмешливо скривился заместитель начальника станции.

Я почему-то тотчас представил себе этого инженера: в моем воображении он был стройным, светловолосым, в небрежно распахнутом пиджаке, с размашистой и энергичной походкой. Он говорил отрывистыми, короткими фразами, сердясь — смотрел в сторону, нетерпеливо покусывая губы и пожимая плечами.

Что с ним случилось? Надломился с первых же шагов?

А может, произошла очень обыденная история — в самом начале неправильно выбрал специальность, а потом, попав в сложный жизненный переплет, растерялся, не понял, по какому пути пойти, и заметался?

А если все это совсем не так просто объясняется? Не следует ли тут вглядеться поглубже?

Жизненные впечатления, из которых со временем может вырасти, сложиться книга, отнюдь не приходят все разом, одно за другим, и отнюдь не сплетаются сразу в нечто единое. Чаще происходит как раз наоборот — иногда длительные промежутки, месяцы, годы, даже десятилетия, отделяют первые крохи наблюдений, какую-то деталь, запавшую в память, от минуты, когда новый факт, новая увиденная в жизни картина необычно высветит давно пережитое, подымет его из глубин памяти, и вновь увиденное накрепко срастается со старыми впечатлениями. Наверное, так из века в век ложатся друг на друга слои земной почвы. Однако в голове и в душе художника сходный процесс происходит несколько быстрее. «Пыль впечатлений слежалась в камень,— говорит драматург Пастухов в романе Константина Федина «Первые радости». — Художнику кажется, что он волен высечь из камня то, что хочет. Он высекает только жизнь». Для того чтобы ныне сыскать некогда разорванные нити впечатлений, надо очертя голову броситься в поток воспоминаний, ассоциаций и плыть, свободно отдаваясь ему...

...Вдруг я стал писать повесть. Как-то утром сел за стол, и к вечеру первая глава была готова.

Вторая, правда, рождалась медленнее, над ней я просидел две недели. Однако работа легко, будто сама собой, продвигалась вперед от события к событию.

Я ясно видел перед собой ту девушку. Встретился я с ней, по заданию райисполкома проверяя, как живут подростки, бросившие школу, а потом не сумевшие найти работу.

Она была неловкой, длиннорукой и длинноногой, с тощей шеей, будто нарочно небрежно одетая в слишком большой для нее старый свитер. Разговаривая, она беспрерывно вытягивала шею и размахивала руками; усидеть на месте хотя бы с минутку было, очевидно, свыше ее сил.

Ей нравилось, что именно к ней специально заявился некий представитель, да еще расспрашивает.

— Значит, вы уже все знаете! — вызывающе весело и звонко воскликнула бывшая школьница, едва я осведомился, как там было с перепродажей билетов в кино и с другими ее делишками.— Кто вам рассказал? — Ее глаза радостно, почти счастливо вспыхнули, а голос звучал категорически.

Героиня всевозможных похождений радовалась каждому своему ответу, а также каждому вопросу, будто здесь, в маленькой комнатушке, со столом посредине, комодом и двумя железными кроватями у стен, сейчас происходило что-то невероятно интересное. К ней явилось новое захватывающее приключение!

— Школу бросила потому, что у матери трудное материальное положение! — гордо заявила она и быстро глянула вокруг, проверяя, все ли слышали этот отважный ответ.— Ну, спросите у меня еще что-нибудь! — Ее глаза блестели от возбуждения.

Как дальше сложится жизнь такой девочки?

Я писал и все время думал еще о другой девушке. Та была маленькой, светловолосой, с бледным лицом и сердито сжатыми губами.

Она ворвалась в кабинет к народному судье, словно подхваченная сильным порывом ветра. За ней, будто сорванные тем же порывом листья, в узкую темную комнату влетела стайка таких же, как она, юных созданий.

— А я не согласна! — хрипло выкрикнула девушка.— Рассматривайте на открытом заседании, пусть все слышат! Они меня как невесту прописали, с правами невесты...

— Да, прописали как невесту! — быстрым эхом повторила вся стайка.

— У меня свидетели! — повысив голос, выпалила девушка.

— Мы свидетельницы! — отозвался сзади хор.— Мы свидетельницы!

Трудно было уговорить их успокоиться и уйти.

— Все решено в вашу пользу,— пояснил судья.

— А ты не отступай! — с двух сторон гудел ей в уши отряд свидетельниц.

— На открытом заседании я все о них скажу! — Маленькая светловолосая девушка обрела новую энергию...

То было какое-то жилищное дело — об аннулировании прописки и освобождении комнаты. Нет смысла здесь целиком его пересказывать. В тот раз мы его решили в пользу девушки — работницы какой-то фабрики.

От долгих судебных заседаний мы порядком устали, но, когда к судье влетела девушка и стала буйно сыпать словами, у меня на время прошла усталость. Загоревшись любопытством, я, вопреки явному желанию судьи, втихо-

молку хотел, чтобы нарушительница спокойствия говорила подольше и рассказала о себе еще что-то.

При работе над повестью образы двух этих девушек для меня слились в один. Казалось, что из двух случаев, свидетелем которых я был (нет, конечно, не только из них одних), и из несдержанных, минутами взбалмошных речей девушек уже вырастают интересные, волнующие жизненные истории, рельефные, остро набросанные картины, и все это получает особое освещение, особый поворот.

На улице, за окном, пестрый, солнечный, шумный, плескался весенний день. Странно и забавно гудели машины, фыркали мотоциклы. В беспорядочной суматохе мешались голоса прохожих. Через дорогу, во дворе, где были видны посаженные в три ряда молодые, хрупкие и прямые деревца, мальчишки прыгали с мячом, гулко отдавался окрест каждый удар посильнее, за ним взрывался смех.

Думалось — легко и хорошо пишется потому, что перед глазами переливается и сверкает прозрачная, красочная эта весна с первыми, едва заметными точками листочков на черных деревьях, с теплым, густо насыщенным запахами просыпавшейся земли воздухом, что вливался в открытое окно. Ничто не могло помешать работе. Быстрый стук пишущей машинки звучал ликующе.

Но самую большую радость доставляло то... Нет, главным образом работалось легко оттого, что, когда я писал, неторопливо вникая в подробности ежедневного бытия своих героев, и тщательно, в деталях (что было необычайно приятно), воспроизводил все на бумаге, и больше и больше влезал в эти подробности, то казалось, что мне удается точно уловить реальную, несочиненную жизнь в движении, со всеми ее превратностями, крутыми поворотами, и на бумаге возникают выпуклые, интересные сцены, куски жизни. Раскрыть правду жизни, запечатлеть ее — разве не в этом высшая радость нашей работы?

А затем так же неожиданно, как я начал повесть, пришел день, когда я не смог больше написать ни строчки. Вторая глава была закончена, дальше работа не двигалась. Можно было сколько угодно просиживать за столом, стараясь что-то нацарапать на бумаге, но от этого не было толку. Во дворе напротив мальчишки, словно навек там прижившись, продолжали прыгать с мячом, пятна солнца трепетали на крышах домов и в окнах, мешанина

голосов и звуков плыла по улице, все было как прежде. Только работа остановилась. Автор «Жестокости» Павел Нилин как-то рассказывал, что на его письменном столе лежат несколько начатых рукописей и, если работа над одной из них застопорится, он берется за другую. А к первой возвращается, когда воображение само по себе сделает свое дело и вновь соединит разорвавшиеся нити повествования.

Но, однако, не все могут так работать. И что делать мне, если я знаю — мне необходимо возможно скорее дописать именно эту книгу, я во что бы то ни стало должен рассказать о той светловолосой девчонке с хрипловатым голосом, о ее судьбе? Казалось, что, следуя за своей героиней по ее путаным тропам, я тем самым подойду к жизненно важной проблеме, о которой так необходимо говорить, расскажу о какой-то части молодежи, о тех, кого иногда называют пассивными, и, может быть, таким образом смогу что-то изменить и в самой жизни.

Да, оказалось совершенно необходимым дописать начатую повесть.

А она не двигалась и не двигалась с места.

Может, ее и не удастся закончить? Быть может, просто выбросить уже написанное?

Невыносимо тяжко было изо дня в день думать об одном и том же. Однако, что бы я ни делал, думать о другом я не мог, на уме была одна и та же единственная мысль.

И вот несколько месяцев спустя, уже осенью, мне привелось по меньшей мере несколько раз в неделю бывать на одном из крупнейших предприятий Риги. Горком партии направил на заводы своих представителей, чтобы помочь наладить работу среди молодежи. Я согласился на это задание. Тотчас вспомнил свою начатую повесть. Если я еще раз окунусь во все, с чем, очевидно, столкнется и моя героиня, то, возможно, смогу засесть за продолжение повести. К тому же на заводе я появлюсь не как литератор, а как человек, пришедший с практической целью, буду заниматься проблемами, которые волнуют заводской народ.

На заводе я пробыл длительное время, почти полгода. Выступал с докладами и лекциями, участвовал в собраниях молодежи, бывал в общежитиях, а с работниками одного цеха сошелся совсем близко.

И вот мне снова случилось встретиться с чем-то похожим на то, о чем мне рассказали в тот раз — погожим осенним днем, когда вокруг пели дудки железнодорожников, диспетчер выкрикивал в репродуктор свои распоряжения и железно лязгали отцепляемые вагонные крюки.

Здесь я прерву последовательное изложение, чтобы предоставить слово сохранившимся с той поры заметкам. Разумеется, можно было бы попытаться еще раз рассказать то же самое другими словами. Но в записях, что набросаны прямо по ходу событий, пусть они так и остались неотшлифованными, неотредактированными, подчас живет непосредственная сила самой действительности, которую ничем нельзя заменить. Немыслимо, конечно, здесь слово в слово воспроизвести все многочисленные записи, торопливые наброски в блокноте или на случайно подвернувшемся под руку листке бумаги. Это и не нужно. И заметки будут столь же отрывистыми, какими они родились тогда.

Еще одно предуведомление: в сохранившихся записях сам завод, его общий вид никак не обрисованы. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь представить себе высокие железные ворота на окраине городского района, в окружении обычных жилых домов; справа от ворот — многоэтажное желтоватое здание: идя по улице, вы за воротами видите лишь один большой корпус, и поначалу может показаться, что два эти здания и есть весь завод. Но едва вы миновали ворота и тот первый корпус, перед вами возникает обширная территория, застроенная множеством цехов; вся эта громада глубоко вклинилась в раскинувшиеся вокруг жилые кварталы. В лабиринте коричнево-красных корпусов петляет черная, заасфальтированная дорога. По широкой черной ленте дороги, после дождя влажно блестящей, громыхая, рыча на поворотах, тянутся грузовики и торопятся ловкие, юркие автокары. Здесь пахнет гарью, углем, сажей, машинным маслом. У каждого корпуса — свое лицо. Некоторые, приземистые и коренастые, целыми днями храпят, словно работают с громадной натугой, и иногда, когда отворяется какая-нибудь дверь, из нее вырываются клубы сердитого черного дыма. Другие стоят прямые, статные, в их бесчисленных окнах мерцают огни, вслушаешься — до тебя доносится напряженный непрестанный гул. Утром, в обеденный перерыв и под вечер потоки людей, сталкиваясь, сливаясь в одну большую реку и снова делясь на небольшие ручейки, пере-

полняют двор. По утрам люди заняты и неразговорчивы, к вечеру — неторопливы и заметно более разговорчивы...

А теперь перелистаем сохранившиеся записки.

«В цехе Т. в январе работали так: до восемнадцатого не было конденсаторов, не хватало и других деталей. На одном участке рабочих все время отпускали домой, на другом — работы было мало. После восемнадцатого, когда прибыли конденсаторы, каждый день штурмовали — всех, кого только было можно, перевели работать на первый участок, часто оставались на два дополнительных часа. Опять стало плохо с конденсаторами. Начальник цеха сам поехал на аэродром, чтобы поскорее привезти конденсаторы.

Все же январский план был выполнен...»

«Секретарь комитета комсомола Саша сидит в своем кабинете за письменным столом и страдает над белым листом бумаги.

— Я заперся, чтоб никто не мешал. Надо написать ответ итальянцам...

Месяц назад получили письмо от итальянской молодежи.

Начались поиски знающих итальянский язык. Есть кто-то в отделе главного конструктора, да уехал в отпуск.

Работники заводской многотиражки забрали письмо, пообещали перевести и напечатать. Но перевели и опубликовали только два первых, вступительных абзаца, в которых нет ничего конкретного.

— Мы не можем больше тянуть.— Саша пощипывает небольшие усики (из-за них члены комитета шутливо кличут его «усатым»).— А что мне еще написать? Я уже рассказал, что у нас многие учатся в средних школах и в техникумах, написал о наших спортсменах... Что бы еще такое вспомнить? Очень трудно что-то сочинять, если ко всему еще не знаешь, о чем они написали!»

«На заводской комсомольской конференции решили попросить объяснения у опоздавших к началу заседания.

Один за другим на трибуну поднимаются четыре парня.

В их объяснениях удивительным образом отразились характерные черты заводской жизни.

Рыжий веснушчатый парень. Опоздал на час с чем-то. Стесняясь, опустив голову, говорит: у него очень тяжелые жилищные условия. Короче — он живет без прописки. Угол все-таки имеет. А хозяева выставили дополнительное условие: чтобы он помогал в учебе их сыну. И сегодня, в воскресное утро, когда встал, хозяева попросили, чтобы он подзанялся со своим учеником. Сами понимаете — отказать было невозможно...

— Признать причину уважительной? — солидно спрашивает председатель.

— Признать! — слышатся крики и смех. Смех сочувственный.

Второй поясняет за двоих. Они ездили в Елгаву с самодеятельностью давать концерт для районной партконференции. Вернулись в пять утра и проспали.

Председатель снова задает свой вопрос.

— Признать! — проносится по залу.

Третий должен был вечером и утром работать у себя на участке, поэтому опоздал.

Вопрос председателя. В ответ голоса и опять смех:

— Ликвидировать штурмовщину!

Четвертый опоздавший терпит поражение. Выпятив грудь, сжимая кулаки, чтоб показать, как ему пришлось «приналечь», рассказывает: я, мол, учусь и вчера вечером, поскольку близятся экзамены, решил основательно подзубрить и долго сидел над учебниками. В зале поднимается хохот. «Заливаешь!» И еще: у него будильник такой-то и такой-то марки, он его завел, а тот отказал, не звонил. Смех усиливается. Жертва будильника сходит с трибуны, но председатель велит ему вернуться, еще раз стать перед собранием. Делегаты голосуют поднятыми красными мандатами — объявить предупреждение».

«Светлана. Впервые я ее увидел на заводском семинаре комсоргов.

Маленькая, худенькая девушка с мягким личиком, с сияющими глазами.

Пришла вместо комсорга. Положила перед собой синюю школьную тетрадку, внимательно глядела на говорящих и все по порядку записывала.

Потом начала спрашивать:

— Как же все-таки, я не понимаю, протоколы в тетради писать или на отдельной бумаге?

— Это не самое важное, как вы будете вести протоколы, можно и так и этак...

Светлана запротестовала:

— Нет, я хотела, чтобы было по одному сказано, чтобы было ясно! — От удивления по поводу столь ужасной неопределенности глаза ее становятся большими, как блюдца.

Потом я еще раз увидел Светлану на заседании комитета комсомола.

Утверждали пионервожатых в подшефную школу.

Комсорг цеха, низко наклонившись над ухом секретаря заводского комитета, энергично черкал ногтем по имени Светы, как будто выскабливая из списка.

— Она культоргом на участке, теперь заявила: «Пойду в пионервожатые». Не пущу я ее, у нее уже есть работа... Мне некогда, не могу остаться, а ты учти...

Света сидит с наивно-обиженным, вопрошающим личиком, глаза от волнения так и блестят. Да, сказала упрямица, она согласна на все, согласна исполнять и работу у себя на участке, и обязательно хочет быть пионервожатой.

— Потому что я потом пойду учиться в педагогический институт! — все с тем же детски обиженным выражением лица решительно заявила она. И, не садясь, напряженная, побледневшая, стоит и ждет решения.

— Ну, раз товарищ с такой перспективой, то надо пустить ее пионервожатой,— сказал кто-то из членов комитета».

«В цехе Т. за конвейером. Если случилась заминка и сборщицы не успевают за конвейером, они начинают откладывать плывущие по ленте аппараты в сторону, чтобы позже доделать, что нужно.

Обеденный перерыв. Одна из работниц, оставшись на своем месте, положила на стол руки, опустила на них голову и дремлет. Другая продолжает намотку. Вторую я накануне встретил в общежитии. Она быстро вошла прямо с мороза с большой новенькой, блестящей кастрюлей в руках. Мы с комендантшей, только что выйдя из какой-то комнаты, стояли в коридоре.

— Хозяйством обзаводишься? — смеясь, спросила ко-

мендантша.— Вышла замуж — значит, теперь надо посуду, в чем суп варить...

Товарки, жившие в одной комнате с владелицей кастрюли, посвятили нас в последние события — вчера Ванда была в загсе. В честь этого девушки выпросили у комендантши на субботний вечер радиолу: надо же отпраздновать свадьбу.

— Как теперь устроитесь-то? — озабоченно спросила у девушек комендантша.

— Да вот есть тут закуточек, немножко передвинем шкаф, отгородим их.

И вот я увидел новобрачную в цехе, за работой. Мерцает над ее головой огонек лампочки. Обеденный перерыв, Ванда сидит и продолжает намотку.

— Вышла замуж, теперь старается, чтоб побольше можно было заработать...»

«Саша (секретарь комитета комсомола) говорит: у нас на заводе молодые инженеры в цехах редко когда удерживаются. Начальникам цеха одно только и надо — гнать процент, чтобы план выжали, чтобы бегали, доставали детали. А молодые еще к этому не привыкли, их постепенно и выживают...»

«Тамбуков и Прослов. Тамбуков — среднего роста, сутуловатый, чернявый, с толстогубым и густобровым лицом...

Прослов по крайней мере на голову выше, с длинной шеей, острым носом, худыми руками, чисто одетый.

На заводской комсомольской конференции Тамбукова прочли в списке выдвинутых в состав комитета комсомола.

Где-то в последних рядах поднялась рука.

— Пусть расскажет, как у него с учебой.

Тамбуков вышел на трибуну, рассказывает: он хотел поступить в вечернюю школу или техникум, но не смог «из-за нерешенного жилищного вопроса». Теперь он снял угол, а вот учебный год уже начался.

Непреклонный следователь заявляет Тамбукову отвод.

— Вдруг в комитете,— сказал он,— Тамбукову как раз и поручат учебный сектор и кто-нибудь из комсольцев спросит: «А сам ты учишься?»

Поднялся Прослов:

— У нас в деревообделочном цехе мы знаем Тамбукова как активного комсомольца. Предлагаю избрать его в комитет...

Несколько дней спустя мне пришлось вместе с секретарем комитета комсомола побывать в деревообделочном цехе.

Первый, кого мы там встретили, был Прослов.

— У меня такое ходатайство насчет Тамбукова,— сказал он.— Поручите ему в комитете культмассовый сектор. Он сам просит, и я поддерживаю. У него к этому делу душа лежит.

На заседании вновь избранного комитета комсомола, когда зашла речь об укомплектовании заводского комсомольского поста (теперь эти посты называют «комсомольскими прожекторами»), кто-то заметил, что туда надо привлечь несколько человек, умеющих рисовать.

Тамбуков вскочил и, протянув вперед руку, твердил одно:

— Вот запишите Прослова! Непременно запишите Прослова!

— Он же комсорг цеха...

— Ну и что? У нас в цехе я редактор комсомольского поста, и он у меня рисует!

— А ты у Прослова кем в цеховом бюро?

— Я у него культсектором.

— Так вдвоем, на пару, и работаете, каждый у другого то начальником, то помощником?

— Ну да! — радостно воскликнул Тамбуков.

— А как было на цеховом шахматном турнире, тоже только вдвоем играли?

— Нет, там у нас народу больше было...»

«Лето уже давно прошло, а в цехе Н. не прекращаются толки о сорвавшейся поездке на целину. Едва сказали, что есть возможность добровольцам поехать на уборку целинного урожая, как шестьдесят комсомольцев подали заявления. Комсорг цеха, собрав бумаги, отправился к начальнику цеха.

— Нет, никого нельзя отпустить,— сказал начальник цеха.— На заводе наш цех ведущий, мы прежде всего должны считаться с государственными интересами, с выполнением плана.

Комсорг попытался спорить:

— Разве целина не государственное дело? Надо смотреть шире...

Комсорг пошел в райком комсомола, спросил, как же теперь, если начальник цеха никому не позволяет ехать. Секретарь райкома посоветовал: с заявлениями надо пойти к начальникам участков, пусть те конкретно посмотрят по каждому заявлению, кого без ущерба для производства можно отпустить.

Комсорг обошел начальников участков. Те разрешили поехать четырнадцати ребятам, все честь по чести, и свои резолюции наложили.

Начальник цеха, узнав об этом, быстренько созвал начальников участков, намылил им головы и распорядился любой ценой вернуть заявления с резолюциями. Начальники участков стали бегать к комсоргу, были в комитете комсомола, просили вернуть им злополучные заявления. Комсорг ответил, что передал заявления дальше, комитет комсомола также отказался вернуть приобретшие такое значение бумаги.

Начальник цеха тем временем побывал у директора, доказал, что его цех — ведущий цех! — не выполнит плана, если молодежь уедет на целину. Речь, правда, шла только о четырнадцати получивших резолюции начальников участков (всего в цехе работало более двух тысяч человек). Но было решено — никого не отпускать.

Комсомольцы не успокоились — пошли в райком партии, говорили там, но никто не мог заставить директора изменить его решение.

А некоторые уже стали готовиться к поездке — купили кирзовые сапоги, рюкзаки, спецовки.

Только двое из цеха чисто случайно уехали на уборку урожая. Одному парню путевку на целину каким-то образом выдали непосредственно в райкоме комсомола. А девушка поехала самая тихая, незаметная. О ней в суматохе позабыли потому именно, что она незаметная,— в комитете комсомола никто твердо не помнил, в каком цехе она работает. Путевка была выписана. Собралась молодежь в клубе на вечер — на нем торжественно вручались путевки. Вручили ее и этой девушке. В зале гремели аплодисменты, секретарь комитета еще раз посмотрел в список и увидел, что рядом с фамилией девушки написано — цех Н. Но уже было поздно, ведь после всех этих аплодисментов не отберешь путевку.

— Мы так надеялись поехать, все с воодушевлением готовились работать на целине,— рассказывали комсомольцы.— А поскольку поездка провалилась, активность спала. Откровенно говоря, мы упали духом.

— Как же так — после первой неудачи сразу и руки опустили?

— Ну да, но если мы видим, что у нас ничего не получается? Начнем что-то, а другие смеются: «Что вы болтаете? Опять как с поездкой на целину получится». После всего, что было, нет никакой радости ни за что браться... Общественными делами заниматься не хотят... Придут, отработают свои часы и говорят — все, с меня хватит...»

...Теперь, когда я столько написал, меня снова одолевают сомнения. И правда, кого может заинтересовать неудавшийся роман, роман, которому не суждено было стать книгой? Удачи — это нечто совершенно иное, они должны дойти до читателя. А удел неудач — оставаться «на хранении» при самом авторе.

А как быть с тем жизненным явлением, с проблемой, желая раскрыть и исследовать которое засел я за роман? Ведь об этом встреченном в жизни и остающемся жить явлении надо рассказать и другим, надо сказать свое слово,— ведь оно, это явление, касается нас всех...

Молодая женщина — инженер З.

Вначале я лишь то там, то тут слышал, как упоминали ее имя.

«Надо пойти и выяснить, что там опять случилось с З.»,— говорили в комитете комсомола. «Снова скандал с З.!» (Снова! Снова! Снова! — этим словом начинался почти любой разговор, имевший какое-то отношение к З.) «Сегодня я сказал З., чтоб она прошла в комитет...» И так далее и так далее в новых и новых вариациях склонялось и повторялось имя З.

— Сама она тоже отнюдь не ангел. Нос слишком задирает и всем свое «я» тычет. «Я» и «я», только и слышишь. Ну да, ей, конечно, стараются, где только можно, подножку подставить.

Сильно заинтригованный, я наконец встретился с самой З.,— как раз в дни, когда на работе у нее случились новые осложнения и, в сущности, решалась ее дальнейшая судьба. Решалась или она сама ее уже решила, сама

отказалась от борьбы, избрала более легкий путь? Этот вопрос не давал мне покоя.

З. пришла в комитет комсомола в черном халате, руки держала в карманах.

Голова гордо вскинута.

Продолговатое, узкое, бледное лицо...

Говорила она тихим голосом, но каждое слово произносила подчеркнуто четко.

— Хочу вас информировать, — холодно начала она, — я осталась без работы. Фактически я уже уволена, остается только написать заявление, чтобы можно было оформить приказом, что З. освобождена по собственному желанию...

— Я поговорю с главным инженером! — Секретарь комитета решил немедленно действовать.— Ты только не волнуйся. Понимаешь? Мы добьемся, чтобы тебя перевели на другую работу...

— Теперь я не знаю,— З. вскинула голову еще выше и продолжала, словно ничего и не слышала,— писать мне заявление об увольнении по собственному желанию? Я еще подумаю. У меня нет никакого желания доставить этим из цеха такое удовольствие...— Быстрая ироническая усмешка тронула ее губы. З. словно играла какую-то роль и сама со стороны посматривала — хорошо ли ей эта роль дается?

— Значит, завтра опять заглянуть? — минуту спустя спросила она у Саши.— Но разве уже будет ясность? Я ведь сказала — еще подумаю, стоит ли мне здесь оставаться. Но пока что сегодня и завтра — буду сидеть в цехе, как манекен, ничего не делать, но уйти не уйду...— Губы ее еще раз искривились в усмешке.

Разговаривая со мной, З. время от времени справлялась, правильно ли она судит и правильно ли она поступила в том или ином случае; историю своих злоключений рассказала примерно так (повторяю ее рассказ в несколько сокращенном виде). Полтора года назад, после окончания института, ее направили работать сюда. Уже с первого дня начались передряги — долго не могли решить, какую должность доверить молодому специалисту. Два месяца З. вообще не получала зарплаты. Позже проблема зарплаты была улажена. Работник отдела кадров в присутствии самой З. звонил в отдел труда и зарплаты и говорил:

— Ну так что, что нет штатной единицы, надо что-то изобрести. Человек ведь должен есть, без зарплаты никому не прожить...

Так появился о ней первый приказ,— с благословения этого документа, молодой специалистке выплатили зарплату за два месяца, и она была назначена технологом в цех Р.

Однако на том невзгоды З. не закончились, напротив, как позже выяснилось, только начались.

Ее бросили на произвол судьбы, на должность назначили, но определенных обязанностей у нее не было. Болталась у других под ногами — в цехе и так оказалось достаточно технологов. Руководители цеха сразу стали на нее коситься.

Первый месяц З. провела за тем, что просто читала одну за другой технологические карты,— непрошеной гостье никто не хотел доверить серьезного дела.

Потом З. время от времени стала замещать ушедших в отпуск технологов.

К концу лета она было подготовилась к тому, что ее вскоре переведут еще на какую-то работу,— дочерна загоревшие, отдохнувшие, несколько медлительные, один за другим возвращались из отпуска и садились за свои столы технологи, обязанности которых она исполняла.

З. подогнала все текущие дела, чтобы за ней ничего не оставалось.

Наконец за свой стол уселся последний из вернувшихся отпускников, такой же загорелый и такой же разговорчивый, как остальные.

У З. не оказалось даже собственного стола. Она примостилась на краю чужого, не зная, что делать,— никто ей ничего не говорил, все были заняты своими делами. Представьте это глупое положение!

— Два дня я ревмя ревела,— с холодной иронией, криво усмехаясь, критически оценивала З. свое прежнее неумение держать себя в узде.— Потом я подала начальнику цеха заявление об освобождении с работы, «поскольку дальнейшее мое сидение у края стола с точки зрения здравого смысла является абсолютно нецелесообразным». Ц. (она назвала фамилию начальника цеха) немедленно наложил резолюцию — освободить!

Но были необходимы и другие подписи.

В заводоуправлении какой-то сотрудник стал кричать на нее:

— До каких пор мы с вами возиться будем?

Услышав это, З. тоже взяла иной тон:

— «Возня» со мной у вас только начинается. Вы до сих пор ничего не видели и не возились со мной...

— Я вас уволю! Выгоним вас!

— Так я о том и прошу.

Но в следующий раз он был вежлив, любезен,— очевидно, узнал, что не имеет права так запросто уволить молодого специалиста.

З. опять определили в тот же цех. Теперь ее назначили помощником мастера. «Позже я поняла,— рассказывала З.,— что начальник цеха, создав новый участок и переведя туда старого мастера, несколько просчитался. Поэтому ему любой ценой следовало вернуть старого мастера, и я оказалась лишней...»

И вот действительно стали всячески склонять ее имя, создавать вокруг З. мнение, что она не справляется.

Заместитель начальника цеха пригласил З. в контору, чтобы поговорить с глазу на глаз.

— Что же вы не подаете заявление об уходе? Вы что, ничего не понимаете? Будем вас донимать приказами по любому поводу, пока вы не принесете заявление об уходе по собственному желанию.

Но З. не была настроена еще раз писать такое заявление.

Можно даже сказать — теперь-то она и заупрямилась.

Близился конец года. Подгоняли с выполнением плана и готовились к работе в новом году. В субботу 27 декабря З. получила распоряжение — участок должен работать до четырех часов (обычно в субботу работу кончали в час дня). Пускай она тянет с теми деталями, что есть, а к трем поступят новые, и участок сможет поработать пару часов сверхурочно вовсю. З., проверив, что у нее имеется, увидела, что до трех ей никак не дотянуть, и решила, что нет смысла людям напрасно томиться, пустила работу на полный ход.

В два часа дня на участке появился директор и увидел, что рабочие собираются по домам.

— Я вас отстраняю от работы! — сказал директор.— Вам было дано распоряжение работать до четырех. Вы его не выполнили — я отстраняю вас, можете и носа сюда не показывать...

Разгорелся сыр-бор. З. несколько дней действительно не допускали к работе. Вмешался комитет комсомола. Са-

ша и еще несколько членов комитета ходили разговаривать к начальнику цеха, побывали и в заводоуправлении. Справляется З. с работой или не справляется? Прежде всего надо раз навсегда выяснить этот вопрос. Если она действительно не справляется, то ей надо помочь.

И вот не прошло и месяца, на участке, которым руководила З., мастером на ее место внезапно был назначен другой. Она снова оказалась в роли пятой спицы в колеснице.

— Я еще подумаю, стоит ли мне оставаться работать на заводе,— сказала она тогда в комитете ледяным голосом, поочередно уколов каждого из присутствующих коротким, недоверчивым взглядом.

Но когда она мне рассказывала историю своих злоключений, в ее голосе то и дело слышались подлинное волнение и горечь. Все же и рассказывая она изо всех сил старалась быть ироничной.

И в ее рассказе все, кажется, было чистой правдой.

Слушая З., я, естественно, никак не мог не сочувствовать ей, и иногда, когда она волновалась, вместе с ней волновался и я. Но хотя то, что относится к фактической стороне этой истории, было целиком «сфотографировано», улеглось в памяти именно так, как рассказывала З. и как я это здесь пересказал, однако странным образом в какой-то другой частице мозга услышанное трансформировалось, обрело другие очертания и оценку. Что же дальше будет? — рассуждал я. З. теперь оставит завод? Она сказала, что еще подумает, как и что делать, потому что теперь у нее появилась возможность попасть в какой-то научно-исследовательский институт. При окончании вуза она тоже была рекомендована для научной работы. Конечно, человек ищет, где лучше. И разве правильно считать, что труд ученого легче? Нет и еще раз нет! Если вглядеться поглубже, то нередко пути, кажущиеся более легкими, если это пути настоящие,— в науке, искусстве, да в любой области,— оказываются очень и очень трудными. К тому же в данном случае, вспоминая все, что З. пришлось перетерпеть за полтора года, несправедливо было вообще ее в чем-то упрекать. Прежде всего вызывали возмущение сами обстоятельства, в которых после окончания высшей школы очутилась З. ...

Но меня, когда я слушал ее историю, занимал вопрос — что с ней будет дальше? Сможет ли она после

неудач на первой работе сохранить в себе душевную силу, не надломиться? Быть может, она уже сломлена? Случается ведь и так, думал я, что человек, едва ступив на жизненный путь и столкнувшись с трудностями, с несправедливостью, лицемерием, непорядками на работе, в конце концов — с самой элементарной, ничем не пробиваемой глупостью, с неумением, с привычной рутиной, расхлябанностью и другими нелепостями, не сумев со многими из них справиться, махнет рукой на свои замыслы, порывы и начнет дудеть одно: «Что я — дурак? Что мне, своя шкура не дорога? Что мне — больше других надо? Моя хата с краю, меня касается только моя работа; что начальство велело, то я делаю, остальное — до лампочки. Я человек маленький. Делаю свое — и точка, возражать никому не возражаю!» Что будет с З.? По какому пути пойдет она после всего случившегося? Быть может, начав работать в том институте, о котором она упомянула, станет держаться от всего в стороне и думать будет только о том, чтобы у самой все было в порядке? Может, с первой неудачей изломана вся ее жизнь, и пусть ей суждено прожить еще долгий век, но духовно она уже мертва — стала ко всему равнодушной, будет влачить дни, замкнувшись в своей скорлупе? Хуже того,— может, в дальнейшем, собственного благополучия ради, начнет приспосабливаться к обстоятельствам, думать будет одно, говорить — другое, что покажется выгоднее, и, оправдывая свое поведение различными «мудрыми» соображениями, вроде того, что иначе нельзя, таковы обстоятельства, покинет в беде друзей?

Быть может, эти мысли никак нельзя было отнести непосредственно к З. и ее истории, возможно, молодая женщина и после первых неудач сохранила в себе силы и ей не грозила опасность превратиться в равнодушного человека или в приспособленца.

Но в моей памяти в ту минуту воскресла история молодого инженера, услышанная на станции Шкиротава, и некоторые другие подобные случаи. В ушах звучал еще один рассказ, который мне привелось услышать всего за несколько дней до разговора с З.

— ...Поступил я на работу, ничегошеньки еще не соображал.— Заместитель секретаря цеховой комсомольской организации, рассказывая, пожимал плечами и усмехался, будто сам удивляясь своей тогдашней наивности.— Тут в последние дни месяца оставляют работать после

смены. Штурмовщина! А мне что,— я считаю, не надо штурмовать, отрицательное это явление. Поработал часок, встал, прибрал свое рабочее место, сказал бригадиру: «Я пошел!» На другой день прихожу на работу, меня вызывают в цеховую контору, и там-то меня и просветили. «Ты имеешь право, если захочется, идти домой хоть в четыре, как только кончилась смена, и за это мы тебе ничего сделать не можем. Только учти: если ты теперь опоздаешь хоть на полминуты или отойдешь от рабочего места — сразу выговор, потом еще, так и будем долбать...» После этой беседы я стал благоразумным,— сказал Л.— Во всяком случае, на работу прихожу за полчаса и стараюсь, чтоб мое появление не осталось незамеченным...

Возьмем хоть Н., есть у нас такой парень,— рассказ имел продолжение.— Так он сперва, если где видел брак, поднимал шум, требовал, чтобы немедленно что-то делали, критиковал мастеров и руководство цеха. Был общественником, активно участвовал во всех мероприятиях. Потом он мне сказал: нет, лучше, говорит, быть ишаком, делать только то, что прикажут,— и с тех пор как отрезал — теперь сидит спокойно, работает, идет там брак или нет, а до остального ему нет никакого дела, что бы в цехе ни случилось...

Л. (насколько я его знал) был веселый, образованный юноша, окончил техникум, хорошо работал, любил читать книги и ходить в театр. В цехе молодежь его уважала. Девушки, которых было большинство, если приходилось решать какой-нибудь вопрос, говорили — надо посоветоваться с Л., надо спросить Л., какого он мнения...

Я слушал З., а в памяти моей оживал этот рассказ, и, наверное, потому все, что произошло с молодой специалисткой, для меня повернулось иной, более драматической и более значительной стороной.

— Что же вы решили делать? — спросил я.

Вопрос, наверное, пришелся не к месту — ведь З. и сама не знала, какую работу ей теперь здесь, на заводе, предложат. Но меня мучило желание поскорее разгадать, каковым будет ее дальнейший жизненный путь, и, пожалуй, если окажется возможным, предостеречь от опрометчивого шага. Вот почему и сорвался у меня с губ этот вопрос.

З. недоуменно пожала плечами.

Мы беседовали во время обеденного перерыва в комитете комсомола. Сели в уголок и там говорили. Секретарь комитета Саша возился у стола, что-то разыскивая в ящиках,— к нему приходили люди, докладывали о том, что происходит в цехах, о работе комсомольских постов, о комплектовании молодежных бригад, о каких-то списках, собраниях и о множестве других будничных дел. Саша что-то отвечал, советовал и снова принимался скрипеть ящиками стола,— по-видимому, затерялась какая-то нужная бумажка.

Рассказ З. как бы сливался со всем тем будничным, о чем уже говорилось в приведенных здесь записях. И все же рассказ этот сразу выделился среди других впечатлений яркой магниевой вспышкой, ворвался в накопленный материал светлой, обжигающей молнией и — в одно мгновенье — переплавил большую часть увиденного, услышанного, слил воедино новые впечатления с прежними. С тем же услышанным в Шкиротаве и со многим другим, с чем приходилось встречаться в жизни, что-то изменив во всем увиденном, высветив моменты, ранее казавшиеся незначительными. Во мне — да, возможно, именно в эти минуты! — зародилась уверенность, что во что бы то ни стало надо написать повесть, или роман, или еще что-нибудь о таком вот молодом человеке, что, только начав самостоятельный жизненный путь, вскоре превратился в борца за собственное благополучие, в карьериста. Надо написать об этом, о подобных случаях и таким образом разобраться в самом явлении, думал я. Новая мысль захватила меня. А с какой стороны подступиться? Может, в первую очередь надо присмотреться к обстоятельствам, которые приводят к подобным метаморфозам и подчас порождают нигилизм и скептицизм?..

Больше мне с З. встретиться не привелось. Неделю спустя в комитете я спросил у Саши, как решился вопрос о ее работе.

— З. ушла с завода,— ответил Саша.— Ей, признаться, предложили перейти в лабораторию, там была бы кой-какая возможность заняться и научной работой. Но она отказалась, подала заявление об уходе. Очевидно, устроится в какой-нибудь институт, так она сказала. Никак не могу решить, правильно ли она сделала? — Саша изобразил на лице полнейшее недоумение, высоко подняв брови.

Да, каким путем пойдет З.? Как сложится дальнейшая ее судьба?

...Я надеялся, что на заводе поднаберусь всяких впечатлений, пополню материалы, чтобы продолжить повесть о той светловолосой строптивой девушке. Но новый замысел вытеснил все, не давал покоя.

«Ладно, немного погодя смогу вернуться к начатой книге о той девушке,— рассуждал я.— Прежде всего напишу рассказ или небольшую повесть, страниц на сорок, о молодом инженере, который, столкнувшись с первыми трудностями, отступает и вместе с тем предает самого себя, свой талант, губит свою жизнь. Через месяц рассказ должен быть закончен...»

Как раз посчастливилось освободиться от лишних дел, от всего, что могло бы мешать, и уехать в Дубулты, в Дом творчества.

Была весна — вторая половина апреля.

На взморье по всему берегу, насколько хватал взгляд, еще виднелись пятна и полосы уцелевшего снега (беловато-серые заплаты на желтоватой кайме берега, сероватое, тяжелое море подкатывало и небрежно лизало эту кайму). Когда ранним утром, гуляя, я забредал в такую полосу, под ногами звонко хрустели льдинки, а спустя какие-нибудь полчаса, возвращаясь домой, едва ступив в снег, слышал, как хлюпала вода, и, оглянувшись, видел за спиной цепочку своих черных следов.

Над пепельно-серой поверхностью моря ветер сердито расшвыривал клочья облаков, разгонял их, потом снова сбивал в кучу, громоздил из них целые горы. А минуту спустя, развалив их, прорывался к дюнам, заставляя сосны качаться и шуметь. Тогда небо оголялось и ярко сверкало солнце. (В тот год выпала особенно ветреная, бурная весна. Под вечер начинали грозно шуметь сосны и шумели ночь напролет. Чудилось, что в мире нет ничего, кроме этих шумящих сосен.)

В узких прибрежных улочках деревья пригоршнями роняли на шляпы и плечи прохожих тяжелые капли воды.

Хорошо помню день, когда написал первые три страницы новой книги.

В теплой, уютной комнате с большим окном и высокой дверью, ведущей на веранду, по стенам и по полу прыгало бессчетное множество ярких солнечных зайчиков. Стоит на миг заглядеться на них, потом не оторвешься.

Было приятно усесться за письменный стол и положить пальцы на холодноватые, гладкие клавиши пишу-

щей машинки, переждать, а потом застучать по клавишам, время от времени вслушиваясь в этот торопливый, четкий стук. Приятно было смотреть, как на белом листе бумаги возникают свежие черные прямые строки...

Первый абзац на этот раз появился на свет божий очень быстро. Полчаса назад его не существовало, был только белый лист бумаги, а вот теперь абзац отчетливо и неоспоримо стоит на бумаге, занимая половину страницы. На самом деле он давно был придуман от начала и до конца, надо было лишь проверить кое-какие оттенки, уточнить какие-то слова, а потом — перенести его на бумагу.

Я весело глядел на этот первый абзац и чувствовал себя счастливым. Как в юности, когда утром, проснувшись, знаешь, что впереди тебя ждет длинный интересный день, с разными встречами, шутками, спорами. Впереди — вся жизнь.

Опять застучал на машинке. Иногда, правда, отодвигал ее в сторону и набрасывал что-то на клочке бумаги карандашом или пером, вычеркивая и злясь, что не приходит нужное слово, и радуясь, когда оно находилось. И, только измарав несколько листков, я мог снова вернуться к пишущей машинке. Но дело двигалось. Успешно выполнив самим установленную норму, я был совершенно удовлетворен.

И потом весь месяц работа спорилась.

Из Дома творчества я вернулся домой с сорока страницами новой рукописи.

Но задуманный рассказ отнюдь не был закончен. То, что я написал, оказалось только началом. Чтобы справиться с тем, что завязывалось, надо было, по-видимому, написать еще страниц сто, если не больше. Очевидно, не рассказ у меня вызревал, а что-то более солидное.

Что поделаешь, придется отдать новой вещи еще месяца два, но до середины лета, в худшем случае — к осени, работа будет завершена,— так я успокаивал себя и тотчас назначил срок окончания вещи...

...Ах эти сроки, сроки! Без них не обойдешься. Работая, невольно приходится прикидывать, как долго еще просидишь над книгой; «график работы» над ней надо хотя бы примерно согласовать с другими планами, надо подсчитать, когда можно надеяться сдать рукопись в редакцию и когда, следовательно, окажется возможным хоть немного передохнуть. Ах эти сроки! Старайся не по-

кладая рук, все равно почти никогда не удается их соблюсти. Близится самим установленный день, и книга, хоть работал ты не за страх, а за совесть, написана лишь на три четверти, а то и того хуже — наполовину, и трудно даже назвать следующий срок! Я заметил, что в этих случаях и нечаянный вопрос кого-то из домашних или приятеля о том, когда будет поставлена точка на последней странице нового произведения, раздражает до крайности. Совершенно естественный этот вопрос подчас выводит из себя и при абсолютно нормальных условиях, когда в запасе имеется вдоволь времени. Вдруг начинает казаться: именно потому, что задали такой вопрос, работа валится из рук, ничего больше не получается, книга не будет вовремя закончена. Кажется — все, все мешает работать, мешает и мешает...

А иногда и на самом деле — хватило бы нескольких дней, и точка была бы поставлена, но неожиданно приходится прервать работу: вклинилась командировка, или какое-то мероприятие, в котором непременно надо принять участие, или же — дома случилась беда, и что же? — потом над незаконченной рукописью корпеть придется не несколько дней, а месяц, а то и дольше,— пройдет много времени, пока сосредоточишься и вновь войдешь в работу, пока то, о чем пишешь, заново оживет перед глазами и постепенно нащупаешь нужный ритм...

Однако вернемся к неудавшемуся роману.

Работа над ним отмечена вехами многих невыполненных сроков, так что всех и не припомнить.

Один такой нарушенный срок — год или полтора после дня, когда я начал писать роман (за это время рассказ превратился в роман). Перечитав написанное, я в который раз выбросил в корзину часть рукописи — семьдесят страниц, по меньшей мере двухмесячную продукцию! — и после нескольких дней раздумий и сомнений решил, что нашел в романе новый поворот, и даже обрадовался, что, освободившись от лишнего груза этих семидесяти страниц, смогу энергичней построить действие. И следовательно, через три-четыре месяца закончу свой труд. Конечно, было наивно думать, что хватит трех-четырех месяцев. Но что поделаешь, иногда такая надежда на быстрое завершение и помогает.

В отличном настроении я взялся за работу.

Мучило меня то, что в романе ничего значительного не происходило: из страницы в страницу я описывал мел-

кие столкновения на заводе, где работал мой герой. Ему, Валдису Крумкалну, приходилось изо дня в день бегать по соседним цехам, выколачивая нужные детали; несколько раз он ссорился с начальником цеха, после одной из ссор заработал строгий выговор. Занимался Крумкалн и каким-то изобретением. Да, в его жизни все выглядело будничным. Но ведь я с самого начала задумал показать, что перелом в моем герое возникает не на стыке каких-то важных событий, а именно в потоке будней, так, как это случается и в жизни, когда ничтожная ржавчина постепенно разъедает человеческую душу, а мельница будней кое-кого размалывает в порошок.

Но как воплотить этот замысел и правдиво, глубоко, интересно проследить такой надлом в однообразном потоке дней, с первой, как будто ничего не значащей минуты вплоть до кульминации?

Сравнительно легче, казалось, изобразить то, что происходило дома. Жена Валдиса Крумкална, порывистая молодая женщина, окончив институт, начинает понимать, что неправильно выбрала специальность, и решает искать для себя другое поле деятельности. Писать о ней было интересно — каждая минута жизни Аустры сулила новый поворот, и вместе с тем менялась и она сама...

Но нет смысла пересказывать здесь содержание романа. Я хочу лишь рассказать то, что день ото дня занимало мои мысли и в часы, когда я сидел за столом и писал, и в другое время.

Очередной нарушенный срок окончания романа, по-видимому, наступил опять год спустя.

— Не могу понять, на что ты живешь! Давно ничего не печатал, — значит, кошелек пустой, а человек ведь должен что-то есть! — сказал мне как-то, посмеиваясь, один из собратьев по перу, когда на заседании секции прозы мы как раз говорили о своих творческих планах.

Я в свою очередь тоже рассмеялся и как-то отшутился. Однако на сердце стало тяжело, возможно, и смех звучал натянуто,— про себя я быстро подсчитывал, сколько времени могу еще отдать работе над романом. Признаться, подобные подсчеты в разных вариантах я проделывал уже не раз. В какой-то мере мое положение спасло то, что за годы, пока я писал новый роман, дважды переиздавалась предыдущая книга — один раз в Риге, второй в Москве, в русском переводе. Именно переиздания и да-

вали возможность как-то продержаться и продолжать работать.

Мешали работе и неотступные сомнения. Может, отложить роман и быстро написать что-то другое, что можно быстро напечатать?

Все эти раздумья мгновенно воскресли в памяти, всколыхнув десятки нерешенных вопросов...

Сразу же в голову полезли и мысли о самом романе. Опять о том, как правдиво показать перелом в герое, как найти ключ к обострению конфликта, показывая, однако, все те же будни. Каковы вообще истоки заинтересовавшего меня явления, причины нежданных метаморфоз в человеке? Где корни цинизма, карьеризма? Безыдейности? Как все это вскрыть, анализируя путь моего героя? Как было бы хорошо проснуться завтра утром с уже готовым в голове новым сюжетным поворотом для романа... Да, бесконечные раздумья, от которых никак невозможно было отделаться, изнуряли и делали работу еще труднее.

Последние месяцы 1959 года. Еще один пропущенный срок завершения книги. Пришла зима — за окном метались большие снежные хлопья, утром выглянешь на улицу — там заснеженными хребтами поднимались гряды крыш. А иногда с лица города за несколько часов смывались все светлые краски, дома стояли серые, лил дождь, и, может быть, оттого, что дождь слизывал отовсюду белизну, и сам он казался черным.

Над городом лился черный дождь, перед глазами стояли черные крыши домов.

По утрам лишь с большим усилием я заставлял себя сесть за письменный стол. Надо, надо! Нужно работать! Пора кончать роман. Но, написав несколько фраз, я опять на долгое время погружался в раздумье. Я устал от этого писания, от надоевшего романа. Но нельзя было поддаваться настроению. Из собственного опыта я знал, что в работе литератора многое зависит и от силы воли.

Иногда вновь написанные страницы мне нравились, затем, когда еще и еще перечитывал их, в сердце опять закрадывалось сомнение. Имеет ли хоть какую-то ценность вся исписанная груда бумаги?

Иногда работу прерывало какое-то собрание, другие общественные обязанности.

Потом мне как-то позвонили из редакции «Литературной газеты» и предложили месяц путешествовать по

Дальнему Востоку. Я уже писал об этой поездке, но теперь следует еще раз вернуться к ней. Я было почти окончательно отклонил предложение. Не имею права ехать, должен закончить роман! Если не поеду, месяца через два поставлю точку. Поеду — опять новая задержка, опять не видно будет конца...

Но, прикинув, я принял предложение и вместе с выездной редакцией «Литературной газеты» отправился в Приморье, во Владивосток, в Находку,— на воздушном корабле мы за какие-то десять часов пересекли континент и наутро следующего дня сошли в краю порыжелых гор, громадных рек, моряков, охотников, рыбаков и углекопов; впечатления, накопленные за месяц, оказались настолько сильными, что пришлось их тут же записать. Мне во что бы то ни стало надо было рассказать о том, как восходит солнце над Тихим океаном и как первыми ало вспыхивают, словно подожженные, вершины сопок; надо было рассказать о далеких рыбацких поселках, и о шахтерах Сучана, и о жизни в вагонах нашей редакции. Надо было рассказать обо всем увиденном, и после возвращения с Дальнего Востока пролетело еще три месяца, пока я отделывался от этих впечатлений, перенося их на бумагу. Снова наступила весна, а роман оставался неоконченным...

...Нет, я и теперь не упрекаю себя за то, что тогда, прервав работу, поехал на Дальний Восток. Кое-кто из литераторов, правда, утверждает, что, работая над большим произведением, должно как можно скорее довести его до конца и поэтому не следует допускать никаких перерывов. Мысль вообще-то правильная. Когда пишешь, необходимо, чтобы раскованный поток образов, сцен, чувств и мыслей беспрерывно двигался вперед и чтобы повествование, таким образом, развивалось естественно. Вместе с тем окрепнут, обретут самостоятельность характеры, сами будут развиваться, сталкиваться друг с другом. Верно, для творческого процесса необходима известная непрерывность. И все же — в работе литератора время от времени могут наступить такие минуты, когда следует отставить в сторону все начатое и отправиться в широкий мир — за новыми впечатлениями, для встреч с самыми разными людьми, просто посмотреть новые земли, иную жизнь, работать, да, опять-таки работать, по-другому и над чем-то другим.

Новые впечатления могут оказаться тем глотком кис-

лорода, что даст силы с удвоенной энергией продолжать начатое.

Еще раз напомним, что литератору для его работы вообще необходимы новые впечатления, встречи со многими людьми — людьми разных профессий, разных характеров, живущих по-разному...

Такие встречи с жизнью — хлеб насущный для художника.

Нет, не только хлеб, они — воздух, без которого нет жизни, без которого — задохнешься.

Но, написав книгу о Дальнем Востоке, вернувшись к своему роману, я все же не смог быстро его закончить. Прошло еще полтора года, и тогда в один осенний день была написана последняя страница. Я взялся за правку. Потом роман был перепечатан, еще и еще перечитан, и в конце концов оказалось — он не удался...

Роман не удался... Что поделаешь — работа литератора трудная, вполне может случиться и довольно часто случается, что замысел, каким бы интересным он ни был, не удается воплотить на бумаге в его настоящем виде. Неудача, конечно, отзывается болью, и кто знает, быть может, эта глубоко в сердце запрятанная боль так и останется в нем навсегда и будет сопутствовать писателю в каждой его новой работе, пройдет через все дни его жизни, так же как идет за ним следом все еще не написанное, то, что еще нужно перенести на бумагу, описать в книгах.

Но всего больнее то, что подсмотренное в жизненном водовороте явление, против которого ты собирался ополчиться, так и осталось не открытым, не осужденным. Ты оказался не в силах приложить свою руку к изничтожению болячки, появившейся в нашей жизни.

Если есть где-то в жизни боль, больно и тебе.

Теперь я в какой-то степени разобрался и в некоторых причинах тогдашней неудачи.

Быть может, полной ясности еще и нет, но я полагаю, что до части истины доискался.

Прежде всего, наверное, следует признать, что тогда я слишком рано засел за книгу. Принялся писать, когда замысел едва проклевывался, не успел вызреть, сложиться, обрасти всем тем, что создает конкретные очертания

книги,— образами, сюжетными поворотами и своим особым подходом именно к этой теме. Одним словом, замысел, идея еще не обрели плоть и кровь. Я лишь почувствовал нечто вроде толчка, почувствовал, что непременно должен написать об этом увиденном в жизни явлении, но все мои наблюдения пока оставались непреображенными, еще не слились в единую образную картину, которую потом осталось бы лишь сесть за стол и записать.

Так ли это? Снова меня одолевают раздумья.

И совсем в ином свете выступила роль замысла в творческом процессе.

В памяти ожили и прежде хорошо известные факты из истории литературы. М. Горький еще в начале века, в 1901—1902 годах, рассказывал Льву Толстому о своем замысле: в небольшом по объему романе раскрыть историю возвышения и разложения одной купеческой семьи; рассказывая, писатель уже давал и характеристики отдельных героев будущей книги; позже М. Горький делился этими своими планами с В. И. Лениным, а писать книгу он начал, как мы это узнаем из комментариев к его Собранию сочинений, лишь весной 1924 года. Более двадцати лет вызревал замысел, выстраивались образ к образу, эпизод к эпизоду, пока все не слилось в одно целое, в единую картину, во что-то... не знаю, как правильнее обозначить такой зрелый, уже готовый замысел.

Можно вспомнить также, что Лев Толстой многократно и с разных сторон присматривался к сюжету, который стал впоследствии основой романа «Воскресение», все искал различные подходы, углы зрения, пока не смог успешно осуществить свой замысел.

Наверное, можно так перечислять еще и еще факты, и каждый из них будет значительным и интересным.

Все это я перебираю в мыслях. А сам пытаюсь осмыслить эти примеры. Случается так, что замысел дозревает до полного раскрытия во время работы. Но, по-видимому, в этом случае никак не следует форсировать сам процесс написания, он может протекать с большими перерывами, не только в месяц, но иногда и в несколько лет, пока в глубинах воображения не сложится очередной эпизод. Сложится один, напишешь его, и снова надо выжидать, пока через месяц или через год вызреет еще один или несколько эпизодов. Так, шаг за шагом, словно взбираясь

на крутую гору, как кладешь кирпич на кирпич, медленно будет расти книга.

Всегда ли так долго должен вызревать замысел? Наверное, не всегда. Иногда он может возникнуть, родиться готовым в один миг, вспыхнет и сразу встанет во плоти и крови перед глазами, покоряющий, как первая любовь. Придет как прозрение. И тогда без малейшего промедления надо сесть и писать, чтобы не упустить, не затянуть и тем не превратить необычное, единожды найденное — в обычное, примелькавшееся. А в иных случаях — замысел может вызреть за несколько дней или несколько месяцев.

А иногда, оказывается, на это нужны годы. Надо терпеливо ждать.

Как угадать настоящий миг, когда замысел сложится?

Этого, по-видимому, никто не знает. Вероятно, возникновение замысла и его вызревание принадлежит к наиболее скрытым, не поддающимся точному исследованию процессам творчества и всякий раз протекает по-своему. И всякий раз надо всем существом, сердцем, душой, каждой жилкой, кончиками нервов ощутить миг, когда замысел сложился настолько, что его нельзя больше держать при себе, надо писать. И оказывается, что слишком долго пестовать, вынашивать, приглаживать его тоже опасно: замысел может помаленьку начать увядать, терять краски, свежесть, свою привлекательность, может угаснуть его способность заражать, захватывать, развязывать работу воображения.

Да, так оно, по-видимому, и есть. По крайней мере, так мне сейчас кажется. Самое главное, вероятно (единственно это и можно с определенностью сказать), — необходимо, чтобы появившиеся завязи замысла росли естественно, созревали, впитывая в себя из почвы жизни живительные соки...

Еще одно признание: работая над своим неудавшимся романом (здесь я пишу — неудавшийся, однако в то время я, конечно, не считал его таковым, напротив, был убежден, что создаю лучшую свою книгу), я довольно много мучился, стараясь показать, что мой герой, Валдис Крумкалн, запутывается, морально гибнет при самых будничных обстоятельствах. Поэтому из главы в главу я описывал эти будни, будни — без больших событий. Мелкие столкновения. Проходит день за днем, люди работают, отдыхают. Мелькнет какое-то незначительное происшествие, и снова тянутся однообразные дни и недели.

Я поставил перед собой задачу исследовать, как в потоке будней незаметно зреет большой перелом, который должен был разбросать моих героев в разные стороны. Теперь я раздумываю — не следует ли искать причин неудачи и в такой моей установке? Может, было бы правильней, если бы повествование строилось на основе более драматических событий? Будни ведь насыщены и драматизмом, и высоковольтным напряжением... Но и на этот вопрос трудно дать единственный и вполне определенный ответ...

И еще — когда я писал, не мешало ли мне подчас что-то похожее на излишний самоконтроль? Работая над книгой, имеешь право думать только о ней, на работу не должны влиять никакие побочные соображения,— на бумагу надо переносить все, что рождает воображение, то, что диктует тебе, твоей руке, правда жизни.

Да, все это в конце концов кончилось у котельной, у пасти полыхающей багровым пламенем печи...

А повесть о той взбалмошной, своенравной девушке, о ее судьбе и судьбе некоторых ее подруг и знакомых, повесть, начатую до того, как засел за роман, я дописал лишь девять лет спустя, опубликовав за это время несколько других книг.

КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?

1

Еще подростком, подумывая о занятиях литературой, я прочитал в журнале «Литературная учеба» письмо М. Горького какому-то начинающему автору. В письме знаменитый писатель разбирал присланный ему рассказ.

Письмо это включено в Собрание сочинений М. Горького. Можно сослаться на такую-то страницу такого-то тома. Но у меня перед глазами стоит тот журнал, вижу даже страницу, на которой было напечатано письмо. Бурая, шероховатая, смахивающая на оберточную, бумага с вкрапинами необработанной древесины. Казалось, и черные буквы текста не хотели держаться на такой бумаге, были вдавлены в нее. В каком году это было? Не помню. Работал ли я уже на заводе? Зато отчетливо по-

мню свое юношеское нетерпение. Листая страницы журнала, мои пальцы почти дрожали. Вспоминаю также давку в трамвае, а в ушах звучат резкие, назойливые трамвайные звонки. В те времена московские улицы были еще полны трамвайным грохотом и звоном: желто-красные вагоны, громыхая колесами и тренькая звонками, один за другим разъезжали по бульварам вокруг Садового кольца, по всем улицам, пересекая город вдоль и поперек. Купив журнал, я вскочил в вагон и, не обращая внимания на давку, забившись в угол у окна, торопился открыть страницу с письмом Горького, свято веруя, что мне немедленно откроются все тайны творчества, по крайней мере часть их или хотя бы одна-единственная из них, и уже завтра,— нет, даже сегодня вечером! — я научусь отлично писать. Трамвай, подпрыгивая и раскачиваясь, катил мимо белых, заснеженных деревьев бульвара, из окна были видны сидящие на скамейках няни с детьми и мальчишки, которые стайками мчались на коньках по всем дорожкам бульвара. По вагону, хотя он был переполнен, гулял сквозняк, пахло свежим снегом и — как ни странно — почему-то мороженными яблоками.

«Начинать рассказ «диалогом»,— прием старинный,— так примерно было написано в том письме.— Всегда лучше начать картиной — описанием места, времени, фигур, чтобы читатель мог все ясно видеть...»

Несколько лет спустя, уже учась в институте, я слышал по тому же вопросу — как начинать рассказ — совсем другой ответ. Его мне дал мой сокурсник, так же, как и я, отравленный ядом писательства, теперь известный прозаик.

— Я прочитал эту твою штуку. Вот что имей в виду. С первой фразы надо начинать действие, чтобы захватить читателя, чтобы он был вынужден прочитать вторую, а потом и третью фразу...— повстречав меня в коридоре и взяв под руку, бурчал мой сокурсник. Он имел привычку часто что-то вот так бормотать себе под нос.

У нас в институте был литературный кружок, но мы, охваченные страстью к сочинительству, и так, независимо от кружка, жадно читали работы друг друга.

Разговор происходил в перерыве между лекциями и был очень коротким,— в один миг распахнулись все двери, хлынули со всех сторон друзья, где тут говорить о серьезном!

Но сказанные тогда слова о том, каким должно быть

начало рассказа, почему-то запали в память. Нет, понятно, почему я их запомнил,— подумывая о писательстве, я с самого начала размышлял и о профессиональных «тайнах» этого занятия, меня чрезвычайно интересовали все подробности, сокровенные секреты ремесла.

Прошла еще вереница лет — война, послевоенная пора и еще многое другое. Я написал уже первые три книги...

В середине пятидесятых годов как-то мы в Риге, в Союзе писателей, под вечер собрались, чтоб поговорить с известным прозаиком Сергеем Антоновым о проблемах «технологии» рассказа.

На каждом собрании случаются минуты, когда энергия ораторов иссякает и наступает какая-то даже гнетущая тишина, никто не решается первым заговорить.

В тот раз мне привелось председательствовать, и, заметив, что может возникнуть нежелательная пауза, я поторопился задать гостю несколько вопросов. Спросил о том, как, по его мнению, следует начинать рассказ.

— Начало рассказа не имеет особого значения,— последовал ответ.— Вот окончание — это другое дело! Вечно надо ломать голову именно над тем, как рассказ закончить, над концовкой!

Не скажу насчет остальных участников тогдашнего нашего собрания, но меня, во всяком случае, поразил ответ.

И еще поныне меня занимает тот самый вопрос — о первой строчке, о первых фразах новой книги, как начать, как сразу ввести в действие, все связать в один узел...

Но это лишь одна из сотен и тысяч проблем, над которыми приходится задумываться день ото дня, сидя за письменным столом и стремясь возможно ярче и правдивее, преодолевая «сопротивление материала», перенести на бумагу жизнь. Ведь и в тот вечер Сергей Антонов рядом с проблемой начала рассказа поставил еще одну — о концовке. Проблема литературной техники? Только ли?

— Как вы это делаете? — взволнованно воскликнул Станиславский на репетиции.

Группа молодых актеров Московского Художественного театра показывала ему два подготовленных акта пьесы «Сестры Жерар».

В конце первого акта подручные некоего аристократа (действие пьесы происходило в канун Великой французской буржуазной революции) похищают одну из сестер, уносят ее в карету, она сопротивляется, из-за кулис слышен ее крик:

— Луиза! Луиза!

В просмотровом зале стал медленно загораться свет, как вдруг в напряженную тишину ворвалось прозвучавшее издали н а с т о я щ е е эхо:

— Лу-у-и-иза!

Смотревшие даже вздрогнули.

— Великолепно! — воскликнул Станиславский и тут же быстро с любопытством спросил: — Как вы это делаете?

Правда, в ту минуту, как выяснилось, эффект был достигнут чисто случайно. Но Станиславский всегда старался и случайности использовать на благо искусства, старался поймать и развить эти «случайности». Быть может, это один из приемов,— нет, один из секретов искусства, секретов мастерства — надо уметь приметить эти случайности и сразу же пользоваться ими? Наверное, так! Нечаянно подслушанный разговор, случайно замеченное в толпе лицо, какое-то слово, вид улицы, фраза, прочитанная в газете, какая-то очень обыкновенная, внезапно в новом свете увиденная деталь — все это может яркой, горячей искрой ворваться в хаос творчества, все перевернуть, может ярче высветить, по-новому объяснить, показать зерно замысла и вдохновить художника. Да, в искусстве многое может начаться, вырасти, расцвести — из случайности, надо уметь поймать ее, не упустить!

...В других случаях, когда актриса или актер играли особенно удачно, Станиславский так же настойчиво выспрашивал их:

— Скажите, пожалуйста, о чем вы думали, оставшись на сцене совсем одна? Как вы нашли путь к правильному самочувствию?

Или:

— Отчего у вас сейчас на глазах слезы? Отвечайте мне с глубочайшей искренностью и прямотой! Думайте, думайте, загляните в самые скрытые уголки души и не бойтесь сказать правду, если даже она неприятна!..

Во имя искусства он становился жестоким, безжалостным и всегда был безгранично требовательным — к себе и к другим. А его вопрос — как вы это делаете? — пожа-

луй, является лейтмотивом каждого дня любой настоящей творческой работы. Как успешней реализовать свой замысел? Как ярко, правдиво, впечатляюще отобразить жизнь, хотя бы малую ее толику,— на сцене, в картине, в романе, в рассказе и на тех двух или трех страницах, которые будут написаны сегодня, завтра, послезавтра? Как заразить зрителя, читателя, как вдохнуть в него свои мысли и чувства? Сидишь за письменным столом и пишешь, перед тобой, что ни день, сызнова являются одни и те же вопросы, те же знакомые, мучительные проблемы, как будто до этого и впрямь не было написано ни единой строки.

...Только по фотографиям и сохранившимся в архивах кадрам кинохроники, показанным в последние годы, представляю, каким был Станиславский в жизни. Но когда читаю о нем, мне кажется, что я вижу режиссера как живого — на очередной затянувшейся репетиции, в беседе с актерами.

Развеваются белоснежные волосы.

Он юношески строен, прям.

Временами в его глазах загораются веселые, лукавые огоньки, и худощавое лицо становится добрым.

Но чаще весь он трепещет в страстном нетерпении.

— Не верю! — звучит из зала его голос, и растерянные актеры прерывают репетицию.

— Еще раз сначала! — говорит Станиславский, а через несколько минут опять слышится его резкое: «Не верю!»

Не верю! — значит, не удалось правдиво сыграть, правдиво сказать...

Наверно, и сидя за столом, работая, надо чаще самого себя хватать за руку, самому себе кричать: не верю! Не верю только что написанной строке, странице. Надо ее выбросить, начать заново, еще и еще. Во имя настоящей правды искусства следует быть жестоким, хотя от этих самому себе сказанных слов — не верю! — из глаз могут брызнуть слезы...

Зачем пишется эта книга? Каждый, кто связал свою судьбу с литературным трудом, день за днем, так или иначе думает о своей работе, о «секретах ремесла», о том, как написать рассказ, стихотворение, роман, пьесу, думает о технологии творчества, о тайнах вдохновения. От этого никуда не денешься, мысли эти идут за тобой даже на край земли. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел —

невозможно отделаться от этих раздумий. Потому что без них — нет и самого творчества.

Мысли, как и приобретенный опыт, день за днем оседают в памяти и в сердце, даже — на кончиках пальцев, когда они берутся за карандаш или ручку. Приходит новый день — и все, что улеглось в памяти, все накопленное, надо заново поднять, заново вытащить на свет.

Я пишу о работе литератора, быть может, для того, чтобы и самому поглубже вглядеться в тайны ремесла, лучше их понять, чтобы завтра и послезавтра успешней преодолевать упорное сопротивление материала, материала действительности, искуснее выплавлять из руды жизни святую правду искусства.

Хотя бы эта проблема начала рассказа, романа, пьесы, первой строки! Сколько раз приходится писать первую строчку, первую страницу, столько раз возвращаешься к этой загадке.

Общеизвестен совет А. Чехова: «Напишите рассказ, а потом зачеркните первую половину, начинайте прямо с середины».

Поражают начала книг Хемингуэя. Они как будто говорят нам о чем-то совсем обычном, но в то же время немедленно втягивают нас в водоворот жизни и волнуют. Надо еще и еще вчитываться, чтобы хоть как-то приблизиться к тайне покоряющей силы этих строк. «А потом погода испортилась. Она переменилась в один день — и осень кончилась. Из-за дождя мы держали окна закрытыми, холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрэскарп...» Так начинается книга Хемингуэя о Париже, действительно — с середины, и, читая, мы с первой строки оказываемся в потоке жизни, чувствуем, понимаем: до этой первой строки — произошло много важного, прошел целый век, а теперь писатель рассказывает нам о самом главном...

2

Говорят, что Агата Кристи начинает работу над своими произведениями в теплой ванне. Лежит в ванне, грызет яблоки и думает. Она подсчитала — каждая глава требует килограмма яблок. Когда все обдумано, знаменитая создательница детективных романов выходит из ван-

пы, одевается, садится за письменный стол и без остановки стучит на пишущей машинке.

Жорж Сименон на две недели запирается в своем кабинете и, непрерывно куря, успевает создать за это время очередной роман; правда, обычно его книги бывают небольшими по объему.

Шиллер, когда писал, держал ноги в воде.

Каждый, наверное, не раз слышал подобные истории.

И меня долгое время очень привлекали анекдоты из жизни литераторов. Признаться, чего греха таить, и теперь читаю их с интересом, и если случится услышать такие истории, то, вероятно, они по-прежнему западут в память. Есть в них что-то притягательное. Мелькнут перед глазами эти подробности из жизни творцов искусства, и кажется: слушая такой рассказ и пересказывая его другим, ты не только узнал важный, бережно хранимый секрет, но соприкоснулся с почти немыслимым, все равно как если бы ты смотрел чей-то, постороннему глазу невидимый сон, присутствовал, стал причастным к неповторимому чуду — превращению сырой, грубой глины действительности в звонкий и бессмертный гранит искусства.

Да, увлекательно хотя бы на миг, хоть бы одним глазом глянуть в храм, где свершается чудо, и тем — стать его участником.

Мы видим на сцене Марию Стюарт, напряженную, гордую, слышим ее строптивый голос, видим ее — изменчивую, всю в противоречиях... А оказывается, Шиллер, когда писал трагедию, держал ноги в ванночке с водой!

Теперь, когда пишу эти строки, я еще раз вспомнил многие такие истории и вдруг понял, как далеко стоят подобные анекдоты от всего подлинного, что называется творчеством. Далеко — от самого существенного, важного в процессе творчества, от того множества подробностей, мелочей, что образуют плоть и кровь созидания, от того подлинного огня, в пламени которого происходит чудо — рождение произведения искусства.

Всякий раз, начиная роман или рассказ, каждое утро, садясь за письменный стол, размышляешь не только о том, каким должен быть новый роман или рассказ, и не только о том, как справиться с теми двумя или тремя страницами, которые надо написать за день. В мыслях всегда — иначе и быть не может! — связываешь новую работу, каждую ее страницу — с жизнью, с проблемами

действительности, и вот тут-то и завязываются в один тугой узел многие и многие важные творческие задачи: как с подлинной художественной силой, убедительно и глубоко раскрыть жизнь, добраться до ее важнейших проблем, исследовать конфликты эпохи, противоречия, борьбу, движение; как все это выразить, чтобы донести до сердец и умов множества людей, как переплавить в образы?

Не один год Лев Толстой в своих дневниках и других записях, возвращаясь все к одному и тому же, пробовал с разных сторон рассмотреть, разобрать историю, рассказанную ему известным юристом Кони; начинал писать, бросал, но в размышлениях снова и снова обращался к сюжету поразившей его истории; он писал в дневнике, что первые варианты решения этой темы были неправильными, фальшивыми и поэтому не могли быть успешными. Новые и новые раздумья, поиски иного ключа, поворота, пока не было создано «Воскресение». Это общеизвестные факты, не знаю, стоило ли о них лишний раз напоминать. Но кажется, это было необходимо. Мы не всегда видим то, что кроется за этими фактами. Долгие поиски великого реалиста диктовались стремлением добраться до самого наболевшего в жизни народа, вытащить это важнейшее из глубин действительности и показать всем.

Чтобы достигнуть этого, он со всех сторон прощупывал попавший в его руки конфликт, опять и опять размышлял над жизнью, сравнивая с ней, считал написанное неудачным, фальшивым...

Так чудо творчества поворачивается оборотной своей стороной, и оказывается, что называть его следует иначе — муками творчества.

Работая за письменным столом, воплотить правду жизни, потому что она необходима людям, потому что для многих и многих она может стать хлебом насущным...

Пробиться до самых глубин жизни, найти средства выразить все — вот, пожалуй, смысл, главное содержание этих мук.

К тому же, работая, долго не знаешь, увенчаются ли эти муки успехом и превратятся ли в чудо.

Нетрудно подсчитать — если в день напишу три стра-

ницы, за месяц будет девяносто, за полгода можно закончить роман... Ладно, будем считать по-другому, возьмем минимальную норму — за день напишу страницу, в год наберется больше трехсот! Однако любые расчеты — всегда рушатся. День за днем сидишь за столом, и случается — в какой-то напишешь и три страницы. Но уже знаешь — число страниц не имеет значения. Считать следует не на страницы, счет надо вести — от жизни. Как ее перенести в строки! Кажется, что мучаешься над строкой, абзацем, страницей, а на самом деле преодолеваешь сопротивление жизненного материала, на самом деле это воображение твое должно напряженно бурлить, чтобы аккумулировать, перемолоть в своем котле гигантское количество сырья, преображая его в образы. «Когда пишешь, ощущаешь в себе работу очень сложной, громадной и таинственной машины»,— говорит Юрий Олеша.

Неудач больше, чем удач. Но надо писать и писать, двигать вперед начатое. Чем больше углубился, зарылся в свой «материал», чем ближе подошел к пульсу действительности, тем больше и больше понимаешь, как важно сказать всем о том, что у тебя на душе, как важно, необходимо довести до конца задуманное, чтоб оно скорее увидело свет. Нужно раскрыть всем то, что ты увидел, узнал.

Кропотливая эта работа за письменным столом, таким образом, приобретает важное значение. И крайне важно, нужно — суметь перенести на бумагу все или по крайней мере большую часть того, что знаешь, увидел.

...Рассказывают, Эммануил Казакевич, уже будучи тяжело больным, сказал: «Я не боюсь умереть, боюсь — не закончить работу».

3

«Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось, пишу через пень-колоду. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».

Это из письма Пушкина Плетневу.

Написано оно осенью 1835 года...

Читая его, я все возвращался к этим словам и в конце концов выписал их и вложил в папку с заметками о секретах творчества.

А вот заметки из той же папки совсем по другому поводу:

«Иннокентий Смоктуновский (на мой взгляд, один из

самых замечательных актеров современности), выступая по телевидению в связи с присуждением ему Ленинской премии, назвал нескольких талантливых актеров своего поколения — Нонну Мордюкову и еще некоторых. Характеризуя возможности этих актеров, их созревшее мастерство, Смоктуновский после минутного раздумья медленно сказал: «Они знают о людях все, да, абсолютно все...»

Очень точно сказано! Знать о людях все, абсолютно все, чтобы в каждой строке, в каждом образе правдиво, глубоко, в разнообразии оттенков, переходов раскрыть духовную жизнь разных людей. Для этой, возможно самой большой, задачи художника необходимо слияние таланта, прозрения, чутья и тщательно отработанного мастерства.

Но и это — только одна из граней процесса творчества.

В самой нашей работе много такого, что только-только улавливается, чувствуется, трудно формулируется.

Написана почти половина новой книги, работа идет сравнительно успешно. Пишешь очередную главу, но вдруг появляется неудовлетворенность, что-то в написанном мешает, кажется: еще несколько фраз — и повествование станет однообразным, как ровная дорога, по которой шагаешь уже несколько часов. Появляется и предчувствие, пока лишь предчувствие, догадка — надо найти какой-то резкий поворот, быть может смешать хронологию, перебить устоявшийся ритм, усилить напряженность событий...

Ощущение это появляется совершенно непроизвольно — будто кто-то толкнул тебя под руку или шепнул что-то на ухо.

Наверное, такие минуты приходят при работе над каждой книгой.

Вспоминаю: вернувшись в Ригу после поездки на Дальний Восток, захваченный богатым материалом, всем увиденным, я каждый день просто-таки мечтал о Приморье, о его бурых и зеленых сопках, черных скалах, тяжелом дыхании океана, о людях, которых там встретил и с которыми говорил. И быстро писал, словно на одном дыхании, и казалось, работа успешно пойдет до конца. Но и тут в какой-то момент неожиданно стала зарождаться неудовлетворенность, перо почему-то замедлило бег. Пришлось перечитывать написанные главы, сравнивать с теми страницами, над которыми начал работать, и тогда я почувствовал, что подошло время изменить темп повест-

вования, его ритм, поискать новые интонации, иную точку зрения, разнообразить саму форму изложения,— одним словом, надо было найти некий поворот, чтобы избежать однообразия и внести в книгу контрасты и динамичность, что характерны для самого Дальнего Востока. Затем до последней страницы я старался менять приемы, находить все время новую отправную точку в изображении событий и обрисовке своих героев. То вставлял страницы из дневника, то, словно в пьесе, исписывал страницы диалогами. Теперь опять было интересно писать и придумывать, какую новинку применить завтра или послезавтра...

Алексей Толстой рекомендует в случаях, когда работа застопорилась и начинает надоедать самому автору, вводить новый персонаж, дать ему свободу: возможно, вместе с ним, с новым лицом, оживет, обретет свежие краски и все остальное, заново заискрится и интерес самого писателя.

Первые четыре тетради «Пикквикского клуба» Ч. Диккенса, хотя в них и происходили самые невероятные приключения, не принесли ожидаемого успеха, распродавались с трудом. Казалось, и сам автор не знает, что дальше делать со своими героями. Тогда из глубин памяти перед глазами романиста предстал чудаковатый, болтливый и добродушный парень, со своими странными изречениями, и вскоре в круг сопровождающих мистера Пикквика лиц затесался Сэм Уэллер, быстро оттеснил остальных и зашагал рядом с Пикквиком через все его злоключения. Повествование неожиданно получило новый поворот, читатели бросились в книжные лавки в поисках зеленых тетрадок «Пикквикского клуба», а Чарльз Диккенс за несколько дней стал знаменит.

Работая над «Разгромом», А. Фадеев, по его собственному признанию, вначале задумал Метелицу как второстепенный или даже третьестепенный персонаж. Были написаны уже две трети романа, когда работа остановилась. Автор пытался писать дальше, но ничего не получалось, не мог он и понять, почему нагрянула такая беда. А потом — нашел дальнейшее решение романа, развив образ Метелицы, выдвинув его вперед.

...В памяти с юношеских лет хранится одно ослепительно яркое, красочное утро.

Сине-прозрачное, сверкающее, серебристое.

Напоенное теплым, веселым дыханием ветра и запахом чуть согретых солнцем, еще росистых трав...

То было в летние каникулы после первого курса института. Из альпинистского лагеря у подножья Эльбруса мы двинулись через перевал в Сванетию. В лагере, перед дорогой, нам выдали горные ботинки. Чтобы избавиться от лишнего груза, я поторопился по почте отправить в Сухуми (куда надеялся попасть) свою легкую городскую обувь и другие лишние вещи. Как выяснилось потом, шаг этот имел роковые последствия. В пути, на привале, шлепая босиком по берегу шумной и живописной горной речушки, я ухитрился напороться на осколок разбитой бутылки и в ту же минуту, закусив от боли губу, глянул на ногу и убедился, что она кровоточит. В центре Сванетии, Местии, кончался наш маршрут. Инструктор отобрал выданную нам обувь, ловко связал ботинки попарно и сунул все в мешок, мешок закинул за спину, затем объяснил нам, что до побережья Черного моря мы можем добраться самолетом или на грузовике, договорившись с шоферами: они за плату охотно берут пассажиров. Можно и пешком пройти сто двадцать километров до Зугдиди, где начинается железная дорога.

— Вы молодец, человек с характером! — похвалил он меня, узнав о моем решении предпринять пешеходное путешествие.

Я был горд похвалой и действительно почувствовал себя великим путешественником, подобным Куку, Амундсену и Пржевальскому, вместе взятым. Надев легкие спортивные тапочки, сунув в рюкзак полбуханки хлеба и четыреста граммов брынзы, временами прихрамывая на пораненную ногу, я отбыл из Местии. Решение идти пешком по крайней мере на пятьдесят процентов диктовалось положением моих финансов,— пожалуй, я мог бы дотрястись на грузовике до Зугдиди, но что делать потом, было совершенно неизвестно.

За два с половиной дня я одолел нестерпимо длинные сто двадцать километров.

Тот, кто шел этим путем от Местии до Зугдиди (или проехал его на машине), наверное, помнит его — это незабываемо. Налево от желтой, усыпанной мелкими камешками дороги — глубокое ущелье; там, внизу, по каменистому ложу, прыгая и громыхая, вся в белой пене, бушует Ингури. По другую сторону ущелья тянется ярко-

зеленая гряда гор. Горы, одна за другой выстроившись в цепочку, идут вслед за рекой. Где-то на одном обросшем темно-зеленым лесом холме, почти у самой вершины, можно увидеть красноватую башню и высокие бурые, похожие на крепостные, стены. Говорят, что это сохранившийся с древних времен монастырь. Да и по эту сторону подымаются такие же зеленые горы, по склонам вьется дорога. В середине лета желтая, пыльная и каменистая лента дороги кажется раскаленной, будто железная плита, которую долго и умело держали в самом горниле. Под обжигающими лучами солнца, по этой широкой, не знающей тени ленте дороги шагаешь, как сквозь плотную стену горячо нагретого воздуха. Спина вскоре взмокает. Острые камешки режут ноги, как ножами, или просто колют и колют ступню.

Хотел бы всех предостеречь: никогда не предпринимайте этот путь в тапочках.

Дальше желтая дорога уходит на левый берег Ингури.

Там, забившись в узкую щель между гор, стоит какое-то селение,— его название я забыл, но могу с уверенностью утверждать, что в нем обитает (во всяком случае, обитало) бесчисленное множество очень шумных собак; на базарной площади горцы, собравшись группками, неторопливо, но безумолчно говорили о каких-то своих делах, и ни один как будто не собирался ничего продавать. Несколько домов в центре села были на сваях,— мне это пришлось по душе, я решил воспользоваться одним из них для ночевки. Но мои планы были нарушены очередным представителем четвероногих с ужасающе громким голосом: наверное, в сельском хоре ночных сторожей это чудище имело большой авторитет — к его лаю тотчас присоединились голоса еще доброй сотни собак. Черный как деготь южный вечер опустился на землю, поглотив очертания всех предметов. В плотной, непроглядной тьме на разные голоса лаяли сотни псов, я, спотыкаясь и падая, торопясь поскорее выбраться на дорогу, вон из села, карабкался в гору. Улегся спать на склоне, ногами уперся в ствол дерева, руками, чтобы не сползти вниз, ухватился за другое дерево. В темноте чудилось, что Ингури храпит и неугомонно ворочает громадные, тяжелые камни прямо у моих ног.

Ночью мне приснились тигры. Они, рыча, возились с моим куском брынзы, раздирая его на части; рано утром

я проснулся чудовищно голодным, невыспавшимся и одеревенелым.

Я воскрешаю здесь эти мелкие подробности своего путешествия, чтобы как-то дать понять, насколько усталым я дотащился до цели своего похода.

Самым тяжким был последний день. Казалось, что на ступнях содрана кожа. Ступить ногой на землю было почти подвигом. Еще больней оказалось оторвать ее от земли. Мои тапочки превратились в отрепья. На минуту присев у дороги под алычой и утолив голод желтоватыми плодами, я грустно думал, что вскоре придется встать и шагать дальше еще километров сорок. Берусь утверждать — это был самый жаркий день в то лето. Навстречу мне по желтой дороге плыл истый, палящий зной. Каждый шаг отзывался острой болью, я медленно брел по этой жгучей жаре, облизывая соленые от пота губы. А солнце в небе стояло недвижимо, отвратительно яркое, щедро освещая живописную, многоцветную панораму — громадные зеленые горы, прямые черно-бурые утесы, белый, клокочущий поток на дне ущелья, и большие серые, выброшенные на берег камни, которые тоже виднелись там, внизу, и синевато-зеленую дымку вдали, куда уходили дорога, скалистое ущелье и пенящаяся река.

Нет, ничто из этого великолепия не трогало меня.

Покачиваясь, промчался мимо грузовик с набитым туристами кузовом, оставляя за собой посреди дороги прямые, будто посаженные, столбы пыли.

Горец в черной папахе, трусивший на маленькой лошаденке, прищурив глаза, лениво повернулся ко мне и заговорил:

— А ты что же не на машине? Денег нет, наверное...

— Мне больше пешком нравится. Все можно повидать!

Он зычно рассмеялся и поехал дальше, а я, глотая пыль, продолжал, прихрамывая, ковылять по выжженной зноем дороге.

Из Зугдиди поезд отходил поздно вечером, пассажиров, таких, как и я, туристов, кишмя кишело. Мы набились в старомодные скрипучие вагоны, еле-еле разместились, а потом нас всю ночь трясло, как горох в мешке. Трудно было понять, как голова не отвалится. У потолка, грозя погаснуть, в стеклянном колпаке прыгал и мигал тусклый светильник. Ночь тянулась неимоверно долго.

А потом, став у открытого окна, подняв горящие от

бессонницы глаза, я увидел утро, которому суждено было на долгие годы сохраниться в памяти.

Поезд, который все время шел посреди гор, круто повернул влево, внезапно горы кончились. Перед глазами открылся ярко-голубой бескрайний простор, в лицо ударил упругий, вкусный, пьянящий ветер. На миг я застыл, пораженный, ослепленный, покоренный живительным соленым воздухом и сверкающим, могучим простором. Я не мог оторвать глаз, стоял околдованный, — нет, я вбирал в себя этот простор, видел только его, стоял, глупо разинув рот. Минуту спустя я догадался: простор, что быстро надвигался на нас,— это море. Догадался, но продолжал смотреть на бегущую навстречу ширь, как на чудо. Нигде, вплоть до самого горизонта, не было ни судна, ни лодочки. Было *одно только море*, и оно быстро приближалось ко мне, к поезду, к окну, у которого я стоял, и раздвигалось все шире. Ярко-синий простор без единой самой маленькой волны. А над этой ширью — другая, и нельзя понять, где одна сливается с другой, такой же ярко-синей, сверкающей. И весь этот огромный синий-синий мир рвался в мое окно, ко мне, вместе со свежим теплым ветром, запахом трав, моря, блеском южного солнца.

Утро, которое ослепило и мгновенно смыло с тела усталость, будто я с маху головой вперед прыгнул в этот сверкающий мир.

Счастливый, я стоял у открытого окна и опять мог вообразить себя путешественником, вдоль и поперек исходившим далекие, еще не открытые земли. Я был готов тотчас снова начать путь из Местии до Зугдиди. Три только что прожитых дня вернулись ко мне, вернулись совсем иными — полные красок, зеленые и голубые, с большими зелеными горами, с ярко-синим куполом неба над головой, с темными лесами и серебристыми ручьями, которые, бурля и пенясь, падали с утесов прямо на желтую дорогу... Да, все это воскресло в то утро, и я, зачарованный, глядел на голубой этот мир и был счастлив.

Наверное, каждому человеку — и к тому же почаще — необходимы такие счастливые, светлые, неожиданные, осиявшие всё минуты, повороты, такое радостное, синеесинее, прозрачное и сверкающее утро.

И как они нужны, как могут помочь такие озарения,

повороты,— за письменным столом. Пишешь — невольно настает минута, когда надо подумать о том, как найти этот поворот. Быть может, придется изобрести новый прием. Или — разнообразить манеру повествования. А то — ввести новый персонаж. И новый образ, или иной ритм, или счастливо найденная деталь могут вдруг стать горючим, чтобы вновь заработало воображение, и порой даже с большей силой, чем прежде. Получив толчок, воображение тогда без остановки будет прясть свою пряжу,— вспыхнут заново краски, оживут люди, родятся новые, нежданные события, и опять — станет интересно писать, и совсем не будет желания прерывать работу...

4

Если бы возможно было точно разграничить и отдельно рассмотреть составные части того, из чего состоит творчество, то основное место надо будет отвести воображению, творческой фантазии.

Воображение и в накоплении жизненного материала смело можно поставить рядом с зорким писательским взглядом. Прикасаясь к деталям, подробностям жизни, оно открывает, что можно из этого создать, сразу набрасывает одну или несколько сцен, какой-то портрет и таким образом выделяет, приподымает одну деталь из ряда других. Никогда не прекращающаяся работа литератора, состоящая в постоянных раздумьях, в неустанном исследовании жизни, уже в самых своих истоках, при заготовке «сырья» будущих книг, есть в первую очередь активная, напряженная работа воображения.

В своих воспоминаниях В. Г. Короленко между прочим приводит один разговор с Чеховым. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? — спросил у него Чехов и, окинув стол быстрым взглядом, взял в руки пепельницу.— Хотите, завтра будет рассказ, заглавие — «Пепельница»!»

Воображение, фантазия — вот единственное, что может соединить нечаянно попавшийся под руку прозаический, незначительный предмет с различными событиями, окружить его подлинными жизненными обстоятельствами и создать из этого художественное произведение. (Много лет тому назад, впервые прочитав воспоминания Короленко, я с юношеским воодушевлением решил, что попытаюсь писать рассказы по такому методу. К сожалению, и поныне я не сумел сочинить ни одного такого

рассказа. И очевидно, слова Чехова не следует понимать буквально, как тогда я их воспринял. Зато в них мы находим нечто более значительное, чем простой рецепт, «как сделать рассказ»,— через эту чисто чеховскую деталь «пепельница» мы можем проникнуть в сущность живого творческого процесса...)

Томас Манн опубликовал «Будденброки», когда ему было двадцать пять лет. Читаешь этот роман, в котором реалистически точно, до последней мелочи достоверно, глубоко и широко рассказана история немецкого купеческого семейства начиная с событий первой половины XIX века, и внезапно вспоминаешь, что книгу написал молодой человек, юноша, едва шагнувший в третий десяток своей жизни, и невольно прерываешь чтение, возвращаешься к прочитанным страницам. Так, по крайней мере, было со мной. Я перелистывал, даже ощупывал хорошо знакомые страницы, а чудо вновь и вновь повторялось, пришлось поверить в него,— в строчках, написанных юношей, воссоздана реальная жизнь первой половины прошлого столетия, свидетелем которой Томас Манн не мог быть. И в возрасте двадцати пяти лет он не мог также успеть проделать особо обширные исторические исследования. Но обо всех событиях в доме Будденброков он сумел рассказать настолько убедительно, словно сам при всем присутствовал и каким-то непонятным образом ухитрился понять каждого из обитателей дома до последней его жилочки, до самой сокровенной его мысли. (Как это сказал Смоктуновский? «Они знают о людях все, да, абсолютно все».)

Мы навсегда запомнили большой, тихий особняк Будденброков, где в комнатах вдоль стен на добротных, упругих шпалерах были вытканы идиллии во вкусе XVIII века. Особняк, где по вторникам за обеденным столом собирались все отпрыски семьи и их ближайшие друзья. Помним мы и Тони Будденброк с ее несчастливыми замужествами и вечными загадочными желудочными болями, и Христиана Будденброка, так великолепно умевшего изображать разных людей, лицедействовать. Помним большие и малые события в этой семье, рождение многочисленных новых ее отпрысков и смерти старых; их болезни и свадьбы, и восьмисвечные канделябры в каждом из углов столовой дома Будденброков, и желтый колеблющийся свет множества свечей, и запах воска, плывущий над обеденным столом, и тяжелые красные занавеси, и

как в эти наполненные тишиной и благополучием залы в октябрьские дни 1848 года с улицы ворвались громкие крики, свист и топот множества ног...

Нет, все же Томас Манн присутствовал при этом,— в своем воображении, впитавшем и переработавшем жизненные наблюдения и семейные предания, писатель отправился в тридцатые годы XIX столетия и вместе со своими героями начал оттуда шагать по ступеням века, сквозь крутые его повороты, революции, кризисы и войны. Какая дерзость! Воображение оказалось «машиной времени», способной преодолеть барьеры столетия. Дерзость? Да, дерзость, смелость воображения, и именно она — эта сила воображения, свидетельство щедрого таланта,— привела к удаче.

И Михаилу Шолохову, когда он начал писать «Тихий Дон», было только двадцать лет; в двадцать три он опубликовал первую и вторую книги романа, но сам — не был на первой мировой войне, да и не мог быть: к началу войны ему едва исполнилось девять лет. Но события того времени в «Тихом Доне» переданы с покоряющей достоверностью, во всем их драматизме, полнокровно, словно только что взяты из жизни...

Весь жизненный материал, самим пережитое, увиденное — горе, несчастья, мгновения счастья, первая любовь, потерянная дружба, горькие разочарования, часы, которых стыдишься, и минуты малодушия, миг смертельной опасности, прекрасные часы рассвета, когда перед глазами сверкает и переливается многоцветный и юный зеленый мир, и все заботы, слезы, и до мозолей натруженные руки, и льдисто-студеный, смерзшийся в камень снег на открытом, вымороженном суровыми ветрами поле, по которому тебе пришлось ползти, а потом долго лежать, вжавшись в землю, и оглушительный разрыв мины рядом, в нескольких шагах, когда прямо над твоей головой взметнулся черный дымный столб, и не верилось, что выберешься отсюда живым, и то, как в воронку от снаряда, где ты укрылся дрожа, стекали желтовато-бурые струйки песка, и товарищ рядом с тобой, застонав, стиснув зубы, смолк,— да, все самим пережитое, и множество наблюдений, судьбы других людей, удачи и неудачи, праздничные демонстрации и решающие, полные напряжения для всего мира минуты, когда, быть может, завтра могла вспыхнуть новая война, и рассказ случайного попутчика, и многие жизненные мелочи — все это сбирается в котле

воображения, как сырье, как руда, которой предстоит переплавиться в жарком огне воображения, чтоб превратиться в роман, рассказ, стихотворение, драму, картину. И сила воображения — этот жар, этот мощный огонь,— по-видимому, и есть основное, что определяет силу таланта художника. Да, молодые, совсем юные, такие, какими были Золя, Бальзак, Томас Манн, Горький, Шолохов, начиная свою работу, двадцатилетние, отважно стремились охватить в своих книгах весь мир, весь свой век! Потому что в них была эта искра... Искра божья, как принято говорить.

И другие, хотя и прожили полжизни, как это было с Сервантесом, который написал «Дон Кихота» на шестом десятке, наперекор всему берутся за все новые и новые художественные опыты, стремясь глубже и правдивее высветить пережитое. Да, и в них — эта искра, и, пока она горит, перу художника по силам отобразить все. Абсолютно все.

ПИСЬМО ДИККЕНСА

Мне надо было найти это письмо.

Несколько лет назад, когда вышли последние тома Собрания сочинений Диккенса, перелистывая их, я случайно наткнулся на это письмо. Заинтересованный, я тут же его перечел. Диккенс, отвечая какой-то женщине, рассказывал о работе писателя и довольно сурово поучал ее, указывая, что занятия литературой требуют большой самодисциплины и писателю нередко приходится отказываться от многого, в том числе — и от развлечений.

Казалось, когда будет нужно, смогу быстро отыскать письмо: я запомнил, что оно напечатано где-то в начале тома, на левой стороне, и адресовано женщине, имя которой в корреспонденции классика английской литературы больше нигде не встречается. Значит, ясно: то было случайное письмо, Диккенс, недолго раздумывая, набросал эти резкие строки!

Но вот письмо понадобилось. В свободные минуты, три дня подряд, я листал и листал оба тома переписки Диккенса и никак не мог найти то, что нужно.

В памяти ясно стояло: искать надо в самом начале тома, на левой странице.

Как мне повести за собой и вас, увлечь этими поисками в последний вечер и заставить торопливо листать кни-

гу, останавливаясь то на одном, то на другом письме, прочитать несколько строк, заинтересоваться оригинальной мыслью, подробностью жизни Диккенса, представить и события того времени, на миг позабыть о настоящей цели поисков и читать другое, ненужное письмо, от первой до последней строки, потом опомниться, начать вспоминать: что ты ищешь?

Поиски становятся все напряженней, кажется, что остается перелистать всего несколько страниц — и искомое окажется тут как тут. Только еще немного терпения, внимания! Но вот, в который раз, перелистана вся книга и второй том тоже, а письма нет!

Неужто оно мне приснилось или прочитал я его в другой книге?

И что за глупость — из многих ориентиров запомнить лишь то, что письмо напечатано слева! Три года держать в памяти такую ерунду...

К тому же какое все это имеет значение?! Поразмыслишь, становится ясно — ведь ищешь многим хорошо знакомое, напечатанное в книге письмо! Стоит ли стараться? Если уж не повезло, то, быть может, следует оставить письмо, как говорится, на волю божью? Но не легко и сдаться, отказаться от поисков,— совершенно механически, без всякой надежды, снова перелистываю книгу и, пытаясь сам себя уговорить, что теперь действительно делаю это в последний раз, снова непроизвольно начинаю читать какое-то другое, ненужное мне письмо.

— Занимайся лучше чем-то одним — читай книгу или смотри телевизор!

— А если я справляюсь и с тем и с другим? (Конечно, я лгу, но как мне быть, если, отложив книгу, минуту спустя, сам того не замечая, снова беру ее, а неотступная мысль о когда-то прочитанном письме не дает покоя?)

Да, самый обычный вечер у себя дома. Когда на улице проезжает грузовик, у нас на шестом этаже, легко звеня, дребезжали окна, хорошо было слышно и громыханье самого грузовика, и голоса прохожих на улице. Время от времени в соседней комнате звонил телефон,— вечерами чудо техники, словно устав, шумит все реже, иногда и вовсе зря: набрали чужой номер. Но были и другие звонки — звонил приятель, или родственники, или знакомые и незнакомые по разным делам. В тот вечер как будто звонили из редакции газеты; раздосадованный телефон-

пым разговором, я снова взял в руки том Диккенса, но одним глазом посматривал и на экран телевизора.

Но на всех этих подробностях — на том, какая была погода, и как били по окну падающие с крыши звонкие и торопливые капли, и на том, как оно менялось в цвете, из голубоватого стало темно-синим, потом совсем черным, а затем в этой черноте вспыхнули желтые уличные огни и почему-то в тот самый миг все городские звуки стали громче, слышнее, — на всех этих подробностях здесь не стоит останавливаться, их просто надо вычеркнуть, чтоб они не мешали рассказу о главном...

А быть может, не стоит их вычеркивать?

Всякий раз, когда надо что-то писать, будь то даже небольшая заметка, мучает забота — как написать? Как построить, скомпоновать? Еще и еще раз — с чего начать, как кончить?

Очень хотелось бы набросать этот вечер в быстром, стремительном темпе, короткими фразами, с диалогами — и так, чтоб ясно виден был и фон, на котором все происходит,— и старомодный книжный шкаф с кипами рукописей на нем, и городские огни за окном, и чтоб слышны были все звуки, с разных сторон пробивающиеся в комнату; например, чтоб было слышно, как на лестничной площадке с железным грохотом хлопает дверь лифта, когда приехал кто-то из соседей... Но, пожалуй, на этот раз лучше всего рассказывать все по порядку.

Вдруг я стал внимательней смотреть телевизор. На экране происходило нечно имевшее отношение к работе писателя. Я понял это не сразу, мне просто было интересно смотреть. Показывали очередную программу КВН — Клуба веселых и находчивых. С первой минуты мои симпатии были отданы команде студентов Педагогического института. Листая том Диккенса, я все же следил за ее успехами в состязании с представителями какого-то другого института. Мне пришелся по душе внешне сердитый и нарочито сдержанный их капитан, в острых чертах которого проглядывала насмешливая ухмылка. Мне нравилась его улыбка, насмешливость и даже то, как он смотрел исподлобья и ходил, чуть опустив голову. Симпатичными казались и остальные члены команды — все до одного небольшого роста, худощавые, сноровистые парни. На сцене они держались так, будто сами подсмеивались над собой, и в то же время от всего сердца забавлялись

своими шутками, всем происходящим. Они острили, изображали какие-то сцены, пели, рисовали карикатуры очень легко, без малейшего усилия. Эти замечательные парни одерживали победу, у них было на несколько очков больше, чем у соперников!

И вот на стул усадили самого низкорослого члена «моей» команды. Нетерпеливый и подвижный, он ежеминутно оглядывался на товарищей и, широко открывая рот, старался что-то им сказать.

На стуле рядом сидел представитель другой команды.

Оба они должны были потягаться силами в импровизации.

— Каждому из вас мы вручим по одному предмету. Сначала одному, а когда он закончит свой рассказ — другому. Вы тут же должны сочинить, сымпровизировать рассказ об этой вещи, притом рассказы должны быть связаны друг с другом, чтобы получилась одна сказка... На рассказ о каждом предмете дается две минуты! — чарующе улыбаясь, объясняла ведущая и, скинув улыбку с лица, воскликнула: — Начинаем!

Она быстро вручила первому рассказчику, из команды, соперничающей с «моей», большой висячий замок.

«Ну, ты теперь влип! — злорадно решил я (в ту минуту, заинтересованный в победе «своей» команды, я был способен на несправедливость!).— Из этого хлама не создашь сказки...»

Но юноша из команды соперников почтительно и даже с восторгом — как лучшего друга, как невесть какое сокровище — с распростертыми объятиями принял тяжеловесного дверного стража!

Подумав, состроив лукавую мину, он начал говорить, будто делясь с нами тщательно хранимой тайной:

— Это не простой замок! Он только выглядит обычным. Знаете, какое ответственное у него было поручение? Он висел на двери, за которой до решающего момента хранилась Она... Да, да, Она — сиятельная и прекрасная Золотая богиня. Наш Висячий Замок некоторое время и не знал, кого он охраняет. Позже, прислушавшись к разговорам вокруг, а потом заглянув через небольшую щель в охраняемое помещение, он понял, что ему доверено, и необычайно возгордился. С той минуты он стал держаться высокомерно и делал вид, будто с самого начала знал абсолютно все о Золотой богине и знает еще многое такое, о чем у других нет ни малейшего понятия. Но потом, как-

то утром, Золотая богиня исчезла, и никто не знал, как это случилось и где ее искать. Висячий Замок тоже не мог ничего сказать...

Что этот парень делает — он вводит в свой рассказ только что случившуюся сенсационную историю с призом мирового футбольного первенства, с Золотой богиней, впутывает в это происшествие Висячий Замок, а теперь дает волю своей фантазии!

Я был несколько ошарашен.

— Допросить Висячий Замок явился полицейский, потом сбежалось двести сыщиков...

— Стоп! — перебила ведущая, снова чарующе улыбнувшись.— Ваше время истекло! Слово представителю второй команды! — Она вынула из корзинки и протянула симпатичному парню, студенту Пединститута, самую обыкновенную куклу — в платьице, с косичками, с большими синими глазами, с ярко-красными губками и густо подрумяненными щеками.

— Это кукла, — юноша из «моей» команды вертел в руках полученную им героиню своего рассказа.— Кукла. Ее зовут Оля. Да, Оля. У нее большие глаза. И красивые ресницы. Вы сами видите! — Рассказчик протянул к нам куклу и тут заметил две косички с лентами, о которых тоже можно было сказать хоть несколько слов, и стал перечислять косы, ленты, чулочки, платье, две руки...

Как назло, парень из «моей» команды остался на экране телевизора совершенно один. Его одного показывали всему свету, тщательно освещая лицо, следя за каждым движением его губ, за каждым жестом. Так он и мучился там в одиночку. Было ясно видно,— не зная, что еще сказать, он чувствовал себя как на дыбе. Было просто неудобно смотреть на эти мученья,— нет, было бесконечно тяжко! Хотелось что-то подсказать, подбодрить его, помочь. Нельзя было просто так смотреть, как на твоих глазах пропадает человек, а «твоя» команда теряет очки! Долго-долго тянулись две минуты. Затем первый из соперников снова получил слово. Ему протянули игрушечную собачку, юноша начал рассказывать, сообщил нам, что собачка не поверила хвастливой болтовне чванливого Висячего Замка. Двести сыщиков тайной полиции пошли по неправильному следу. Только невзрачный песик отправился в путь по дворам, по продымленным улицам лондонских окраин, догадался — Золотая богиня и есть та самая кукла Оля. Переодевшись, она сбежала из своей

темницы. Злоключения Золотой богини и все, что недавно вокруг нее в мире творилось, опять вплелось в рассказ, двинуло его стремительно вперед, точными реальными деталями связав с жизнью, сохраняя тем не менее что-то неуловимо сказочное.

Раздосадованный неудачей «моей» команды, слушая рассказ соперника, я постепенно стал соображать, что этот случай проливает какой-то свет и на некоторые секреты нашей литературной работы. Да, это, наверное, известно, но тут вывод пришел ко мне заново, как будто только что рожденный. Воображение должно прясть свою пряжу, смело вытягивая ее нить из «сырья» действительности, смело используя, преображая факты реальной действительности. А в чем секрет импровизации? Если надо вот так, с ходу, создать рассказ, очевидно, следует закинуть «сети воображения» в море хорошо знакомых фактов и событий, что лежат вокруг, и весь улов — эти факты и события — вплести в рассказ, изменяя, преобразуя, комбинируя друг с другом, сдвигая. Наверное, это еще один из секретов творчества,— так думал я потом, стараясь подыскать наиболее точные слова, чтоб уяснить все и для себя. Надо смелее черпать факты действительности, перемалывать их, перемешивать...

Теперь, пожалуй, могу привести место из письма, которое я так долго искал. Страдая и чертыхаясь, кляня невезение «моей» команды — неудача в состязании по импровизации оказалась роковой: потеряв несколько очков, живые, сообразительные ребята не смогли больше опередить соперников и проиграли с разницей в одно очко! — да, переживая и чертыхаясь, я в конце концов все же нашел запропавшее письмо. Оно и правда было напечатано на левой стороне и почти в самом начале тома, на 28-й странице.

Письмо адресовано миссис Винтер и написано во вторник 3 апреля 1855 года.

Диккенс писал: «Я сохраняю способность к творчеству лишь при строжайшем соблюдении главного условия: подчинять этому творчеству всю свою жизнь, отдаваться ему всецело, выполнять малейшие его требования ко мне, отметая в течение целых месяцев все, что мешает работе. Если бы я не понял давным-давно, что только будучи в любую минуту готов полностью отречься от всех радостей и отдаться работе, я смогу сохранить за собой то место, которое завоевал, я бы потерял его очень скоро.

Я не рассчитываю на то, что Вы поймете все причуды и метания писательской натуры. Вам никогда не приходилось сталкиваться ни с чем подобным в жизни и задумываться над этим. Вот почему Вам может показаться странным то, что я пишу. «Что вам стоит оторваться на полчаса», «только на часок», «всего лишь на один вечер» — с такими просьбами часто обращаются ко мне. Но люди не понимают, что писатель сплошь и рядом не может распоряжаться по своему усмотрению даже пятью минутами своего времени, что одно сознание того, что он связал себя обещанием, может ему испортить целый день труда. Вот какой ценой приходится расплачиваться нам, пишущим книги. Тот, кто посвятил себя искусству, должен быть готов отдаться ему всецело и только в служении ему искать себе награду. Я буду очень огорчен, если Вы заподозрите меня в нежелании видеть Вас, но ничего не могу поделать. Я должен идти своим путем, несмотря ни на что».

Отыскав письмо, я понял, почему мне так долго пришлось листать книгу и всякий раз взгляд скользил мимо него. Читая его в первый раз, я запомнил одно, а именно — что фамилия миссис Винтер нигде больше не упомянута. И, разыскивая его, я исходил из этого. Но миссис Винтер были адресованы несколько писем, в которых к ее имени, правда, приписано еще другое: «Миссис Биднелл-Винтер»... Вторично перечитав письмо, я заинтересовался этой странностью. Прочитал комментарии, просмотрел летопись жизни Диккенса. Нашел короткую справку: «В мае 1829 года друг Диккенса Генри Колле познакомил его с дочерью лондонского банкира Марией Биднелл, в которую Чарльз страстно влюбился. Эту свою любовь он описал в романе «Давид Копперфильд». Так вот кто был адресатом этого письма! Мечта из сказки давнишней, первой любви писателя... Ей адресованы эти суровые слова о долге, который превыше всего. Снова встретившись с ней двадцать шесть лет спустя, Диккенс во имя творчества отказался лишний раз повидаться с женщиной, хотя, по его собственному признанию, сердце будущего писателя в молодости было пришпилено к каждому кончику ван-дейковских кружев на ее платье, как бабочка на булавке.

В начале 1855 года Мария Биднелл, теперь уже в качестве миссис Винтер, написала Диккенсу письмо. Началась переписка, они встретились.

Даже в самых подробных очерках жизни Диккенса этот эпизод упомянут лишь мельком. Поэтому, просмотрев комментарии к письму, я по-новому отнесся к рассказу о встрече писателя с Марией Биднелл, другими глазами перечитал приведенный отрывок из письма.

Некоторые комментаторы утверждают, что Диккенс после встречи с Марией Биднелл-Винтер избегал дальнейших свиданий, так как в почтенной матроне мало что сохранилось от девушки, которую некогда так страстно любил семнадцатилетний юноша.

Быть может, в какой-то мере так оно и было. Но все же мне кажется, что уважаемые комментаторы, зафиксировав факты, не всмотрелись поглубже в тут же, рядом, лежащие события из жизни писателя и потому не увидели в истинном свете и его встречу с миссис Винтер. Да, несомненно, миссис Винтер отнюдь не была похожа на ту Марию, с которой Диккенс расстался двадцать шесть лет назад. Но ведь и сам Чарльз стал совершенно другим человеком — знаменитым писателем, уже много написавшим и надеявшимся написать еще больше. В 1854 году Диккенс закончил роман о жизни рабочих «Тяжелые времена». Многое тревожило писателя — положение в Англии, война с Россией, большие потери в боях за Севастополь. Все это должно было как-то отразиться и в следующей его книге. Диккенс неотступно думает о новом романе. В период, когда вызревал замысел, а в уме складывался план, сюжет, облик героев нового произведения,— как свидетельствуют все биографические данные и многочисленные высказывания самого писателя,— Диккенс стремился отрешиться от всего лишнего и жил раздумьями о своей будущей работе. Не только одной миссис Винтер писал в такие периоды автор «Давида Копперфильда» письма подобного характера. Но в приведенном письме мысль о долге писателя высказана наиболее четко. Да, всю жизнь — своему делу! Вскоре Диккенс завершает размышления подготовительного периода и приступает к работе над большим романом «Крошка Доррит», пишет главу за главой. Нет, в письме к Марии Биднелл-Винтер он отнюдь не лукавил — он на самом деле стоял у порога новой работы, ее замыслу отдавал все свои душевные силы. Вот она — несмотря ни на что — главная правда. И так же, как в ранее написанных книгах, когда писатель безжалостно вкладывал в каждую материал собственной жизни и строго реалистически, отнюдь не в розовых

тонах, изображал своих близких, мать и отца, так и в новом романе Диккенс жертвует литературе свои переживания, вызванные встречей с Марией Биднелл-Винтер. Миссис Винтер писатель превратил во Флору Финчинг. Да, действительно, всего себя, свою собственную жизнь, своих родных и знакомых, без малейшей жалости — своему делу, искусству...

ПОКАЗАТЕЛИ

Все шло по-старому. Ночью в темной землянке раздавался крик: «Тревога!» — мы вскакивали, поспешно одевались и, на ходу застегивая гимнастерки, выбегали, чтобы стать на свое место в строю. Мы знали — очередное занятие. «Взвод ночью в обороне» или «взвод в ночном наступательном бою». К концу августа мы отдавали предпочтение «взводу в ночном наступательном бою» — стало куда прохладнее, нам, бойцам запасного полка, шинели еще не выдавали, и потому, чтобы не стучать зубами, лучше было пробежаться... После ночных занятий, чуточку вздремнув, часов в пять утра мы брели в лес и тащили оттуда домой бревна — заготовляли дрова для батальонной кухни. А после завтрака рота шла на учебное поле — через дорогу, потом через сосновый лесок. «С первого шага — песню! — зычно командовал командир роты.— Третий взвод, почему отстаете?» Наш третий взвод вечно числился отстающим.

Да, все было как обычно, но солдатская «почта» уже принесла весть, что скоро двинемся на фронт.

И вот подошла эта минута.

Оказалось, что сначала еще будут проверять, как мы за полтора месяца подготовились к боям.

...Мне и еще двоим из нашего взвода выпало ползти на четвереньках, а потом по-пластунски сто метров. Следовательно — дважды по сто метров.

Поодаль, у финиша, с часами в руках стояли экзаменаторы из штаба полка. Помню их напряженно склоненные головы — экзаменаторы ревниво вперились глазами в свои раскрытые ладони, с которых свисали ремешки от часов.

Как назло, день выдался жаркий.

Солнечный диск на небе остановился как раз над головой и нещадно поджаривал затылок и плечи.

Земля — под самым носом. Вижу только землю, песок и еще кое-где уцелевшие, невытоптанные кустики травы.

Пыль тучами забивается в рот, в нос, глаза. Лоб в поту. Глаза полны пыли и песка. Спина взмокла. Колени и локти в одно мгновение ободрались. (Я прямо слышал, как рвется моя гимнастерка у плеча и на локте. Наша одежда и без того в заплатках — так называемая бывшая в употреблении — беу.) Но нельзя ни остановиться, ни перевести дыхание. Только вперед! Ничего не вижу, пот ест глаза, ползу и ползу, стараясь побыстрее выбрасывать вперед руки, но они повинуются с трудом. Когда же конец этим ста метрам?

— Теперь по-пластунски!

Тяжело дыша, опять идем к старту. Даже не вытираем пот со лба. Пусть его! Еще сто метров — и проверка выдержана. (Несведущим могу разъяснить: на четвереньках надо ползти на коленях, опираясь на локти; по-пластунски — на животе, не поднимая головы, правая рука за ремень придерживает винтовку и тащит ее за собой. Так, не давая себя обнаружить противнику, перебирая руками и ногами, надо быстро ползти вперед.)

Наконец и это позади.

Медленно возвращаемся к сидящим на краю поля ребятам из нашего взвода. Мы в пыли с головы до ног, но горды тем, что с честью выполнили нормы.

— Хорошо справились, молодцы,— сказал комвзвода лейтенант Круминь. Но расхваливать нас дольше у него не было времени — с другого конца поля послышалась команда к началу следующей проверки, по гранатометанию, и, как всегда, тотчас в полный голос стали звать третий взвод — куда он, мол, запропастился?

Лейтенант Круминь, захватив с собой нескольких бойцов, быстрым шагом, озабоченный, пошел через поле.

А мы, те, кто только что носами рыли землю, могли минуту передохнуть, небрежно развалиться в траве, полной грудью вдохнуть напоенный запахом сосновой хвои воздух.

— Кто здесь участвовал в переползании?

К нам подбежал какой-то сержант.

— Немедленно все обратно на то же место!

— Что случилось?

— Без разговорчиков — на то же место... Неправильно засекли время...

Еще раз на четвереньках? По-пластунски?

Я глянул на свои истрепанные брюки и засомневался, выдержат ли они повторную встречу с жесткой землей

и сможем ли мы сами, не успев передохнуть, вторично уложиться в норму, одолеть сто, потом еще сто метров...

...Но пришлось ползти. Поэтому я не видел, как проходило гранатометанье. Подошел туда только к самому концу — незнакомый боец, последний из проходивших испытание, бросил свою гранату. Граната взмыла вверх, затем где-то далеко-далеко, там, где она упала, поднялось желтоватое облачко пыли. Минуту спустя мы узнали результат — шестьдесят пять метров!

— Один тут еще дальше бросил — почти на семьдесят...— услышал я рядом разговор.

А ребята из нашего взвода кинули гранату только на тридцать пять — сорок метров.

Это сказалось на общем показателе взвода: мы снова остались на последнем месте.

— Когда же на фронт?

— Писарь говорит — еще списки не готовы.

Мы разлеглись на траве у края поля, возле кустов, на обычном месте занятий нашего взвода, и лениво переговаривались. Самокрутка была одна на всех, она переходила из рук в руки. Очередной счастливчик, получивший ее, старался курить медленно, с толком, а остальные, чтобы зря себя не растравлять, смотрели в стороны. Кое-кто, правда, нетерпеливо поглядывал, что делается с самокруткой, не пора ли ей идти дальше по кругу.

— На фронте будут давать семьсот граммов хлеба,— сказал кто-то.— И табак...

Лейтенант Круминь подошел поговорить с нами.

— Как это мы с гранатами опозорились? — чертыхнулся он и снова ушел на другой конец поля, где собрались командиры.

А солдатская «почта» четверть часа спустя принесла нам еще одно известие; первый и второй взводы, оказывается, «одолжили» в других ротах лучших гранатометчиков (за себя они «отбросали», теперь могли помочь другим) и тем обеспечили хорошие показатели. А наши показатели оказались хуже, мы остались на последнем месте. Зато без обмана, сами, как умели, бросали гранаты.

...Зачем я все это рассказываю здесь, в книге о работе писателя?

В памяти неожиданно возникли эти воспоминания: лето 1942 года, наша землянка с нарами в два этажа, доро-

га, что шла вдоль лагеря, и деревня по другую сторону, наше учебное поле, сосновый лесок и образцовые окопы на его опушке — отрытые в полный профиль, аккуратно замаскированные дерном, и в ряд стоящие чучела, которые мы кололи, упражняясь в штыковом бое...

И другая сцена на мгновенье возникла перед глазами: как-то вечером, в свободную минуту, мы с парнем из нашего взвода зашли в небольшую землянку, где был красный уголок. Остановились у висящей на стене большой зеленой карты; тусклый свет пробивался в землянку сквозь маленькое, как в бане, окошко, и мы едва могли найти на карте Сталинград.

— Как далеко они зашли! И идут и идут... Когда это кончится?

Казалось, что именно нас недостает на фронте! Почему мы еще торчим здесь?

...Бежали восемь километров от батальона до штаба полка. Мы вовсе не ждали подобного марафона, вдруг была дана команда: «Бегом!» — и надо было собраться с силами и бежать. Километра через три то один, то другой стал отставать. Я, помнится, выдержал километров пять. Когда мы строем шли обратно, ноги были ватными, спирало дыхание. Ежедневно нам напоминали изречение Суворова: «Тяжело в ученье — легко в бою». Ночью, поднятые по тревоге, мы пошли в марш на несколько дней — ночевали в лесу, утром форсировали небольшую речку, на середине перевернулась переполненная наша лодка; выкарабкавшись на берег, мокрые, мы пошли в атаку, с криком «ура» побежали по ярко-зеленому лугу к пригорку вдали. Мокрая одежда липла к телу и казалась тяжелой, как железные доспехи... Вернулись домой, снова потянулись занятия, с раннего утра до вечера. Перед заходом солнца в небольшой ложбинке за нашей землянкой собралось ротное комсомольское собрание. Политрук Боч говорил о задачах боевой подготовки, потом мы приняли трех бойцов в комсомол. Как-то вечером двое из нашей роты должны были идти в полк, на совещание отличников. Опять те же восемь километров туда и восемь обратно. У меня в памяти сохранилась только минута открытия совещания: едва я сел, началось единоборство с тяжелыми, словно каменными, веками; раза два с громадными усилиями мне удалось их поднять, но совсем я проснулся, когда все вокруг начало громыхать и трещать,— оказалось, совещание закончилось, народ поднимался, отодви-

гал скамьи, все двигались в сторону двери. Да и на самых обычных наших занятиях, в те минуты, когда, рассевшись на травке, мы разбирали винтовку или автомат, кое-кто из ребят, невыспавшиеся и усталые, невольно начинали дремать, тогда сержант поднимал их и приказывал стоять.

Каждый день приходили тяжелые известия с фронта: оставлен еще город.

По ночам часто где-то совсем близко был слышен рокот немецких самолетов, и тотчас начинали работать зенитки — вдали, над черной линией леса, в темном полотне неба тревожно вспыхивали белые разрывы снарядов.

Во время занятий, блуждая по лесам, мы то и дело натыкались на выстроенные многочисленные доты и дзоты, глубокие противотанковые рвы, и это наводило на мысль, что и сюда могут добраться вражеские полчища...

То было трудное лето.

Сократились продуктовые пайки: на обед выдавали только суп, пшенную кашу мы больше не получали. Хлеб съедали утром, едва получив свою порцию.

Когда под вечер мы возвращались в лагерь, вид у нас был весьма живописный: в драном обмундировании, запыленные, усталые, с запавшими щеками, с медными обожженными солнцем, обветренными лицами, с деревянными палками вместо винтовок на плечах. У нас было только несколько учебных винтовок, мы понимали — все оружие отдано фронту. Настоящие винтовки мы держали в руках, лишь стоя на посту или когда учились их разбирать. А обычно, каждый день, мы упражнялись с этими палками, на конце которых, для обучения штыковому бою, были прикреплены железные прутья...

Да, так это было: положение настолько трудное, что запасным частям не хватало винтовок. Тут нечего ни скрывать, ни замалчивать. Напротив: если мы сумеем рассказать всю правду о том, как трудно тогда пришлось, как много сил и напряжения требовал каждый шаг, тогда все, что мы — несмотря ни на что! — преодолели, откроется в своем настоящем свете. Правду нельзя делить на части, говорить лишь половину ее, нельзя отсекать от нее что-то неприятное.

Но и занимаясь с тем оружием, что у нас было, мы научились обращаться с винтовкой, автоматом, ручным пулеметом, умели вырыть окоп, стрелять, ползти по-пластунски и цепью подыматься в атаку...

Мы устали, отощали.

Каждый день приносил новые тяжелые вести с фронта. Мы знали, что и наша дивизия опять в боях.

Когда стало ясно — скоро отправляемся в путь, двое из нашей роты вдруг заболели и ушли в санчасть. Нам как-то всерьез не верилось в их болезнь...

...Все-таки — зачем я обо всем этом здесь рассказываю?

Бывает так: тщательно и разумно все спланировано, хорошо знаешь, чем будешь заниматься в этот год или полгода. Работа начата, идет на лад. Так что жаловаться не на что. И вот нежданно врывается что-то другое, не имеющее ничего общего с намеченным. Что-то подмеченное в жизни взяло за душу. Застряло в памяти. Перед глазами встает давно пережитое, оживают сцены былого, какие-то лица. И сливаются в одно целое. Знаешь, как все это можно и нужно написать. В голове все готово до последней строки, надо только прервать начатую работу и сесть за эту, что непрошено вломилась в твою жизнь. Подчас в таких случаях пишешь одним духом, быстро, хорошо. Сцены сами лепятся друг к другу, герои сами говорят и действуют, и не надо думать, как лучше расположить материал; форма рождается сама, — то, что надо сказать, свободно, естественно ложится в слова и появляется на бумаге.

И писать что-то другое в это время — невозможно. Ты будто выполняешь какой-то долг.

А начатая работа, хорошо продуманные планы — на время откладываются.

Могут и совсем разлететься в прах.

Опять — одна из многих тайн творчества? Пожалуй. Жизнь диктует сама.

Так и на этот раз, меня несколько месяцев одолевали воспоминания об этом небольшом эпизоде с «показателями» нашего взвода, когда мы за несколько дней до отъезда на фронт вновь оказались на последнем месте. Было нечто, заставившее меня вспомнить давний эпизод, а затем и все остальное. Я мысленно снова увидел наш лагерь, вытоптанное учебное поле, своих товарищей, слышал команды, вспомнил наши разговоры... И почему-то казалось очень нужным все это записать.

Быть может, разоблачи мы вовремя такие дутые парадные показатели, они не мешали бы нашей жизни и по сей день.

Литература — с каждым днем все больше это понимаешь — очень серьезное дело. Зачем мы вообще пишем? Только для того, чтоб что-то изобразить, создать интересное чтиво? Нет, за словами: не могу не писать — скрывается более глубокий смысл. Сначала действительно кажется, что просто явилось желание писать и с этим желанием никак не совладать. Да, хочется писать. Хочется видеть свою книгу и свое имя напечатанными. Хочется написать лучше, чем другие. Хочется сказать что-то новое и свежее. Но со временем, с каждым прожитым годом, слова: не могу не писать — звучат все серьезнее, обретают общественный смысл. Не можем не писать, обязаны писать, — это необходимый нам, наш способ образного познания жизни. Своими строчками, книгами пробиваясь в глубь действительности, мы хотим помочь эту действительность совершенствовать. Литература — это открытие правды жизни в образах, и своими открытиями она влияет на время, людей, на жизнь. И правда является наиболее сильным оружием литературы. Да, из года в год это становится все более ясным, все ощутимее и ощутимее чувствуешь и сознаешь, насколько ответственна и серьезна эта работа — писать. Но вернемся к тому, с чего я начал.

Так уж случилось — нахлынули старые воспоминания, заставили все передать бумаге, и я должен был день за днем думать, как лучше сделать.

Может быть, следует написать о лейтенанте Крумине?

...Сначала у нас, кажется, был другой комвзвода. Лейтенант Круминь появился несколько позже. В то время каждый, кто по званию оказывался старше меня, рядового, казался мне и по годам старше. Теперь я понимаю, что он был молодым парнем, возможно моих лет, если не моложе. Приземистый и крепкий. Солдатская гимнастерка казалась ему узкой, сапоги — коротковатыми, пилотка едва держалась на густых русых волосах.

Круминь все делал на совесть, по-настоящему.

Когда мы учились идти в атаку, лейтенант бежал впереди взвода и, крикнув: «Пулеметный огонь противника!», первым падал на землю, а минуту спустя первый вскакивал и поднимал нас: «Вперед, ребята!» Маленькими лопатками мы рыли себе окопчики, и лейтенант, лежа плашмя в траве, красный от натуги, старательно взрезал лопаткой дерн, потом выбрасывал землю и, вырыв свой

окоп, шел смотреть наши, требовал: «Копай глубже, замаскируй дерном...»

Если кому-то удавалось незаметно и быстро переползти через поле или проделать другое упражнение, Круминь обращался ко всем:

— Смотрите, как он это делает! Я ему ставлю «отлично»! Смотрите все!

А если нам что-то не удавалось, лейтенант вздыхал:

— Как же так, ребята?

И тотчас показывал, как бросать гранату, как браться за пулемет.

Вторники были днями командирских занятий, и тогда в нашем взводе Круминя подменял франтоватый младший лейтенант. А вечером мы видели, как наш настоящий командир возвращался после занятий домой,— его спина и плечи были в темных, мокрых подтеках пота, лицо осунувшееся. Он все делал не щадя сил, без скидок.

...Выстроены маршевые роты. Командир полка, очкастый, сутуловатый, вместе с подвижным, худощавым и лобастым комиссаром обходит ряды, спрашивает у каждого: «Есть претензии?» — «Нет! Нет!» — слышно в ответ. Под вечер на площади посреди лагеря для нас, маршевиков, поют приехавшие из Иванова латышские артисты — Рудольф Берзинь, Эльфрида Пакуль.

Итак — едем...

Но произошла непонятная задержка, поползли слухи, что отъезд на фронт отложен недели на две.

Ночью нас снова повели на ученье. И на этот раз выпала злополучная тема: взвод в обороне. Но погода стояла теплая, и мы решили, что беды нет: обучены мы достаточно, нас, маршевиков, никто не заставит понапрасну усердствовать, часа два поваляемся где-нибудь на опушке леса и вернемся в лагерь. Но лейтенант Круминь не дал нам роздыха. Заставил каждого вырыть окопчик, обозначить сектор обстрела. Послал одно отделение в обход березовой рощи, с тем чтобы оно атаковало нас через кустарник. «Если уж что делать, то делать по совести»,— сказал он и каждую минуту отдавал новые вводные для боя: то противник наступал с правого фланга, то, оказалось, двинул на нас танки.

Земля была сырой и холодной, а в маленьких, только что вырытых окопчиках, в которых мы лежали, песок был

еще более влажным и студеным. За нами тихо шумел лес, метрах в ста впереди призрачно чернел кустарник. Пронизанный сыростью ночной воздух доносил запахи болота и высохших трав. Лейтенант отдавал команды полушепотом, и мы, ожидая атаки, смотрели то направо, то налево...

В своих разговорах мы ни разу ни словом ни в чем не попрекнули нашего комвзвода, но в ту ночь, признаться, приготовившись к отъезду, в душе кляли его...

На следующий день нас спешно отозвали с занятий, за час выдали каждому по ватнику и по нескольку пачек концентратов. Под вечер по желтой, петляющей среди леса дороге, мимо картофельных полей и зеленых лугов, потянулась колонна маршевых рот. Над нами колыхались поднятые сотнями ног облака пыли, чудилось, что вся колонна — до самого леса — движется сквозь сплошную пыль, даже заходящее солнце виднелось в желтом мареве. И вся длинная колонна пела. Одна песня мешалась с другой, песня наплывала на песню. Черноволосый, краснощекий старшина нашей роты, остающийся тут, в лагере, обучать новое пополнение, по случаю прощания где-то подвыпив, пошатываясь бежал рядом с колонной.

— Ребята, ребята...— бормотал он, и вдруг ни с того ни с сего заплакал, и так, плача, спотыкаясь, ковылял дальше. А мы опять завели новую песню.

Во многих взводах, ротах — новые командиры. Кадровые офицеры запасного полка остались на своих местах в батальоне, чтобы завтра встретить тех, кого будут обучать.

В нашей роте тоже новый командир.

Но во главе взвода по-прежнему шагает лейтенант Круминь. Он вместе с нами едет на фронт.

Ночь провели в вагонах. Утром, едва мы успели, глотая едкий дым, сварить себе на кострах что-то из концентратов, загудел паровоз, подталкивая друг друга буферами, задвигались красные вагоны. Мы прыгали на ходу. Через час были уже в другом мире: мимо нас плыли станции с переполненными людьми платформами. Там толпились женщины с серыми, измученными лицами, с детьми, с узлами, инвалиды на костылях, в распахнутых старых шинелях, бородатые старики в ватниках. У кранов с кипяченой водой вытянулись длинные очереди. Закутанные в платки бабы стояли, держа в заскорузлых ладонях при-

несенный для продажи, увязанный в тряпочки вареный картофель и картофельные оладьи. Зеленый санитарный поезд (красные кресты в белых кругах на боках вагонов) стоял на соседнем пути, в окнах за мутными стеклами виднелись раненые — головы в белых повязках, руки в гипсе; и на ступеньках некоторых вагонов тоже раненые, выбравшиеся в халате или просто в нижнем белье на воздух. Через рельсы к какому-то другому эшелону спешит группа бойцов и тащит за собой пулемет «максим». «Максим», подпрыгивая на рельсах, на шпалах, дребезжит. Над всем этим скопищем, что безостановочно движется по каким-то своим законам, хрипло кричит громкоговоритель, передавая сообщения о тяжелых боях на юге, на Кавказе и под Сталинградом. «Моздок... Моздок...» — это название я знал и раньше. Моздок — далеко в горах. Другие, быть может, не знают его, но я знаю.

Мы едем дальше, мимо настежь открытых дверей нашего вагона проносятся шумящие под дождем темно-зеленые леса, потом снова возникает забитая людьми платформа, над ней — серое небо, и опять громкоговоритель угрюмо повторяет свои известия...

Кажется — война с силой катит нам навстречу, неся впереди себя эти развороченные ураганом толпы, измученные лица, людей на костылях. Сердце ёкнуло, стало больно и грустно, в вагоне стихли разговоры. Появилось ощущение, что мы не понимаем еще в полной мере, какой трудный пред нами путь, лишь начинаем догадываться. Кто знает, может, не вернемся... Даже наверное кто-то из нас не вернется.

...Почти день простояли на какой-то станции на окраине Москвы. До сих пор не могу понять, что была за станция.

Нам должны были выдать новое обмундирование — шинели, гимнастерки, ботинки.

Эти десять часов на окраине Москвы я почти целиком провел, дежуря у вагонов. Четверо дневальных были отданы под мою команду. Гордый возложенной на меня ответственностью, я приготовился строго выполнять свои обязанности.

Тревогу вызывал Костя из нашего взвода. С ним вечно что-то приключалось. То он опаздывал в строй, то пропадал в гостях в другой роте. Незадолго до прибытия в Москву за какую-то провинность Костя заработал очередное взыскание — два часа гауптвахты, отсидки где-то в

соседнем вагоне, там, где ехал командир роты. Может, он эти два часа еще и не отсидел...

Были опасения, как бы Костя по своей недисциплинированности и легкомыслию не отстал от эшелона.

Вышагивая взад и вперед у вагонов, я посмотрел на город, на его улицы. То была совсем другая Москва, не та, что я знал раньше. Тронутая дыханием войны. Если бы теперь пришлось написать картину того дня, то надо было бы подобрать самые разные оттенки серой краски: темное небо простерлось над путями, над желтовато-серым зданием станции и высокой платформой; слева, над крышами близлежащих домов и над верхушками редких зеленовато-серых деревьев, чуть заметно покачиваясь, в небе висел сероватый аэростат воздушного заграждения; по платформе сновали серые фигуры людей. Красные эшелоны на путях тоже выглядели запыленными.

У всех людей — озабоченные лица.

— Слышь, дневальный ходит за мной и никуда не пускает,— прервал мои наблюдения Костя.

— Ты куда собрался?

— Будь человеком, пойми — сестре надо отправить телеграмму. Она москвичка, глядишь — успеет подойти...

— Ты, наверное, еще числишься на гауптвахте?

Я не имел права, не должен был его отпускать.

— Не опоздаешь? Не отстанешь от поезда?

— Не бойсь, на фронте вместе будем. Костя слово держит!

— Иди, но через полчаса чтобы был обратно.

Мелькнула мысль: лейтенант Круминь имеет право отпустить, если бы комвзвода был здесь, он разрешил бы Косте уйти.

Еще я все время думал о том, что и мне надо попасть к телефону и позвонить маме. Может, посчастливится, дозвонюсь!

До телефона я добрался куда позже. И должен был очень торопиться. Отделение связи тут же, на станции. Телефон не прямой, пригородный. Телефонисток раздражало мое неумение с ним обращаться. Никак не мог получить соединения. И поминутно бегал к окну глянуть, стоит ли еще наш эшелон.

Наконец в трубке послышался далекий, незнакомый голос:

— Что вам нужно? Кого?

Что есть силы дую в трубку, но это не помогает, все равно ничего не слышно.

Минуты через четыре выяснилось, что матери па работе нет: куда-то ушла, когда вернется, неизвестно.

— Ей что-нибудь передать?

— Скажите,— кричу я в трубку,— сын звонил... Сын!

Уже совсем стемнело, когда во дворе какого-то склада справа от станции стали выдавать обмундирование. Освободившись от дежурства, пошел туда. Во дворе — сутолока. В окошке, через которое выкидывали вещи, высоким желтым пламенем, коптя, горела керосиновая лампа. В колеблющемся свете, иногда совсем пропадая в темноте, странно прыгали черные призрачные фигуры — кто на одной ноге, кто воздев обе руки. Бойцы переодевались.

Приятель уже раздобыл шинель — накинул ее мне на плечи.

Из тьмы вынырнул лейтенант Круминь.

— Где ты пропадал?

— Дежурил у вагонов.

— Ах, да!

— Как с гимнастерками? Выдадут?

— Тебе нужна?— энергично спросил Круминь и распахнул на мне шинель. — Глянем, какие у тебя «показатели». Ничего не выйдет, ты поздно явился. Сначала выдавали всем. А теперь мало что осталось. Твоя еще держится...

Круминь быстро протянул руку, рванул спереди на моей гимнастерке две большие заплаты, потом, наклонившись, оторвал такие же заплаты на моих коленках.

— Живо к окну! Теперь обменяют... Свой взвод я должен одеть!

Несколько минут спустя я, как и остальные, прыгал на одной ноге по двору, потом вытянул вверх руки, надевая через голову новую гимнастерку. Вокруг черная ночь. В маленьком окошке склада, словно поторапливая нас, пугливо подрагивало пламя керосиновой лампы...

Несколько месяцев спустя, во второй половине зимы, залечивая в ярославском госпитале рану, я как-то раздобыл номер дивизионной газеты с приказом о награждениях. Среди многочисленных Круминей, награжденных орденом Красной Звезды, я нашел одного, который мог быть нашим лейтенантом. Как было его имя? Ансис? Не мог вспомнить. Едва мы попали в дивизию, нас разбили

по батальонам, полкам — кого куда. Мы расстались с нашим лейтенантом. Был ли он тем, кто получил орден? От всего сердца хотелось, чтоб то был он, наш лейтенант, который все делал по-настоящему, без скидок. Я от души желал этого, хотя и знал, что таких людей награды иногда обходят.

В послевоенные годы из бывших солдат нашей роты мне удалось повстречать лишь человек четырех. Конечно, остальные, невстреченные, не все погибли. И все же многие, наверное, не вернулись с войны...

Так, поднятые чем-то увиденным, какими-то размышлениями, в мою жизнь, в начатую работу ворвались воспоминания. Заставили отложить в сторону другие, давно задуманные главы книги, заставили писать, записать все, что воскресло в памяти, вовсе не думая о том, найдется ли моему рассказу место в книге о труде писателя.

ПАМЯТЬ

Летом 1961 года радио принесло неожиданную и горькую весть: 2 июля, рано утром, готовясь к охоте, в своем доме в Кетчуме, в Солнечной долине, в штате Айдахо, от случайного выстрела погиб Эрнест Хемингуэй.

Так тогда сообщили: обстоятельства смерти не совсем ясны,— по-видимому, что-то случилось с охотничьим ружьем. Но читатели Хемингуэя знали, что он с детства научен обращаться с оружием, всю жизнь охотился — и на родине и в Африке...

Потом стало известно: все-таки самоубийство.

Постепенно выяснились и другие факты: из последней поездки в Испанию (истины ради следует добавить — после многих своих путешествий, многих войн, участником которых он был, после ранений, аварий, после всего пережитого) писатель вернулся домой тяжело больным, был помещен в больницу; там между прочими процедурами его лечили и электрошоком; из больницы он вышел немного поправившимся, но потеряв свою фотографически точную память.

Взяв в руки книги Хемингуэя, мы на каждой странице легко найдем свидетельства поразительной памяти писателя. Найдем — в каждой строке, в каждой фразе. Вместе со своим героем Ником Адамсом он хорошо помнит, как на берегу реки, на Биг-Ривер, проснувшись ут-

ром, ловил кузнечиков для наживки, и где их было всего больше, и какими холодными и мокрыми они были от росы, и как они не могли прыгать. Вместе с Генри из романа «Прощай, оружие!» Хемингуэй в мельчайших подробностях помнит военные дороги в Италии со всей их географией, и как ехали по этим дорогам машины и шли колонны солдат, и как поднятая солдатскими ногами пыль оседала на листьях и стволах деревьев; помнит, как тягачи везли орудия и их длинные тела были прикрыты зелеными ветками, и как над рекой стоял туман, а на горы наползали облака; вместе с писателем Гарри из «Снегов Килиманджаро», а позже один в своей книге о Париже он до последней черточки точно припоминает Париж, каким тот был в первой половине двадцатых годов, и кафе, в котором он иногда сидел и писал свои первые рассказы, и как выглядела девушка, которая вошла в кафе, и как рано по утрам, играя на дудке, пастух гнал по улице коз и останавливался надоить для какой-то женщины, вышедшей с кувшином, молока, поймал черную козу и доил ее, а остальные козы глазели по сторонам и вертели головами, как туристы... Все это и еще многое другое — разговоры с друзьями, с бесчисленными знакомыми, и облик солдат гражданской войны в Испании, и то, что они говорили,— он сохранил в памяти и решил обо всем, что знает, написать по рассказу.

В последние годы, правда, поступали сообщения, что в каком-то интервью Хемингуэй грозил — когда ему исполнится шестьдесят лет, он перестанет писать.

Но ему надо было еще так много написать — новую книгу об Испании, большую книгу о второй мировой войне и еще и еще о многом, чего мы и не знаем.

С потерей памяти была утеряна и возможность писать.

Хемингуэй не мог жить, не создавая своих книг. Бродя по Африке, охотясь, он думал о литературе, о том, что и как будет писать. А в свободные минуты, лежа в тени дерева, читал Толстого и думал о том, как следует писать, как простыми, ясными словами поведать правду о жизни.

Потеряна память...

И вот пришло то утро, когда в доме все еще спали. Странно, но перед моими глазами стоит та комната и то раннее утро. Конечно, я знаю: наверное, там все выглядит и выглядело иначе. Но я вижу широкое окно слева, и второе, поменьше, как раз напротив невидимой стены, откуда я смотрю, и кресло справа, я вижу то охотничье

ружье, его держат крепкие, сильные руки, и слышу тишину перед рассекшим ее гулким выстрелом.

Если нельзя писать, не стоит жить. «Трагедия Кетчума» — такие заголовки уже появлялись в газетах. Но, быть может, глубина трагедии до конца не осознана.

В первую мировую войну в ходу была поговорка — генералы умирают в постели. Профессия писателя считается одной из самых спокойных. Но нередко жизнь писателя обрывается свинцовой пулей, и его спокойная жизнь предстает трагической и мужественной. Писатели умирают на передовой, в огне, или — когда не могут больше писать и перо падает из их рук...

— У меня профессиональная память,— деловито заметила героиня одного польского фильма, банковская служащая, и так же деловито пояснила: — В банке, сидя за окошком, надо смотреть и запоминать все, до последней мелочи: лица, одежду, руки, вид денежных знаков.

В фильме действительно показали косо склеенный денежный знак, вид которого было очень важно запомнить.

Поздней осенью, в октябре, в Ялте, в Доме творчества писателей, проходя по вестибюлю, я услышал те же слова.

— У меня профессиональная память,— сказал какой-то мужчина, стоя на лестнице, своему невидимому собеседнику на втором этаже.

Заинтересовавшись этими словами, я оглянулся. Увидел актера Алексея Баталова. Он пришел к кому-то в гости.

Да, актеру нужна хорошая память, тут же я мысленно согласился с Баталовым,— нужна не только чтобы заучить тексты многих ролей. Это не самое важное. Нужна она прежде всего для того, чтобы день за днем собирать в памяти сотни и тысячи жизненных подробностей, характерные черточки, обороты речи, привычки разных людей — кто как ходит, говорит, чтобы все это вложить в тех людей на сцене, о которых у нас, зрителей, создается глубочайшее убеждение, что они и на самом деле, в жизни, точно такие.

А писателю, чтобы в книгах и пьесах показать жизнь разных людей, еще больше необходима хорошая память — и, пожалуй, с более широким диапазоном...

Конечно, мне не раз и прежде приходилось задумы-

ваться над значением памяти. Но в тот день привычные мысли, получив толчок извне, вновь пришли в движение. Была одна работа, которую следовало закончить, нельзя было заниматься посторонними размышлениями. И все же — я думал и думал.

...Значит, надо запомнить и эти октябрьские дни в Ялте. Пение тысяч неуемных невидимых цикад по вечерам, когда в темноте, поднимаясь по горной дороге, кажется, что поет все вокруг, поет, звенит листва деревьев, кусты, горы; надо запомнить порт, каким он выглядит сверху, когда в просветах между листвой вдали, внизу, чистое, нежное, голубое, будто написанное пастелью, возникает море, и хорошо виден большой белый теплоход у мола, и доносятся голоса портовых диспетчеров, отдающих свои распоряжения по радио; по вечерам теплоход на том же месте весь сияет огнями белых лампочек, огненными точками он вычерчен на черной бумаге южной ночи, вода тоже черная, в ней, опрокинувшись вниз своими трубами и мачтами, спокойно лежал огненный отблеск теплохода. Надо запомнить, думал я, горьковатый запах опавших листьев на горных тропках и высоко взлетающую белую стаю брызг в шторм, когда море с угрюмым гулом обрушивается на гранитную набережную, рассыпая дождь капель на большие платаны прибрежного бульвара; надо сохранить в памяти часы работы в нашем доме на балконе с северной стороны, где было очень шумно и через день в двенадцать пополудни собиралась гудящая толпа вокруг приехавшего автобуса с билетными кассами на поезда и самолеты: тогда работать, править рукопись становилось совсем трудно; да, это тоже надо запомнить, так же как и уютный — весь в горах и маленьких улочках — Гурзуф, и живописный, суровый водопад Учан-су с его отвесными, затененными красно-бурыми и серыми скалами, мерным шорохом сухих листьев под ногами и узким клочком неба наверху, где высоко поднявшиеся скалы прямо упирались в синеву; надо, чтобы в памяти остался и наш большой желтый дом в горах, с глубокими лоджиями на первых двух этажах южной стороны, и больной Константин Георгиевич Паустовский в те минуты, когда, чувствуя себя лучше, он выходил посидеть на площадке у дома, и как его снимали для кино какие-то молодые люди, и как Паустовский сидел, держа в руках большой блокнот, и, чуть пригнувшись, что-то писал; глубокие,

как шрамы, сверху вниз идущие морщины были врезаны в его желтовато-серое лицо...

Все это должно сохраниться во мне так же, как все ранее увиденное, пережитое,— в красках, с запахами, со звуками, с вечерней свежестью, зимними метелями и студеными морозами, со многими людьми, с которыми пришлось встретиться в жизни, их голоса и интонации, разговоры, беседы, шутки; вся жизнь — с бедами, несчастьями, с радостями, с днями войны и мира.

Если воображение можно считать котлом для переработки жизненной руды, для ее обогащения и переплавки, то память следует назвать аккумулятором, в котором заготавливается и хранится весь жизненный материал. Без аккумулятора памяти — котел воображения работать не может.

— Какая у него замечательная память! Возьмем «Просвет в тучах». Чего он только не помнит — каждый камень мостовой, фонари, где какой дом стоял, если описывает дом, помнит, какая в нем была лестница, окна, все вывески и городовых — до последней пуговицы... А ведь сколько с тех пор времени прошло! А он помнит все! Что за поразительная память!

Собеседник мой всего минут пять назад фамильярно именовал Андрея Упита «стариком Андреем». Теперь его глаза восторженно блестели. Столяр-пенсионер, уверявший, что знаком со всеми на свете, говорил об авторе «Просвета в тучах» с глубоким почтением, искренним изумлением и, поражаясь, покачивал головой.

Я хорошо знал, что мой знакомый больше склонен к скепсису, чем к восторгам.

Он любил пофилософствовать, произносить длинные речи и поддразнить собеседников, задавая щекотливые вопросы. Если вопрос был особенно занозистый, мой знакомый, широко открыв рот, громко смеялся и говорил:

— Меня вокруг пальца не обведешь! Нет, голубчики, я кое-что в жизни повидал! Ага, ясно — не на таковского напал!

И, выйдя на пенсию, он время от времени брался помочь исправить расшатавшийся стул или сбить книжную полку. Принимая работу, мой знакомый больше всего любил выспрашивать о последних событиях и обо всем высказать свой приговор. Тогда не только Андрея Упита, но и всех писателей он называл по имени, прибавляя какой-

нибудь эпитет,— например: мой старый друг Ян, этот увалень имярек... и т. д., и т. д.

— Нет порядка, нет! — этими словами по большей части начинались все его приговоры.

И вот вдруг — это неподдельное восхищение Андреем Упитом, памятью Упита!

Его глаза блестели, щеки зарделись.

В голосе слышалось не только изумление и восхищение, но даже что-то от зависти.

Тогда я вспомнил Андрея Упита в год, когда он писал «Просвет в тучах».

В моей книге я уже рассказывал об этом. Все же надо сказать еще несколько слов.

Всякий раз, когда я приходил к Андрею Упиту за очередной частью рукописи, писатель сидел за письменным столом. Да, и об этом я уже рассказывал. На столе перед ним — большой, наполовину или на четверть исписанный лист.

Продолговатая комната по стенам вся опоясана книжными полками.

Свободным оставался только промежуток слева от письменного стола, там, где находилось окно. В окно было видно массивное здание Совета Министров, часть улицы Ленина, уходящая к Старой Риге, православный собор на другой стороне улицы и щетина оголенных деревьев на бульваре Коммунаров. По серым дорожкам тротуаров с белой каймой снега по краям во все стороны спешили прохожие...

На столе писателя — никаких справочных материалов, только этот белый лист. Каждый раз, читая очередную часть рукописи, я чуть не вздрагивал от поразительно достоверных картин жизни последней четверти прошлого века, которые вставали перед глазами во всех подробностях, — с кораблями на Даугаве, с упругим ветром над рекой, с деревянными домиками, собраниями общества Ионатана, с трактиром, в котором сидел Вейденбаум, со скандалами в «Мамуле», со стуком подков извозчичьих лошадей по булыжной мостовой, со всем, что не могло быть просто откуда-то срисовано, но все же возникало на страницах рукописи столь поразительно рельефно, реально, как сама жизнь. Впрямь хотелось еще раз пристальней глянуть на стол писателя, осмотреть комнату, поискать — откуда все это взялось? Трудно поверить, но так оно и есть, этот большой мир, — с кораблями на Даугаве,

с улицами, с Яном Райнисом и Петром Стучкой — явился из глубины памяти! От богатств точной памяти Андрея Упита, которая впитала в себя все. Как земля впитывает и вешние воды, и тяжелые потоки дождя, и утреннюю росу.

Только что, в предыдущей главе, послушный диктату памяти, я вынужден был вернуться к давним событиям и рассказать о нашем запасном полке и о том, как мы ехали на фронт...

Как, каким образом события откладываются в запасниках памяти, а потом годы спустя снова являются на свет?

Кажется, что здесь тоже большую роль играют различные подробности, детали, которые помогают событиям впитаться в память и закрепиться в ней, а потом, когда нужно, помогают вновь всему ожить.

Так, прощание с умершим А. М. Горьким возникает в моей памяти с той минуты, когда на углу нынешней площади Пушкина в коричневом, прилепившемся к стене дома киоске я купил очередной номер журнала «Красная новь».

Там, где теперь стоит кинотеатр «Россия», за высокой красноватой кирпичной стеной возвышались постройки Страстного монастыря с колокольней ближе к левой стороне.

Кинотеатр «Ша нуар» на другой стороне площади, кажется, был уже переименован в «Центральный».

Дорога к Дому Союзов, где проходило прощание с А. М. Горьким, начиналась именно отсюда, от киоска на углу Тверской (ныне улице Горького) и площади Пушкина. Очередь шла в два ряда, по тротуару, вплотную к стенам домов, а потом на углу Большой Дмитровки (опять приходится объяснять — нынешней улицы Пушкина), свернув по ней вниз, разлилась на всю улицу, от края и до края, так что и не пробиться. Эта людская река медленно, очень медленно текла вниз. Когда можно было глянуть через чье-то плечо, куда только достигал взгляд, до угла ближайшей улицы и дальше, еще и еще, до самого конца,— двигались, колыхались тысячи и тысячи голов, плеч, кепок, косынок... Уже не река, целое море.

Да, множество кепок и простоволосых голов, косынки и опять чьи-то растрепавшиеся на ветру в толчее шевелюры.

Вся эта медленно двигающаяся масса была одета очень просто, как обычно одевались москвичи в те годы,

когда об одежде не очень думали,— в сорочках с распахнутыми воротами и с подкатанными рукавами, в спортивных майках, в мятых пиджаках, женщины в дешевеньких блузках и юбках или в ситцевых платьях, некоторые с полными хозяйственными сумками да еще с ребенком рядом.

Конечно, в тот день проститься с А. М. Горьким шли и делегации и группы от заводов и учреждений.

Но эту запруженную от края и до края улицу —я видел собственными глазами — заполонили те, кто сами пришли прощаться, стали в конце очереди и медленно, шаг за шагом, долгие часы подряд, вначале спокойно, потом в толчее, двигались вместе с другими к Дому Союзов.

Где-то рядом со мной, то слева, то справа, то за спиной, шла распаренная, красная женщина с туго набитой авоськой в руке, за другую руку цеплялась маленькая девочка.

— Ох! — вздыхала женщина время от времени.— Как же так?! Ой! Держись за руку, а то раздавят! — прикрикнула она на ребенка.

— Пока не поздно, вам с ребенком лучше выбраться отсюда, — советовал ей то один, то другой из рядом идущих и кивал на переулок, где протянулись цепочки пеших и конных милиционеров: — Пробейтесь туда, они вас пропустят.

— Нет,— качала головой женщина,— я должна дойти...

Ее девочка в желтом ситцевом платьице тоже оказалась терпеливой, кажется запищала разок, но, когда мать ее отчитала, она понурила голову и не проронила больше ни звука.

На полпути я оглянулся и увидел, что и за нами, до самого начала улицы и еще дальше, текла людская река, поток не иссякал,— напротив, он разлился шире, вплотную к домам, словно омывая каменистый берег.

Как, почему, откуда взялся этот поток? Почему сотни тысяч людей шли и шли, никем не понуждаемые, становились в очередь и ждали долгие часы, чтобы попасть в Колонный зал, к гробу писателя Максима Горького? Такое большое значение имело все, что он сказал, написал, его книги, такой большой отклик они нашли...

Или дело в том, что Горький впитал в себя весь век с его суровостью, борьбой и сумел все это выразить? Или дело в том, что он был вместе с этими тысячами в минуты

решающих битв? Как случилось, что его искусство стало огромной общественной силой?

Эти и еще другие вопросы я задаю себе сегодня, в воспоминаниях вернувшись в то далекое утро, на переполненную народом улицу.

Тогда я ни о чем таком не думал, не спрашивал.

Просто само собой разумелось, что надо пойти попрощаться с Горьким, и я без раздумий стал в очередь. Хотя, надо признаться, я вместе с тем кое-чем рисковал, ибо именно тогда никак не мог терять времени. Окончив краткосрочные курсы по подготовке в вуз, я как раз сдавал экстерном экзамены за среднюю школу. Провал хотя бы по одному предмету мог сорвать мои планы. Все могло рухнуть — поступление в институт, дальнейшая работа. После семилетки я три года проработал на заводе и в год должен был нагнать пропущенное за три класса, и эти экзамены давались мне трудно. В общем, было безрассудно становиться в бесконечную очередь, жертвовать по меньшей мере несколькими часами. Могло статься, что через два дня, на очередном экзамене, придется жестоко за это поплатиться.

Но все же, купив номер журнала «Красная новь», я стал в очередь.

В журнале была напечатана повесть Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». Теперь она давно признана классикой, а тогда только что вышла в свет.

За три часа, пока мы шли к Дому Союзов, журнал изрядно помялся, но зато я успел прочитать повесть. В толчее, занявшись чтением, я вместе с тем отделался от укоров совести — все же я что-то делаю, и нет причины попрекать себя в том, что теряю даром время.

Между прочим, москвичи в середине тридцатых годов уже привыкли читать и в поездах, и в трамваях, и в недавно открытом метро, и на улицах — сидя на скамейках бульваров или стоя в очередях; поэтому никто не удивлялся, что и здесь, в толпе, я впился в журнал.

Меня толкали и давили, но, обменявшись несколькими словами с кем-то из соседей, я опять принимался за чтение и переносился к берегу Черного моря, вместе с Петей Бачеем и Гавриком Черноиваненко полной грудью вдыхал терпкий влажный морской воздух...

Этот день таким и остался в памяти: залитая, до краев переполненная народом улица, давка, кепки, косынки, женщина с девочкой в желтом ситцевом платьице, мили-

ционеры на коричневых и белых лошадях, измятый журнал в руке, над нами, в проеме между крышами домов, голубое летнее небо.

Но если надо все вспомнить, важно также, чтобы отдельные подробности, с помощью которых в картине прошлого заново возрождаются очертания лиц, краски, общие контуры происходившего, тем самым воскрешали бы и атмосферу времени, заставили бы заново зазвучать все то, что тогда было значительно. Чем я в то время жил? О чем думал? Конечно, о совершенно практических вещах: об экзаменах, о том, где дальше буду учиться, что буду делать. Но вместе с тем во мне так же, как, по-видимому, и в других, жило и некое общее представление, ощущение всего происходящего. После трудных лет первой пятилетки и первой половины второй — мы как будто вступили в новую полосу. Были отменены продовольственные карточки. Был опубликован проект новой Конституции, его обсуждали на заводах и в учреждениях. Мы втроем — два замечательных парня с рабфака, Коля Васильев и Костя Фастин, и я — спорили, есть ли в проекте что-то от парламентаризма или нет.

На читательских конференциях в последний год страстно обсуждался роман Николая Островского «Как закалялась сталь».

Проходила проверка и обмен партийных документов. В газетах сообщалось, что в ходе обмена то здесь, то там были разоблачены обманом проникшие в партию, скрывшие свои биографические данные, подделавшие документы.

На экранах уже прошли «Чапаев», «Юность Максима», «Цирк». Песня «Широка страна моя родная», едва прозвучав с экрана, быстро стала популярной — ее пели повсюду, она выражала какую-то частицу нас самих.

Мне казалось, что и в моей жизни, после нескольких лет работы на заводе и в деревне, начинается новый период. Еще шаг, покончу с экзаменами, и тогда — конечно, чуда никакого не случится, но каждый новый день будет иным, более значительным и содержательным.

И не было еще никакого предчувствия того, чему суждено было произойти в ближайшие десять лет.

В начале лета — весть о смерти Максима Горького.

Потом этот длинный день и долгий путь до Дома Союзов.

...У самого здания улицу перегородила милицейская цепь, как дамба сдерживая напор огромного потока и

вводя его в узкий проход, куда впускали по одному. И вот мы у двери.

Медленно поднимались мы по узенькой лестнице запасного входа. Навстречу нам так же медленно, может еще медленней, торжественно и леденяще плыл траурный марш.

Весь дом — один траурный марш.

Посередине зала — возвышение, на нем — гроб. В гробу— Горький.

Худощавое, желтоватое лицо со впалыми щеками. Усы. Больше ничего нельзя разглядеть, только это по многим фотографиям с детства знакомое лицо.

Невидимые прожекторы освещают гроб, Горького, венки.

Мы по двое полукругом шли мимо возвышения к другому концу зала.

Оглянувшись, я увидел, как из рядов вышел не старый, лет тридцати, человек (тогда у меня, правда, о молодости и старости были совсем иные представления), в темном костюме, высокий. Сделав шагов десять к возвышению, он остановился и, подняв руку, издали перекрестил покойного, потом перекрестился сам и, опустив голову, еще минуту постоял.

Пораженный, я еще раз оглянулся.

Первая мысль: наверное, хорошо, что и такие люди идут проститься с Горьким.

Тотчас мелькнула другая мысль: а действительно ли хорошо? Нет, все же, наверное, хорошо, что чтят его. Но Горький (каждая его строка, каждое слово!) — это кипучий, страстный, неукротимый гнев ко всему темному, ко всему, что порабощает человека и его душу, ко всему старому, что давит человека и опустошает его! Значит, из жизни не выжжено еще все старое, что с такой силой ненавидел, с чем неустанно боролся Горький?

Я бросил еще взгляд назад, теперь только на Горького, на его усы и впавшие щеки, чтобы все это запомнить.

После большого сумеречного зала и полутемной лестницы светлый день ослепил своим блеском и синевой. Но я еще как будто шел мимо гроба, был в том зале, во власти траурного марша. Глянул в сторону Большой Дмитровки — она так же, как несколько часов назад, насколько хватал взгляд, была запружена бурлящим людским потоком. Люди шли и шли проститься с Горьким...

Да, вместе с подробностями, деталями в память входит и все большое, решающие мгновения, сама эпоха.

Память, как страж, стоит на дорогах жизни.

В ней должно сохраняться все. Так же, как в совести.

КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?

(Продолжение)

А что, если проделать небольшой опыт — попробовать на двух или трех страницах набросать портрет знакомого, и не просто черты лица, но так, чтобы, читая, был виден живой человек со всеми его особенностями?

В работе литератора лепка характера всегда имела и, очевидно, будет иметь и впредь громадное значение.

Среди многих секретов нашего ремесла именно об этом секрете приходится думать, пожалуй, больше всего.

На минуту опять вернемся к Диккенсу. Сегодня в манере английского романиста прошлого века кое-что может, несомненно, показаться устаревшим. Но пусть это не мешает нам всмотреться в его приемы создания характеров.

Бывает, что Диккенс, рисуя какой-нибудь образ, в основу его кладет взятый прямо из жизни прототип. Но из многих привычек, особенностей, которыми обрастает любой человек (так же, как днище судна, бороздя моря, обрастает водорослями и ракушками), автор «Давида Копперфильда» выделяет одну или две наиболее характерные или любопытные, непривычные черточки, нарочито их заостряет, преувеличивает, и в результате перед нами возникает оригинальный, своеобразный человек со своим неповторимым обликом и характером. Вспомним хотя бы миссис Никклби с ее вечными сентенциями и самодовольством, Урию Гипа, сестру мистера Домби, которая всех высокомерно поучала,— необходимо сделать усилие, только так можно приблизиться к идеалу...

М. Шолохов в своих интервью по вопросам творчества не раз повторял: в каждом человеке скрыта какая-то особенность, «чудинка», надо суметь ее подметить и показать. «Чудинка» обрастает другими характерными черточками, и возникает живой человек из плоти и крови.

В процессе обогащения руды, как известно, к сырью, добытому под землей, вовсе ничего не добавляется.

Наоборот: руду обогащают, отделяя лишние, ненужные примеси, чтобы в плавку она пошла более чистой и металл потом был лучше.

Так и добытые из глубин жизни «полезные ископаемые» — отысканные в кипении действительности характеры — «обогащают» в котле воображения, выделяя одну или несколько ярких черт, и этим открывают их другим, лепя для всех видимые, осязаемые образы...

...Написав эти слова о выделении одной или нескольких черт с тем, чтобы сделать подсмотренные в жизни характеры легче видимыми и другим, я еще раз перечитал свои строчки. Выраженный в одной фразе такой «прием» кажется очень простым, легко применимым. Что тут такого — подумай, прикинь, какие черточки выделить, и все будет в порядке. А если не получится, то просто в чем-то просчитался.

На деле тут не могут помочь никакие подсчеты — ни арифметика, ни алгебра. В скобках заметим — поэтому никакие счетные машины никогда не смогут заменить творчество человека. Чтобы справиться с этим «обогащением» характера, как уже было сказано, писатель должен на время с помощью воображения «влезть» в кожу изображаемого лица, должен сам до последней жилочки прочувствовать каждого своего героя, говорить его голосом. И все это — сидя за письменным столом или шагая по комнате; и тотчас родившееся в тебе надо перенести на бумагу, словами, которым по силам созданное воображением передать другим, заставить и их все видеть и пережить. В такой работе — подсчеты ни при чем. Пущенное в ход воображение работает все интенсивнее, перед глазами все оживает. Через мозг и сердце проходит что-то подобное току высокого напряжения. И жить в этом напряжении приходится часами. Голова устала, но именно теперь вокруг тебя живут разные люди, они обступают, двигаются, уже наперед известно, кто, что и как скажет, хорошо слышны их голоса, каждая интонация, неожиданный смех, паузы, разговоры. Пальцы — держат ли они ручку или лежат на клавишах пишущей машинки — не поспевают за быстрой работой воображения. Вот она, та высокая температура плавки, при которой и происходит выделение некоторых черт характера для создания образа. Рождается то горенье, пламя, в котором руда действительности переплавляется в создание искусства, этот жаркий огонь опаляет и самого творца.

Хорошо известен рассказ Марии Федоровны Андреевой о Максиме Горьком: писатель работал над «Жизнью Матвея Кожемякина»; однажды со второго этажа, где находился его кабинет, послышался странный шум. М. Ф. Андреева вбежала наверх и нашла М. Горького лежащим на полу без сознания. Очнувшись, писатель, поднимаясь, тяжело вздохнул и сказал: «Если бы ты знала, как это больно, когда со всей силы всаживают нож в печень. Это страшная боль!» Он работал над сценой, в которой один из героев убивал другого.

Да, простой прием в лаборатории литературной техники,— чтобы создать характер, надо выделить несколько ярких черточек. Но едва мы поглубже всмотримся в этот прием, как оказывается — он требует очень многого...

Чтобы выполнить задачу совсем другого рода и из различных отрывочных впечатлений, мелких подробностей, из пережитого самим и рассказанного другими, при помощи прямых и косвенных свидетельств реконструировать широкую и реалистическую картину действительности — надо также все накопленное отдать воображению, чтобы оно переплавило жизненный исходный материал своим высоким напряжением.

Кажется, и то, что называется вдохновением, рождается тогда, когда воображение вольно и свободно работает во всю силу. Вдохновение — это, наверное, такое состояние полной отдачи воображения, когда слова рождаются будто сами по себе и каждый образ начинает жить с полной самостоятельностью, когда... Да, тогда действительно происходит настоящее — настоящее и простое — чудо творчества.

Но вдохновение начинает жить и вспыхивает ярко, только когда работаешь. Оказывается, каждое утро надо вновь искать путь к его источникам — прежде всего оживив в памяти написанное и пережитое накануне, с усилием включая воображение, заново завязав разговор с героями, постепенно влезая в их кожу, преодолевая сопротивление мозга. Мозг хорошо знает, какого напряжения требуют счастливые минуты вдохновения; он с избытком на себе прочувствовал это воздействие тока высокого напряжения и инстинктивно стремится уклониться от ожидающей его нагрузки или, по возможности, отодвинуть нача-

ло работы. Руки шарят по столу,— запропастилась какая-то бумажонка, можно было бы обойтись и без нее, но что-то заставляет ее искать. Если не найду листок — ничего с работой не выйдет! Пересматриваешь папки, останавливаешься на нечаянно прочитанной фразе — попалась интересная запись... Так и не удается найти злополучную бумажку. Начало работы еще и еще оттягивают всякие мелочи. Надо продираться сквозь них, как сквозь густой кустарник, надо перебороть самого себя, взять в руки две написанные накануне страницы, прочитать их.

Постепенно перед тобой встает то, о чем пишешь. Пробиваются какие-то сказанные героем слова, его голос. Удалось вырваться из плена повседневных мелочей. Воображение заработало. Сначала медленно, как застоявшийся мотор, со стуком, потом разгоняется сильнее, перед глазами снова задвигался, зашевелился, ожил мир твоих героев, который накануне, застыв, остановился, как на оборванной киноленте. Теперь надо написать первую фразу этого нового дня. Она никак не желает явиться...

Литературоведы заметили, что Лев Толстой часто начинает свои книги не с главной, а с побочных линий, с героев второго или даже третьего плана. Вместе с тем повествование приобретает широту, вырывается за пределы одного сюжета, и естественно складывается всесторонняя, обросшая реальными жизненными подробностями, объемная картина действительности, герои включаются в круг самых различных, характерных для общества отношений, живут настоящей, богатой самыми сложными поворотами жизнью. Писателю оказывается под силу охватить всю действительность — неразрешимые конфликты, человеческие судьбы, столкновения целых общественных слоев.

При чтении одной литературоведческой книги мой взгляд остановился именно на этом выводе. Я его перечел. Наверное, и взгляд тут задержался и перечел я еще раз потому, что нашел что-то сродни собственным размышлениям.

В самом деле — «Анна Каренина» начинается не с эпизодов, связанных непосредственно с героиней, а с событий в семье Облонских: «Все смешалось в доме Облонских». Мы все помним эту фразу. Потом читатель встречается с Левиным, знакомится с проблемами его жизни,

и только затем постепенно мы начинаем приближаться к Анне. Таким образом, увеличительное стекло художественного исследования как бы скользит по ряду лиц, групп, под него попадает все общество. Все оно — в кругу зрения писателя. Первые главы «Войны и мира» также рассказывают об очередном званом вечере Анны Шерер, а с Пьером Безуховым и Андреем Болконским мы знакомимся попозже, выслушав разговоры в салоне фрейлины...

Проблема начала перерастает в проблему освещения, правильного высвечивания материала действительности. Чрезвычайно важным оказывается найти точку, с которой обозреваются жизненные события, найти, с какой стороны начать их исследование. И речь уже идет не только о литературной технике, о том или другом художественном приеме, а о самой сути творчества.

Мои заметки с каждой страницей становятся как будто все отрывочней. Возможно, что иногда я возвращаюсь к тому, о чем рассказывал раньше. Но и в самой работе литератора происходит нечто сходное — мысли то и дело возвращаются к тому, над чем думал не раз, ибо день ото дня сталкиваешься все с теми же трудностями и вечно надо искать, как строить повествование, и какие-то догадки, бывает, вспыхивают на миг, и потому на бумагу ложатся как короткие, иногда — бессвязные, заметки, которые позже только с трудом поддаются расшифровке.

Как высветить, раскрыть отдельные жизненные события, факты так, чтобы одновременно воспроизвести и правдивую панораму жизни и добыть из недр действительности то, что другие еще не сумели увидеть?..

Зерно известной повести Сергея Антонова «Аленка», в сущности, составляет рассказ о гибели молодой девушки на второй день после ее приезда на целину. Упав с лошади, она тонет, так и не успев ничего толком сделать. Но трагический случай возникает перед читателем вписанным в общую мозаику жизни целинного совхоза,— посадив людей с различными судьбами в грузовик, едущий по степи к ближайшей железнодорожной станции, писатель свободно набрасывает эпизод за эпизодом: живописные зарисовки степной природы перемежаются историями из жизни совхоза, в которых хроника будней вновь

осваиваемых земель закреплена в колоритных сценах и деталях. Нанизав эти истории одну на другую, вылепив несколько характерных фигур, С. Антонов, смотря на степной простор глазами маленькой школьницы Аленки, придает веренице пестрых картин ценность и значение впервые увиденного, только что открытого. И тогда-то в эту симфонию вводится трагический рассказ о гибели молодой девушки, который естественно и просто становится в ряд с другими, в то же время изменяя и их звучание, открывает жизнь в ее подлинной суровости и драматизме и помогает исследовать действительность именно такой, какая она есть,— богатой противоречиями и контрастами.

Так, во всяком случае, я воспринял повесть Сергея Антонова. Всякий раз, вспоминая «Аленку», я вижу необъятные целинные просторы (едешь и едешь, а до станции все равно остаются те же двести сорок километров!), вдыхаю пряные запахи осенней степи, запахи увядших и выгоревших на солнце трав, слышу тоненький, чистый голосок Аленки, замерев от боли и горечи, слушаю рассказ матери о гибели ее дочери и ясно, очень ясно вижу и понимаю всю эту жизнь.

Для литературы, литератора, художника — взятая из жизни история может стать чем-то вроде следа, идя по которому ты обязан раскрыть, всесторонне высветить саму действительность. Примерно так, наверное, можно это сформулировать. В каждом событии скрыт какой-то конфликт, частица действительности. Мир богат множеством историй, и каждый день в нем происходят тысячи и тысячи неповторимых, своеобразных, сложных событий, никем не описанных. Если о них ничего не рассказано, то неоткрытыми остаются целые уголки жизни. Ни словом не упомянутыми, неосвещенными останутся сложные, важные, трудноразрешимые конфликты...

Долги? Все-таки приходится опять вспомнить слово — долги. Как много осталось нерассказанных своеобразных повестей, жизненных историй, от исследования которых мы уклонились, которые не сумели открыть другим, тем самым обкрадывая самих себя и оставляя за пределами искусства очень важные жизненные проблемы. Наверняка можно сказать, что в каждом сложном событии, конфликте, стянутые в тугой узел, скрыты реальные противоречия действительности, противоречия в социальных

отношениях, углубляясь в которые можно открыть, освоить не одно белое пятно на обширной карте эпохи.

Очевидно, многие секреты мастерства как раз и связаны с умением развить взятые из жизни истории до полного реалистического раскрытия действительности своего времени. «Если Вам случится услышать какой-нибудь интересный анекдот, историю, бога ради, сообщите мне ее!» — с такой просьбой частенько обращался к своим знакомым Гоголь. Из анекдотического случая с потерей бедным чиновником нового ружья родилась повесть «Шинель», из которой, по словам Достоевского, вышла вся позднейшая русская литература.

...Да, много накопилось таких нерассказанных, сложных жизненных историй, которые, когда впервые их услыхал или увидел, откладывались на будущее — тогда, мол, можно будет их описать. А какие-то из них вообще казались непригодными для художественного произведения и так и остались ненаписанными.

Одна такая история.

Ее рассказал мне пожилой народный судья. Он в ту минуту как раз писал решение по скучному гражданскому делу; насколько помню, истец хотел получить возмещение за покалеченную лошадь, которая, рысью спускаясь с холмистой улички Задвинья, наскочила на автомашину. Мы, два народных заседателя, вместе с судьей решили отклонить иск. И председательствующий принялся излагать на бумаге наше резюме. Но каждые несколько минут он прерывал свое занятие, откладывал в сторону ручку, чтобы, довольно улыбаясь, пересказать какой-то эпизод из своей практики.

Рассказывал он медленно, повторяясь и останавливаясь на мелочах, считая их, по-видимому, чрезвычайно важными и поучительными. Но, быть может, я ошибаюсь, и он упоминал все эти мелочи просто как все старые люди, привыкшие медленно разматывать клубок своих воспоминаний.

— Больше всего не люблю писанину,— судья пальцем ткнул в начатую страницу.— Но ничего не поделаешь, в суде все должно быть в порядке. До последней мелочи! У Луциня — все в порядке! (Он часто говорил о себе в третьем лице.) Пусть какая хочешь комиссия приходит, под Луциня не подкопаешься!

Он вывел еще несколько слов, снова поднял голову. Свет настольной лампы падал на его худое лицо. Оно каза-

лось серым, с желтоватыми пятнами на скулах и вокруг глаз. Бесцветные брови, губы бескровные. На Луцине поношенный серый пиджак с потрепанными краями рукавов.

— К примеру, такой случай! — Теперь ручка с пристуком была отложена в сторону на длительное время.— Молоденькая девушка, всего восемнадцати лет, заключила договор — поехать на Север, на лесозаготовки. И поехала. Но на третий или четвертый день работы свалилась с воспалением легких. Ее отправили в больницу. На ноги стала месяца через полтора. Вернулась в лес, в свою бригаду. Что условия жизни там не из легких, нам известно. К тому же девушка осталась без гроша в кармане — пособие по болезни ей не полагалось, она только что начала работать... Подруги из бригады посоветовали: нечего тебе тут мучиться, выход один — поезжай домой. Собрали ей и деньги на дорогу до Риги. В конторе хоть и не могли ничего обещать, но могли и помочь,— паспорт все же не выдали. Вечером девушки снова сбились в кучку и порешили: велика ли важность — пусть едет так, без паспорта, на месте все уладится...

Луцинь, коротко, чисто конспективно, изложив начало истории, перейдя к эпизодам, свидетелем которых сам был, оживился, стал махать руками и блестящими глазами глядел то на меня, то на второго слушателя, словно требуя от нас прямо выраженного одобрения своих поступков. Следуя за быстрыми движениями его небольшой фигурки, на стене колыхалась большая, длинная тень, иногда вырастая до самого потолка.

— И вот в один прекрасный день милиция привела ее сюда, в народный суд, к Луциню. «Нет,— говорит Луцинь,— я не стану ее судить. Для суда тут причин нет, надо помочь девушке, а не судить». И отправил им назад все материалы. Представьте себе — только девушка приехала из леспромхоза домой (она жила вдвоем с матерью), в дверь стучит милиционер, составляет протокол о нарушении паспортного режима и требует, чтобы она дала подписку — в двадцать четыре часа должна уехать из города. А девушке-то некуда было ехать — здесь она жила с самого рождения, здесь была раньше прописана. Теперь милиция ее не прописывает. Проходит два дня — милиционер тут как тут, составляет новый протокол...

...Спустя какое-то время леспромхоз прислал ей по почте паспорт. Нарушительница паспортного режима побежала в милицию, надеясь наконец прописаться. Но в ми-

лиции у нее отобрали паспорт,— мол, считается аннулированным. Тут же, на месте, был составлен еще один протокол и взята еще одна подписка-предупреждение — в двадцать четыре часа должна выехать из города.

После этого ее вторично привели в суд. «Привели к Луциню»,— наморщив лоб, серьезно сказал судья.

— Тут она у меня стояла,— как истый поборник точности, Луцинь пальцем указал на середину комнаты.— Стояла и просила, чтоб я приговорил ее к тюремному заключению. Она отсидит свое в тюрьме, зато получит паспорт. «Посадите меня,— кусая губы, молила она. Угловатая такая, костлявая девушка в коричневом свитере, щеки в веснушках.— У меня,— сказала она,— нет другого выхода. Я и в комсомоле была», — добавила она.

Я приговорил ее к одному дню тюремного заключения,— закончил свой рассказ Луцинь.— Отдал ей приговор, сказал: «Иди в тюрьму». Через час она снова тут как тут. Начальник тюрьмы не принимает ее. Ладно, Луцинь знает, что делать. Луцинь вызывает милиционера, вручает ему приговор и велит отвести девушку в тюрьму. Милиционер недоуменно пожимает плечами. А я ему говорю: «Не жмись. Луцинь во время войны в военном трибунале работал, и если что говорит, то так оно и есть, так будет правильно». Девушка отсидела один день в тюрьме, затем ей, как отбывшей заключение, выдали новый паспорт, а неделю спустя прописали по старому месту жительства.

Под вечер, вернувшись домой, я поторопился записать рассказ судьи, но помню эту историю до последней мелочи и без записной книжки. Невольно подумалось: очевидно, почти каждый, кому во время этой одиссеи приходилось встречаться с ее героиней, не раз, по крайней мере в разговоре с друзьями, повторял слова о том, что все надо делать для блага человека. Почему же девушке, оказавшейся в беде, помогли только подружки по общежитию и старый судья? Ведь в этом случае все, кто был рядом, обязаны были вмешаться, протянуть руку помощи, и тогда не было бы этой постыдной истории.

Еще я думал о том, есть ли место в литературе для такого случая? Повстречавшись с тем или иным необычайным происшествием, мы частенько говорим — нетипично. Но, произнося такие слова, мы тем самым с легкостью отбрасываем в сторону и сам факт, не считаем его больше достойным внимания. Но в задачу литературы

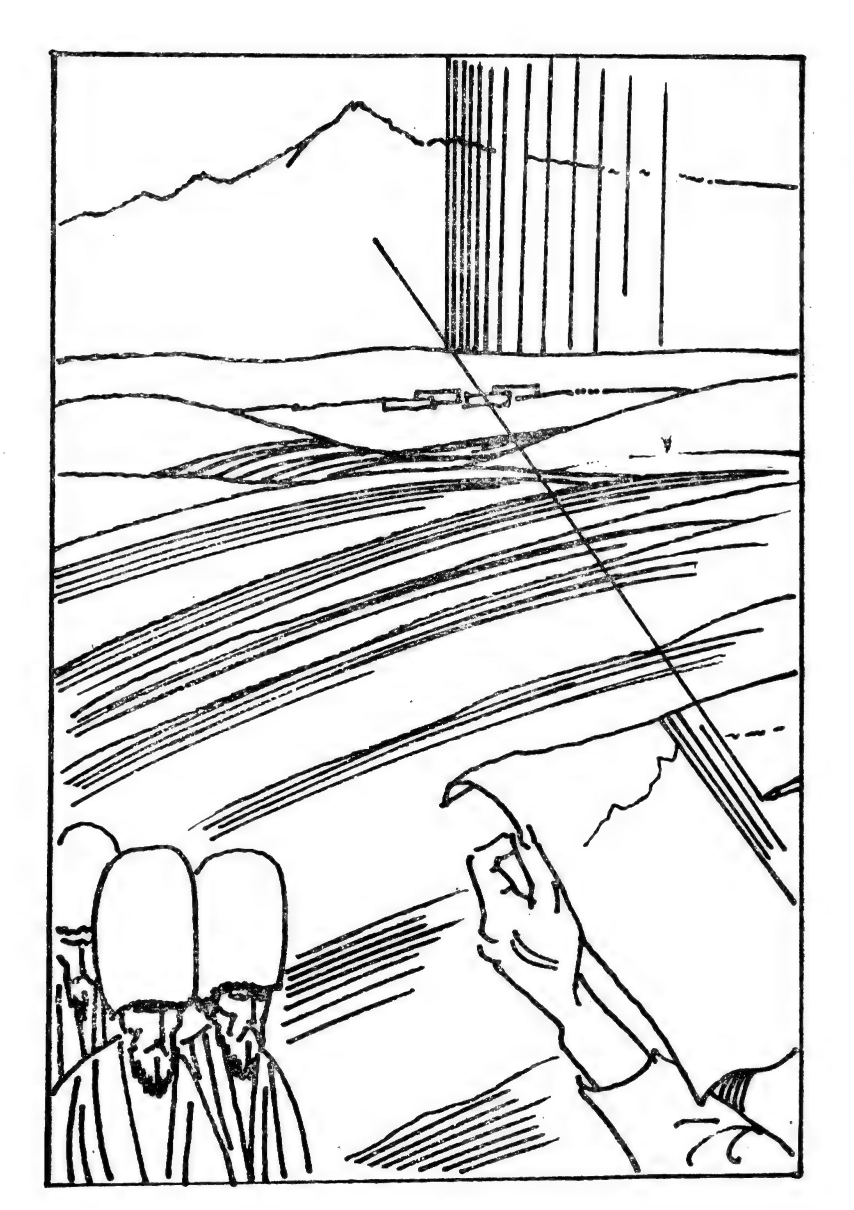
входит и обращение к явлениям, которых не должно быть в наших условиях. Пожалуй, можно сказать, что они являются характерными именно потому, что им не должно быть места в нашем обществе. Странные, вроде бы совсем необычные случаи? О них еще не писали? Как найти правильный подход, по-настоящему правдиво высветить такие факты? Да, многие и многие подобные вопросы изо дня в день встают перед тобой, и, соприкасаясь со сложными явлениями, заранее знаешь, что берешься за тяжелый труд. Но работа литератора всегда была и всегда будет трудной. Ибо она по своей природе — первооткрытие. В исследовании и изображении жизни надо идти не путем повторов, а путем первооткрывателя. Своим путем. Художественное творчество не должно быть повторением, изложением уже открытого другими. И поэтому надо вгрызаться в недра, в глубины самых разных случаев, историй и, применяя все выразительные средства, анализировать сложные явления и неустанно искать новые приемы, новый, свежий подход, новые слова...

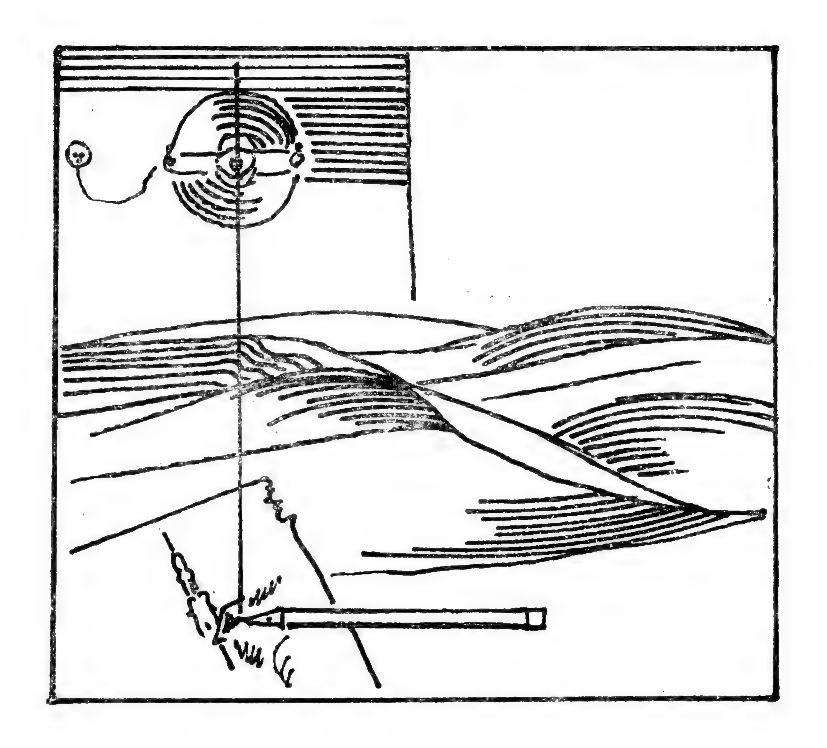
Начиная эту главу, выводя под ее названием слово «Продолжение», я подумал: быть может, следует написать рядом: «и окончание». Но — какое здесь может быть окончание, если сама по себе литературная работа предполагает новые и новые раздумья, поиски, попытки писать так, как никто еще не писал? И на вопрос, как вы это делаете, как пишете, ответить следует, очевидно, так: завтра снова придется начать поиск, опять надо будет собираться в дорогу — за Синей птицей.

Написаны последние строчки этой книги. Но все равно еще не раз придется просматривать и править рукопись, и трудно сказать, когда полностью будет завершена работа над ней. Нельзя также точно назвать минуту, когда можно заявить — книга закончена. А в мыслях и в сердце теснятся уже другие образы, люди из новой книги. Надо думать о них, с ними — разговаривать, спорить, и, наверное, поэтому не остается времени, чтобы порадоваться тому, что все-таки дописана эта последняя страница. Герои будущей книги кажутся интересными, самобытными, способными увлечь и тебя и других. Так что, наверное, хорошо, что нет от них покоя. С ними вместе придется прожить много долгих дней, недель, месяцев, быть может — лет.

Чаша весов







1

Мы принимали у себя в Союзе писателей в Риге на улице Кришьяна Барона иностранную делегацию.

Что это за делегация, мы не знали. Было только известно, что на прием отпущены средства, что в пять часов вечера надо быть на месте и что среди гостей есть титулованные лица.

Делегация запаздывала, и за это время знакомый корреспондент Латвийского телеграфного агентства просветил нас: делегацию возглавляет сенатор, с ним его супруга и несколько литераторов. Сенатор и его жена говорят по-русски.

Наконец гости явились.

Как главу делегации нам представили одетого в черную тройку, высокого, седовласого старика.

Он заговорил с нами по-русски.

Его жена — большеротая, полная — азартно курила сигареты. Все время вертясь, словоохотливо рассказывала, что они были на приеме в Верховном Совете, их так накормили, о еде и думать больше не могут...

Однако пришлось, как на приемах положено, сесть за накрытый стол.

В таких случаях за столом как-то легче беседуется.

Мы сидели в небольшом круглом зале, стены которого были обиты серебристо-белым шелком в розовых крапинках.

Над столом нависла большая люстра из венецианского стекла. Будь с нами простые люди, я показал бы на эту редкость и стал бы рассказывать о доме, в котором мы находились. Сказал бы, что богатый этот особняк до сорокового года, до советской власти, был собственностью газетного короля Латвии Беньямина. Упомянул бы, что о венецианском стекле читал я только в романах, а вот здесь — увидел его и что вообще многое в этом доме напоминает читанные некогда романы. Например, то, что мы можем увидеть на красочном многоцветном витраже в соседней комнате: пурпурно-красные, голубые, желтые стекла ярко горят посреди темной стены, светлое пятно возникает в полумраке и в этом пятне — три ясно очерченные женские фигуры в латышских национальных костюмах, с широкими юбками, с чепчиками на головах; лица всех трех — слепок с одной женщины, женщина эта — Эмилия Беньямин, супруга газетного короля и совладелица его изданий. Еще я не преминул бы сказать, что в большом кабинете, ныне комнате правления нашего союза, стоит резной дубовый книжный шкаф во всю стену; когда это чудо, сделанное по заказу той же Эмилии Беньямин, доставили в дом, она, рассказывают, тут же распорядилась купить — на метры — достаточное количество книг в роскошных переплетах, с золотыми тиснениями на корешках и поставить их в новый шкаф. Не правда ли, это напоминает какие-то страницы некогда читанных романов? В той же комнате над камином висела картина. Когда после войны Союз писателей стал хозяином особняка, пришел художник и сказал, что Эмилия Беньямин (да, опять она!) выплатила ему только аванс и он желал бы получить от новых хозяев недостающую сумму или взять картину обратно. Союз вернул художнику его творение.

А лет десять назад, когда в доме делали капитальный ремонт и в соседнем зале со стен для чистки сняли шелковые обои, под ними обнаружился сплошной слой газет, той же «Яунакас зиняс», издания Беньямина. Многочисленные объявления о поисках работы, брачные объявления, заполонившие целые страницы, сенсации — убийства, грабежи, отравления — ринулись на нас. Латвия двадцать девятого года корпусом и петитом, жирными заголовками кричала о себе. Были там еще романы с продолжениями — по два романа разом печатала газета, один приключенческий, другой любовный, но трудно было по стенам собрать разрозненные обрывки хотя бы одного; к тому же газеты иногда были наклеены вверх ногами. А объявления повсюду прямо кидались в глаза. Даже казалось, что какие-то другие, давние запахи стали носиться по залу, как будто мы вновь окунулись в те дни, хотя пахло всего лишь старым засохшим клеем и залежавшейся пылью, как на чердаке...

Так мы узнали, что залы эти отделывались, во всяком случае — приводились в порядок, в последний раз примерно в двадцать девятом году...

Но будет ли рассказ об этом интересен нашим гостям?

Я протянул жене сенатора вазочку с конфетами — вперемешку там лежали «Мишки», «Белочки», трюфели и еще какие-то аппетитные штучки, завернутые в красные прозрачные бумажки.

— Раз вы от всего отказываетесь, позвольте вам предложить...

Она покосилась на конфеты, неуловимо быстрым движением выхватила две из вазочки и, секунду подержав в воздухе, изящно бросила в открытую сумочку, оказавшуюся у нее на коленях.

— На вынос! — щелкнув затвором сумочки, гостья широко улыбнулась большим своим ртом и тут же, приметив, что сосед ее справа закуривает, деловито осведомилась, какого сорта у него сигареты и не будет ли он настолько любезен... Сам процесс закуривания, видимо, доставлял ей подлинное удовольствие; ее радовало щелканье зажигалки, вспышка маленького колышущегося пламени, и наклонялась она к этому желто-сизоватому язычку, держа сигарету у губ, так, словно совершала какой-то обряд.

Сизые облачка все время кружились над ее прической.

А потом мы с ней заспорили о Есенине.

Но до этого нам пришлось выслушать часовую лекцию одного из членов делегации, редактора журнала, о многовековой истории литературы их страны.

Чтобы поддержать разговор, я через переводчика задал сидящему наискосок поэту вопрос, как у них в поэзии дела с модернизмом и традициями. «Может, услышим что-нибудь любопытное, и в их поэзии, насколько нам известно, большую роль играют устоявшиеся древние формы... По правде сказать, знаем мы обо всем этом очень мало»,— думал я.

— С вашего позволения,— вмешался сенатор,— я переадресую ваш вопрос нашему редактору...

Я удивился: сенатор был само нетерпение, жаждал поскорей задать вопрос, глаза его задорно вспыхнули, он то и дело ерзал на стуле.

— Подождите, подождите, сейчас я ему подкину ваш вопрос... А то он, знаете, редактирует наш журнал и печатает разные модные стихи... Абстракционизм... Я даже на правлении общества говорил...— с перерывами, вызванными тостами и ответом поэта на мой вопрос, раскрасневшись, торопливо шептал мне в ухо сенатор. Вот оно в чем дело, у него с редактором затяжной спор о модернизме, поэзии, еще о чем-то! И очевидно, в вопросах искусства он придерживается очень строгих правил! Сенатор — противник абстракционизма и модернизма! Любопытное явление. — Я его несколько раз серьезно предупреждал, — продолжал он шептать мне в самое ухо.

Сенатору в конце концов удалось прорваться. С дьявольской усмешкой на лице он подсунул редактору коварный вопрос и уселся, очень довольный, красный, победоносно сияющий.

— Посмотрим, что он теперь скажет!

Мы еще не знали, что тем самым выпущен из бутылки джинн и загнать его обратно удастся только через час с чем-то.

Я это понял на двадцатой минуте речи редактора.

Мне показалось, что в своем обзоре развития поэзии он перешел уже к девятнадцатому веку, но не тут-то было! Спустя мгновенье редактор помянул одиннадцатый век, и тогда я увидел, что длинный ряд тягучих столетий, берущих начало где-то в седой древности, отдаляет и меня, и всех нас от конца речи. Мы погрузились в пучину медленно сменяющих друг друга столетий; казалось, они,

эти столетия, застыли в средневековой неподвижности и уже не люстра сияет над нами, а с шипением горят какие-то древние восточные светильники.

У редактора было узкое горбоносое коричневое лицо фанатика. Говорил он размеренно, спокойно, изредка вытирая губы белым платочком, и, пока переводчик излагал очередной абзац его лекции, он сидел неподвижно, с сосредоточенным взглядом темных глаз.

— Дайте мне то маленькое пирожное, оно такое красивое...— тихо пролепетала гостья, пальцем указав на предмет своих вожделений.— Благодарю вас.

Сенатор назвал часовую лекцию редактора блистательной.

Мы сидели молча, не могли опомниться.

— Темп! Темп! — буркнул представитель Общества культурных связей с зарубежными странами.— Нужен тост!

Я принял на себя эту миссию.

— Поэту или писателю, композитору или художнику не обязательно побывать в какой-то стране, чтобы понять ее, ощутить ее дух, ее своеобразие. Прекрасный русский поэт Есенин не был в Иране,— сказал я взволнованно,— но он написал «Персидские мотивы», которые читаешь и думаешь, что они написаны в Тегеране. Но он там не был...

— Есенин был в Иране! — перебила меня жена сенатора.

— Да, я тоже когда-то так думал, но вот...

— А я знаю, что он был в Иране!

Кое-как, стараясь не откликаться на реплики, я добрел до завершающих слов своего тоста: за поэзию, которая проникает в незнаемое и сближает народы. И, глотнув свою порцию коньяка, сел.

— Я сама его видела! — не унималась гостья, тоже поставив на стол рюмочку.— Армянский коньяк самый лучший...

— Есть очень хороший и грузинский.

— Я как раз путешествовала по Ирану, когда Есенин туда приехал... Я видела его...

...Раскаленный воздух пустыни обдал мне лицо, я почувствовал, как ожгло щеки и сперло дыхание. Потом я увидел знойное сияющее небо и бледно-желтые барханы,

раскинувшиеся во всю ширь, безжизненные барханы, барханы...

— Вот тебе дело о контрабанде,— возникший издалека, прозвучал над самым ухом резкий голос Платониды Семеновны.— Попробуй разберись с пришельцами с той стороны!

И их я тоже мгновенно увидел, тех, кого Платонида Семеновна назвала тогда пришельцами. Они сидели в два ряда на длинных скамьях в бурых толстых халатах, понурив головы, держа на коленях громадные мохнатые черные бараньи шапки — тельпеки. Я был уверен, что разберусь с пришельцами, молодой задор подстегивал меня, и в то же время, увидев их сидящими перед собой на скамье, я с тайной робостью и тоской стал вглядываться в эти хмурые лица и даже как будто без особой причины заволновался.

Тревоги и заботы тех дней сызнова входили в меня.

Еще высветлилась картина: крепыш с опасливым, исподлобья взглядом и долговязый белесый парень — по его лицу блуждала легкомысленная улыбка; он медленно говорит по-эстонски, и вслед, отголоском, скрипуче звучат слова перевода:

— Так и шли, и шли, и пришли... Шли в Тегеран, к дяде...

— Что, через весь Иран, Афганистан?

Помнится, душный, тяжелый то был день, казалось, можно взять в ладони жаркий плотный воздух, за окном все было в слепящем солнечном сиянии. Как я тогда силился во что бы то ни стало понять до конца историю с этими двумя!

Воспоминания будоражили и затягивали, не отступали, надо было усилием воли отделаться от них, хотя бы попробовать приостановить их поток...

— Поймите, это точно известно — он не был в Иране...

— Был! Я его видела!

До конца выяснить этот исторический факт нам не удалось — шумно задвигались стулья, вставал сенатор, следом подымались и остальные члены делегации и переводчики.

Через десять минут, распрощавшись с гостями, мы вернулись к столу, там было вдоволь всего: и коньяка,

и каких-то бутербродов, делегация действительно едва прикоснулась к яствам.

— Выпьем еще по рюмочке?

— Ничего, довольно симпатичные люди...

Видение маленького желтого, затерянного в песках поселка возникло перед моими глазами — вот неотвязные воспоминания! Я увидел плоские крыши, множество плоских крыш. Узкие переулки. Идешь по ним — не слышно шагов. Увидел неровные края высоких глинобитных дувалов по обе стороны улочки... Черный водонаборный насос на площади... Неужели все это так прочно засело во мне, что никак не избавиться? Это часть жизни, да, часть жизни, и теперь — уже ясно! — картины эти всегда будут со мной. Стоило только поворошить воспоминания, и они, как наважденье, вынырнули из прошлого...

— Вот я вам расскажу одну историю про Иран или, вернее, о людях с Балтийского моря в Иране и про иранских жандармов...— сказал я.— Вместо завершения спора о Есенине, о том — был он или не был в Иране...

Нахлынули воспоминания. Казалось, то, что всплыло в памяти, подходит к случаю и обязательно нужно обо всем рассказать. Сомкнулись годы и расстояния, чудилось совсем близким давнее.

2

Рассказанную в тот вечер историю я привожу здесь, на этих страницах.

Только теперь, в воспоминаниях, она у меня невольно обрастает новыми подробностями, другими жизненными случаями, обрывками разговоров, чем-то еще, без чего, кажется, никак не обойтись. Встают воспоминания — картина к картине.

Я вновь вижу тот Ашхабад, еще не разрушенный землетрясением: залитые солнцем улицы с маленькими белыми домиками, и белые длинные дувалы, и зеленую густую, темную листву за белыми стенами дувалов. Я стараюсь держаться в скудной, блеклой тени, пробираясь по полуденной, выжженной солнцем улице. Мягкий асфальт тротуара расползается под моими ногами, и зной движется навстречу, и надо прищуриться от яркого света.

По булыжной мостовой тяжело бредут желтые запыленные верблюды, и идущий впереди них туркмен в халате и громадном тельпеке кажется желтым. Желтая пыль вдруг завихрилась по улицам, все-все стало желтым.

Желтые холмы вдали поднимаются над крышами маленьких домиков.

А небо по-прежнему, хотя и поднялся ветер и гонит по лабиринтам проулков и по прямым длинным проспектам из конца в конец густые тучи острого, колючего песка, все так же недвижимо-лазурно.

На прилавках Русского базара в центре города под навесами вздыбились ярко-красные горы помидоров, синевой отливают груды винограда, желтые крупные, длинные дыни прижались друг к другу.

А чуть ступишь в сторону из тени навеса, опять охватывает тебя зноем с головы до ног, кажется, и вздохнуть трудно.

Вижу все это и слышу, как поздно вечером начинает журчать вода в арыках, и легкая прохлада неслышно ползет по краям улиц, ползет и теряется, и опять становится душно, и наклоняешься к крану во дворе, и захватываешь тугую струю воды в ладони, и кидаешь ее в лицо...

И вспоминаю то воскресное утро. Ставни, как всегда, были закрыты, чтобы зной не пробрался в дом. Проснулся я поздно и вышел под навес во дворе умыться. Меня ослепил яркий солнечный день, я на миг остановился, вбирая в себя и зелень двора, и золотые блики солнца, и тишину нерабочего дня.

— Война началась! — крикнул сосед, молодой народный судья Коля Стриганов, стоявший под своим навесом.

— Какая война? — спросил я недоверчиво.

— Бомбили Киев, Севастополь...

— Какая война? В чем дело? — переспросил я.

Тихо, тихо было во дворе, застыли деревья, солнце сияло вовсю.

— Немцы напали. Сегодня ночью...

3

Для меня тот год, начиная с воскресного утра и до ухода в армию следующим летом, был каким-то нелепым, суматошным, тяжелым.

Я просился в армию — меня не брали.

Просился не я один.

Мобилизация у нас, в Средней Азии, не была объявлена.

Война шла далеко, мы не совсем ясно представляли, что там происходит. Сводки с фронтов поражали, как удары тока, заставляли про себя фантазировать о каком-то контрнаступлении, которое вот-вот начнется или начнется с того мига, как ты попадешь на фронт.

Помню утро, когда сообщили о падении Орла. Был введен всевобуч, и, по обыкновению, мы часа за полтора до работы собрались для шагистики, изучения оружия и прочих воинских дел не то на площади, не то на каком-то бульваре. С фонарного столба на нас угрожающе уставилась молчаливая черная труба репродуктора.

— Орел, говорят, сдали,— угрюмо пробубнил народный судья Тугих, медлительный, скуластый, похожий на приодевшегося по случаю праздника деревенского паренька.

К слову сказать, сам он через несколько месяцев был осужден за хулиганство: попал с пьяной компанией в какую-то заваруху, надебоширил, кого-то ударил. Крепко, наверное, двинул и сильно шумел — ничто ему уже не могло помочь, закон о мелком хулиганстве был в силе. Полагался год, и другой народный суд рассмотрел дело. Тугих получил свой срок. Мы в областном суде разбирали его кассационную жалобу. Собралась судебная коллегия по уголовным делам, все хорошо знали Тугих, иногда поругивали его за леность, за упрощенчество; странно и неловко, даже как-то жутко было видеть написанную знакомым почерком, которым писались приговоры и решения, кассационную жалобу — на серой тюремной бумаге, шершавой, с неровными краями. Выведенные рукой Тугих буквы, как и на бланках знакомых приговоров, поступавших к нам с его участка, привычно стояли подчеркнуто, даже щеголевато прямо, вплотную друг к другу, аккуратно соединенные между собой одной нитью. Да, те же плотные прямые ряды букв и та же тщательно выведенная подпись, чтобы каждая завитушка была ясна. Перед глазами возникало скуластое недоверчивое лицо Тугих, он обиженно кривит губы и упрямо склоняется над этой вот написанной в тюрьме страницей. Он к нам всегда приходил каким-то обиженным. И вот лежит приложенный к делу лист шершавой бумаги, исписанный его рукой. Мне стало жутко. А Субордин — член областного суда, докладывавший дело, сухощавый, высокий, медноли-

ный, уже пожилой,— прищелкнув языком, будто даже с удовлетворением вывел на коричневой обложке дела крест и обвел его для верности кружком. «Выпил, значит, и набезобразничал, и получай свое, кто ты ни есть. Ясно — оставить в силе». И не поглядел на нас, остальных членов коллегии, настолько все было неоспоримо. «Покажь-ка», — сказала Люшкина, подавшись всем корпусом вперед. «А, любопытствуешь? На-кось, вот его сочинение...— Субордин, языком смочив палец, вновь взяв дело Тугих, не спеша перелистал, нашел нужное.— Знакомая рука...» Люшкина, молодая, но со сморщенным личиком женщина, коротко стриженная, вся нетерпение, склонилась над столом Субордина: «Ты смотри, и в морду заехал!..» Она не терпела, когда дрались и ругались, ее первый муж был пьяница, так что она знает, сама намаялась.

В окно с улицы по стеклу забарабанил знакомый адвокат. Субордин закивал ему, поманил пальцем. С хитрой усмешкой на медно-красном лице обернулся ко мне:

— У меня одно дело с его участием. Давай рассмотрим. Заодно покурим. Ха-ха-ха! — Он хрипло, коротко засмеялся.

С началом войны табак в городе можно было достать только на базаре за огромные деньги. От семидесяти до ста рублей за пачку. Мы с Субординым страшно мучились и иногда пользовались приходом адвокатов, чтобы «стрельнуть».

С Тугих было покончено. На обложке дела Субордин медленно обводил крест вторым жирным кружком.

Наверное, по-иному и нельзя было решить. Судья, сам замешанный в хулиганстве, тем более заслуживает наказания. Ничего не скажешь. Но мне стало нестерпимо тяжело на душе, будто я сделал что-то нехорошее, даже постыдное. Я вдруг вспомнил занятия по всевобучу, как мы стояли у столба с черным репродуктором наверху, труба репродуктора мертво молчала, словно навек выключенная. Тугих слушал радио раньше и сказал, что передавали — сдан Орел. Я знал, это наверняка так и есть. Но, может, Тугих ослышался? Или не понял? Мало ли что. Нет, не буду верить. Неправда это. Пусть и правда. Все равно скоро возьмем обратно. Не может того быть, скоро начнется наше наступление... Сухая острая пыль неслась по улице, приходилось отворачиваться, прикрывать лицо, глаза.

Потом, минут через десять, мы с Тугих в одном отделении ходили строевым шагом, становились на одно колено и куда-то целились из винтовок. Куда целиться, неважно, важно было правильно держать винтовку, правильно прижать ее к плечу. Вставая с земли, Тугих тщательно чистил коленки и стряхивал что-то с плеч, расстегивал и застегивал пуговицу на пиджаке.

Было неприятное, холодное утро, с гор дул ветер, небо затянуло блекло-серыми тучами. Улицы еще стояли пустые, такая была рань — желтые пустые улицы, белые дувалы и белые домики, холодно, неприютно и эта колючая пыль, порывами обрушивавшаяся на нас, секущая лицо, руки.

Поеживаясь, я все время помнил об Орле, меня грызла тоска.

— Тугих, покомандуй,— сказал руководитель группы.

И тогда черный репродуктор на столбе неожиданно заговорил.

Скуластый Тугих, стоявший рядом со мной, сделав шаг вперед, вон из шеренги, замер, и мы все, повернув головы, замерли. Репродуктор говорил быстро, невнятно и долго. Насчет Орла ничего не было. Мы слушали, с каждым мигом нарастало напряжение. В самом конце упали слова — оставлен Орел.

Еще минуту мы стояли не шевелясь.

Стало холоднее, безлюдная площадь казалась более пустынной, совсем оголенной, и безысходная тоска входила в душу с каждым порывом ветра.

4

Очень быстро, прямо на глазах и в то же время как будто незаметно в городе все менялось.

Из магазинов исчезли продукты.

Воскресным утром мы опять ушли в горы на военные занятия, а когда часа через четыре вернулись, я обегал все магазины, искал крабовые консервы, которые перед этим еще кое-где видел. Бело-голубые круглые коробки с крабами удержались всего дольше, ими были уставлены верхние полки. Надо было что-то поесть, и я подумал об этих консервах. Была не была, хоть что-то.

Но в тот воскресный день они разом пропали, как будто их и не было, лишь во сне приснились. После занятий,

ходьбы и беготни по холмам гудели ноги. Я убыстрял шаг, словно стараясь кого-то перегнать. Метался из магазина в магазин и, вбежав, сразу видел зияющую свежую оголенную пустоту верхних полок. Я уже не верил, что сумею достать консервы или что-то другое, но все ходил. Сосущее чувство голода подступало к горлу, от него делалось дурно. Так я тогда ничего и не достал, придя домой, скорей лег спать.

На улицах стали появляться незнакомые, не ашхабадские лица. Затем их сразу оказалось очень много. Как-то после работы я обнаружил у дверей столовой на Первомайской, куда забрел в надежде пообедать, громадную галдящую толпу молодежи. По тротуару вдоль странно покрашенной, какой-то розовато-фиолетовой стены дома с большими окнами вытянулась длинная спокойная очередь. Живая, буйная толпа шумела, колыхалась у входных дверей. Двери стали приоткрываться, меня кто-то толкнул в спину, на меня налетели сзади, я оказался в водовороте. Минуты через две меня, изрядно помятого, протащив через две двери, впихнули в зал со столиками, оглушенный, я успел за одним из них захватить место. Пока сидел и ждал, из разговоров вокруг, из обрывочных фраз понял, что эта толпа — студенты МГУ. Они еще жили воспоминаниями об эшелонах, о том, как ехали, о том, как на какой-то станции покупали картофельные лепешки и чуть не отстали целой компанией от поезда; на ходу сели в чужую теплушку, поезд до следующей остановки тащился смертельно медленно — полдня, до самого вечера, до слепой темноты, и какой шухер был в их вагоне, и как в пути в каком-то городе в тусклом свете фонарей «летучая мышь» среди пляшущих теней проходили санобработку. Воспоминаний было много, целый поток живых, неостывших воспоминаний. Фразы летели со столика на столик, иногда сразу стола четыре принимались вспоминать какой-либо эпизод, и, как совсем обыденное, произносилось: «А помнишь, на улице Горького, только мы свернули с Моховой, еще Лилька была с нами...» И я замирал, упивался этими словами. А разговор летел дальше, к чему-то другому, к тому, как устроились здесь, упоминалось, что Сашка сделал блестящее, прямо гениальное открытие — купил на базаре мацони, из десяти порций водянистого супа отцедил вермишелевую крошку, бухнул все в банку и колоссально пообедал...

Вот, значит, и московские студенты оказались здесь.

Официантки разносили по столикам кусочки кулебяки. Каждому по кусочку. Это и было все меню.

Еще один раз в том же зале мне удалось пообедать кусочком кулебяки, затем роскошь кончилась — кулебяки больше не давали, можно было получить тарелку горячей воды, приправленной свинцово-серой вермишелевой крошкой. Такой большой толпы у столовой больше не было, но еще недели две стояли очереди за порциями кипяченой воды.

Появились раненые — на базаре, на улицах. Вскоре уже просто в халатах с перевязанными руками или с повязкой на голове, некоторые на костылях. Рассказывали, что никак их в госпитале не удержишь, чуть полегчает — рвутся на улицу погулять. Говорили, в Кеши большой госпиталь и на улице Свободы тоже, полным-полно там.

К нам в областной суд прибыл эвакуированный с Украины, из Киева, и стал членом коллегии по уголовным делам. У него была несколько необычная фамилия — Тойфе. Он был высок, сутуловат, лысоват, на губах вечно дрожала какая-то дряблая улыбка, ходил всегда в белой рубашке и галстуке (что в те времена даже в суде было не обязательно), докладывал дела тихим голосом, а в обеденный перерыв неторопливо выспрашивал нас про разные житейские мелочи, выспрашивал подробно, где в Ашхабаде прачечные, бани, поликлиники, какова квартплата в частных домах, будто составлял справочник. Держался этот деликатный человек так, словно приехал к нам на неделю и дней через десять, когда будет подходящий самолетный рейс, тронется назад, в Киев. И мы часто спрашивали: что, нет еще распоряжения ехать обратно, поближе к Киеву? Шли неделя за неделей, месяц за месяцем, мы все говорили, теперь уже скоро...

Вдруг из каких-то инстанций запросили сведения, есть ли в нашем учреждении (как и в других) лица, имеющие рабочую специальность. Я оказался единственным, как бывшего слесаря меня взяли на учет, где-то завели на меня карточку.

У нас Тойфе, а в городской прокуратуре помощником прокурора начал работать эвакуированный из Эстонии, с латышской фамилией Озолс. Это был бритоголовый приземистый пожилой человек с лицом в мелких частых

морщинках, с выпученными глазами. Говорил он мало, скрипучим голосом и преимущественно поправлял всех по мелочам, а если что забирал себе в голову, переубедить его было невозможно. Сердито смотря перед собой, отвечал одним словом: «Нет».

Он был мне несимпатичен, но я убеждал себя, что Озолс мне нравится и что обязательно нужно поговорить с ним о Латвии, поскольку фамилия латышская и он должен хоть немного знать по-латышски.

— Нет,— скрипел Озолс,— я настоящий эстонец, у отца моего дальний предок был латыш, но мы все время жили в Эстонии. Эстляндия это называлось раньше, при царе, вы этого не знаете...

— Знаю.

— Откуда вам знать? Вы не знаете. Я знаю. А в Латвии я никогда не был...

— Но по-латышски вы хоть немного говорите? — в отчаянии взывал я. — Должны же...

— Нет,— веско отвечал Озолс, склонив массивную бритую голову.

Иногда мы подобным образом мучились с ним и на заседаниях кассационной коллегии. Он, как помощник прокурора, давал заключения. Хотим с ним просто поговорить, указать на какое-то обстоятельство в деле, а он твердит:

— Я дал свое заключение!

В таких случаях особенно кипятилась Люшкина.

— Послушай, Озолс,— ребром растопыренной ладони она исступленно стучала по папке с делом,— тут свидетель говорит, что у нее был болен ребенок. Нужно это выяснить, принять во внимание?

Озолс бледнел, поджимал губы.

— Я руководствуюсь законом.

— Проверить-то хоть надо?!— Люшкина уже кричала.

— Я дал заключение! — Озолс каменел, оскорбленно глядя в одну точку рачьими глазами.

— Все вы, прибалтийцы, упрямые! — Люшкина в сердцах попрекала и меня.— Черт с ним!

— А если надо быть упрямым? — не выдерживал и я.

...Вот откуда — с Украины, из Эстонии, из самых разных концов — несло к нам народ. Каждый день приезжали все новые эвакуированные. Поэтому мы не особо удивились, когда в городе появились и люди в польской форме. Добротного сукна горчичного цвета щеголевато подо-

шанные мундирчики, броские фуражки сразу выделялись в уличной суете. Сверкали новенькие кожаные ремни и портупеи. Прохожие провожали польских военных взглядами. «Это из армии Андерса...» — переговаривались между собой. Рассказывали, где-то почти в центре города у них штаб или что-то в этом роде, там много польских офицеров. Обмундирование им шьют на заказ. И паек особый. Рассказывали, какой паек. Сколько масла и сахара, сколько хлеба и других продуктов они получают. Теперь не помню раскладку, о которой тогда говорили, считая по грамму. Тогда это было важно. Каждый грамм. Мы получали по четыреста граммов хлеба в день и триста граммов леденцов в месяц. Еще талоны в закрытую столовую (для ответственных работников), где на обед и ужин выдавали по маленькому блинчику или по кусочку селедки. Все ждали заветных тощих блинчиков, копили в своих книжечках талоны. В конце месяца в подвальном зале гостиницы, где некогда был лучший ресторан, а теперь размещалась столовая, становилось необычайно людно. Прикрепленные с книжечками в руках, рассевшись за столиками, разговаривали с официантками возможно ласковее и небрежно-залихватски или таинственно пододвигали им сохраненный про запас талон, чтобы получить дополнительный блинчик...

Весть: прибыли в город киностудии, говорят, киевская и еще какая-то.

На улицах видели киноартиста Крючкова.

По слухам, артистов и приехавших с киностудиями писателей тоже прикрепили к республиканской закрытой столовой (еще была закрытая столовая городская, наверное, попозже появились и другие, но я рассказываю о первом годе).

Как всех закрутило в вихре и бросило сюда!

Днем на работе меня позвали из соседней, проходной комнаты, выходившей окнами и верандой во двор.

— К тебе пришли.

В накинутом на плечи пальто (началась зима, у нас не топили) я шагнул в соседнюю комнату.

— Генка! — закричал я.

Я не слышал, как кричал. Просто произнес имя, и все. «Как ты обрадовался! Как закричал!» — говорили потом, улыбаясь, внимательно и с любопытством поглядывая на меня, Субордин и Люшкина.

Генка в подпоясанной командирским широким ремнем шинели, с двумя кубиками в полевых тускло-зеленых петлицах, в военной ушанке, стоял передо мной — невероятно, но факт.

В институт он поступил годом позже, следовательно, был курсом младше. Мы с ним встречались в студенческих научных кружках, оба писали на конкурс научные сочинения, потом вместе работали в редакции стенгазеты. Гену все любили, профессора, студенты, считали талантливым. Он быстро, прямо скачками выдвигался, ему дали повышенную, Сталинскую, стипендию, его выбрали секретарем институтского комитета комсомола, но он по-прежнему мило улыбался, и его широкий нос при этом раздувался еще шире. Гена любил поболтать о разных пустяках, о возможных темах для научных работ, послушать анекдоты, и если корил кого-нибудь, то совсем незлобиво: ну, учудил, мол! Я удивлялся необычайной удачливости Генки, хотя и понимал — есть на свете счастливчики, перед которыми дорожки сами стелются. Но, как и другие, я любил Гену, тем более что он действительно был добрым товарищем.

И вот он передо мной!

С моей точки зрения, опять счастливчик — уже в армии. И с лейтенантскими кубарями в петличках.

Выяснилось, что Гена прибыл два дня назад с эшелоном Военно-юридической академии. Гена на краткосрочных курсах. Там все ребята, с которыми он вместе учился. Гоняют их здорово. Строевая. Еще строевая. Полевые учения. (Ладно, думал я, строевая — велика беда! Пустяки! Вот ведь как кому-то везет!) Живут в казармах.

Условились вечером встретиться у казармы.

На окраинной незамощенной пыльной улице у длинного белого глиняного забора перед сумерками я поджидал Гену, смотрел на ворота, на непонятную военную жизнь — оттуда выходили, туда входили люди в шинелях, часовой стоял на посту. Гена пришел с опозданием и далеко отлучиться не мог. Мы остались тут же у ворот, разговаривали, торопливо обменивались новостями. Я узнал, что одного из наших уже нет в живых. Красавец Игорь Кузин, за которым увивались все институтские девчонки, блондин с вьющимися волосами, оратор, организатор железный и непреклонный, с первых дней получил назначение в прокуратуру одной из западных армий (на каком фронте действовавшей, тогда не называли). Поехал

по срочному заданию командующего, в лесу его срезала очередь из немецкого автомата. Его и шофера. Обоих сразу.

Казалось, я услышал ту автоматную очередь.

Увидел тот лес, ту дорогу, по которой ехала машина.

Ошеломленный, я замолчал. Гена тоже.

Так мы стояли с ним.

Гена взглянул на часы. Ему было пора.

На минуту он задержался. Из ворот вышел наш профессор международного права. Оказалось, он тоже здесь. Да еще живет в казарме. Вместе с женой. Жена шла рядом. Круглая, низенькая. И он был круглым, низеньким, с круглой головой, на которой щетинился короткий ежик чуть седоватых жестких волос. На лекциях, перебирая старые, истрепанные тетрадки конспекта, он любил сыпать историческими анекдотами, на миг, будто в одышке, замолкая перед очередным острым словцом. А затем, сверкнув стеклами пенсне и золотым зубом, скороговоркой выстреливал в нас заранее заготовленным выигрышным экспромтом. Всем нравились лекции Николая Семеновича, на них собирались студенты и с других курсов.

— Николай Семенович, здравствуйте!

— О, вы здесь. Где, кем работаете? — обычной своей скороговоркой спросил Николай Семенович.

Может, он и не вспомнил моей фамилии. Наверное даже не вспомнил. Хотя в институте мы встречались довольно часто, да и расстались всего полтора года назад.

— Членом областного суда,— восторженно и глупо улыбаясь, ответил я.

На какие-то минуты, повстречавшись с Геной, а затем и с Николаем Семеновичем, я заново вернулся в самую счастливую, веселую пору — в студенческую жизнь — и, стоя на пыльной ашхабадской улице у ворот казармы, почувствовал себя по-прежнему счастливым и беспечным. Потому так глупо, беспричинно улыбался и жалел, что сейчас короткие минуты эти кончатся, Гена повернется, уйдет, ничего не поделаешь: воинская дисциплина.

Но за всем этим я держал в памяти, держал в себе и другое, страшное, помнил — Игорь Кузин убит на войне.

Очень реально вдруг это представилось. Ехал в машине по лесной дороге, получив срочное задание; затрещал автомат... Ехал в машине...

— Вы очень молоды,— сказала супруга профессора.— И уже член областного суда! Сколько вам лет?

На ней было измятое в дороге пальто и измятая шляпка. Николай Семенович в непривычной для него военной форме тоже выглядел поистасканным. И улыбки на их лицах были усталыми.

— Да нет, я уже старый! — искренне удивился я. — Мне двадцать пять лет. — И опять заулыбался.

Так и чувствую эту свою глупую улыбку... За низкими белыми домиками вдали, где-то в конце улицы, догорал тусклый, затянутый свинцовыми тучами закат, лишь иногда пробивалась алая полоска. Серой казалась улица, потускнела белизна маленьких домиков и длинного глиняного забора.

В череде воспоминаний о тех днях почему-то необходимо запечатлеть и эту минуту — как мы там стояли и как Николай Семенович переминался с ноги на ногу, пытаясь вспомнить, кто я такой, и как догорал закат, каким свинцово-темным, тяжелым он был, и как серели улица, дома, сады. Да, почему-то необходимо остановиться на этой минуте встречи с Геной, короткого возвращения в старую, студенческую жизнь, минуте, когда я узнал о первой смерти там, на войне, очень знакомого человека, вместе с которым четыре года учился и работал... В ту минуту я как будто услышал выстрел, до меня донеслось горячее дуновение фронта.

Нет, об этом, наверное, надо сказать как-то еще по-другому...

5

— Обвиняемый Додунеев, вам понятно предъявленное обвинение? Вы признаете себя виновным?

— Нет, не признаю.

— Садитесь. Обвиняемый Заримов, вам понятно предъявленное обвинение, вы признаете себя виновным?

— Не признаю.

— На предварительном следствии вы признали себя виновным. Почему теперь отказываетесь от своих показаний?

Второго вопроса не надо было задавать. Это была ошибка. Почему Заримов изменил показания, можно было выяснить в дальнейшем. То есть почему изменил показания, ясно и так, важно, что он сам скажет. А об этом

можно спросить при допросе, мелькает в спешке мысль. Но что сделано, то сделано...

— Обвиняемый Климушин, вам понятно предъявленное обвинение? Вы признаете себя виновным?

— Нет, не признаю.

— Садитесь.

Значит, все трое отказываются от прежних показаний и не признают себя виновными.

Из полутьмы узкой комнаты с простыми белеными стенами три пары угрюмых черных глаз смотрят на нас, сидящих за столом.

Что-то случилось с электричеством. Принесли большую керосиновую лампу без абажура, она стояла на столе, горела красным дымным пламенем. В комнате пахло, как в нефтелавке. Окна были занавешены плотными темными бумажными шторами — в тот день сообщили, что наши войска вступили в Иран, в городе ввели затемнение. Мы сидели закупоренными в этой комнате, которая, казалось, вместо воздуха была наполнена керосином и движущимися и недвижимыми черными тенями. Душно. От запаха керосина заболела голова.

За столом рядом со мной, боязливо сжавшись, притаились две молчаливые народные заседательницы.

Я тоже чувствовал себя не особенно уютно.

Судебное заседание шло в одной из комнат тюремной канцелярии. Мы рассматривали дело о так называемом тюремном бандитизме. Уголовники Додунеев, Заримов, Климушин грабили, раздевали других заключенных. Отнимали пайки. Избивали. Один, которого пырнули ножом, умирает в больнице. Следствие установило, кто ударил ножом. Обвиняемые теперь отказались от своих показаний, нужно все сверять заново...

Заседательницам впервые приходилось рассматривать такое дело, к тому же еще и в тюрьме. Среди этих мрачных теней, каждый миг встречаясь со страшными, пронзительными взглядами трех обвиняемых, знающих, что им грозит. Да еще в день, когда где-то совсем близко, за горами, подымающимися над городом, может вспыхнуть схватка, ведь только что объявлено, что наши войска вступили в Иран. Совсем близко от нас может начаться война, в городе затемнение, мы сидим в душной, пропитанной керосином комнате, не имеем права открыть окна, черные тени шарят по стенам, угрюмые взгляды сверлят нас!

Признаться, и мне тогда впервые пришлось заседать в тюрьме и впервые довелось столкнуться с тем, о чем раньше читал лишь в книгах,— вот с такими рецидивистами, убийцами. Мне было страшновато, но я подавлял в себе страх. Один за другим вызывались свидетели — такие же заключенные, как и трое сидящих на скамье подсудимых, с такими же темными или бледными, нездоровыми лицами, с такими же угрюмыми взглядами, со стрижеными головами. Да, меня избили, отобрали рубашку, хлеб, говорили они один за другим. Кто бил? Свидетель опасливо поглядывает на подсудимых, я с напряжением жду, вдруг да скажет: не знаю, не помню. Был такой случай, говорит следующий, отобрали у меня паек... Додунеев, малорослый, со скошенным подбородком, самый страшный из трех, сидит молча, изредка кривит рот. Губы у него спекшиеся, черные. Двое других то умолкают, то забрасывают торопливыми вопросами очередного свидетеля. «Скажите, я вас бил, можете утверждать? Вы сами видели, кто вас ударил? А с рубашкой как было — вы же мне дали, сами принесли, подали в руки...» Додунеев опять криво усмехается темной, непонятной усмешкой. Пятый час продолжается суд, нагромождаются истории, одна страшнее другой. Народные заседательницы сжатся, не разжимают губ. И прокурор задает вопросы как-то особенно медленно.

Плотная тишина стоит в комнате, где идет суд.

Свидетели, подсудимые говорят, мы задаем вопросы, но кажется, вокруг сомкнулась тишина.

На столе у нас лежит самодельный, с обшарпанной рукояткой нож, похожий на сапожный.

Пятый час мы толчемся вокруг ножа — у кого он был в руках?

Пятый час, почти не разжимая губ, ведет отчаянную борьбу за свою жизнь маленький узкоплечий Додунеев.

На другой день к вечеру в областной суд приходит сообщение, что он начал симулировать сумасшествие. Я ничего подобного и предвидеть не мог. Мало у меня было опыта. Сидя за своим судейским столом, я все время думал, как же может быть, чтобы на свете жили такие страшные люди, и думал о том, что идет война, думал и думал о войне...

Это, конечно, было еще до встречи с Геной.

Но в ряду отрывочных воспоминаний о городе, в который шаг за шагом входила война, этот вечер сохранился

где-то совсем рядом с памятью о том, как мы с Геной стояли у ворот казармы, как гас серый закат. Душный-душный вечер этот, запах керосина, черные тени в комнате, горящие глаза подсудимых, первый вечер затемнения в Ашхабаде...

6

И дальнейшее, вплоть до ухода в армию, вспоминается как вереница судебных дел, вокруг которых поднялся шум и завязалась борьба. Как клубок сплетающихся воедино житейских и судебных историй, в которые вламываются сообщения с далеких фронтов, вызывая тяжелое молчание или, когда развернулось наше наступление под Москвой, громкие взрывы радости, восторга.

Казалось, настоящее там, далеко, на фронте, а здесь только так, идут дни.

К тому клубку все туже стягивающихся в один узел историй протянулась и нить от вечера в пропахшей керосином, душной тюремной канцелярии, когда мы далеко за полночь вынесли приговор и в темноте южной ночи брели по безмолвному затемненному городу. Вокруг только черные горбы маленьких глиняных домиков, только отблеск луны в каком-то окне, а идти еще невесть сколько: мимо старых корпусов стекольного завода, потом через железнодорожную линию, потом по длинной улице Свободы — почти через весь город.

Недели две спустя из Верховного Суда республики к нам вернулось дело.

Приговор отменен. Додунеева необходимо послать на психиатрическую экспертизу.

Мы уже знали, что маленький человек со скошенным подбородком после суда стал прыгать по камере на одной ноге, твердит и твердит несколько слов, остальные будто забыл.

В определении Верховного Суда еще было указано, что необходимо дополнительно и более досконально проверить, у кого в момент драки находился нож. И отмечено: приговор не может быть оставлен в силе и потому, что в протоколе судебного заседания нет показаний Додунеева, следовательно, на суде он не допрашивался.

— Как же так получилось? — осведомляется председатель областного суда Платонида Семеновна, имея в виду незадачу с протоколом.

Платонида Семеновна — крупная, высокая, строго одетая женщина. Короткая стрижка, широкий мужской шаг. Была бы помоложе — совсем комсомолка или делегатка с плакатов двадцатых годов. С членами суда — туркменами она говорит только по-туркменски и просит, чтобы те ее поправляли. Неизменно повторяет: поправляйте меня. Впрочем, таких неизменных привычек у нее несколько. Еще она при каждом разговоре с нами, членами областного суда, внушает: «Надо делать необходимые выводы...» На этих словах Платонида Семеновна ставит ударение и, произнеся их, на миг замолкает и обводит всех взглядом. «Надо быть требовательными!» — поучает она и категорически, металлическим голосом заканчивает: «Все, товарищ Субордин!», «Все, товарищ Люшкина!» Значит, должно быть исполнено, как сказала Платонида Семеновна. Размашистым шагом она входит в нашу комнату и, энергично тряхнув стриженой головой, командует: «Товарищ Субордин, зайди ко мне...» Да, она говорит о требовательности и требует от нас, требует от завхоза, от секретарш, требует от всех технических работников. Требует, чтобы мы перестроились на военный лад.

Платонида Семеновна в Ашхабаде давно, с девчоночьих лет. У нее взрослая дочка. Муж — тоже ответственный работник.

Иногда она шутит:

— Бывает, мы неделю с ним только на заседаниях и видимся.

— Это неправильно! — горячусь я.

— Что неправильно? — не понимает Платонида Семеновна.

Если кто из работников суда заболевает, она потихоньку вызывает завхоза или председателя месткома, велит позаботиться.

С одним я никак не могу в ней примириться, с тем, что, ведя судебные заседания по первой инстанции, Платонида Семеновна надолго их затягивает, читая проповеди всем подряд — подсудимым, свидетелям, адвокатам. Однажды, в начале войны, когда Платонида Семеновна особо долго внушала обвиняемому в халатности заведующему складом, что тот льет воду на мельницу врага, я решил посоветовать нашей руководительнице на судебных заседаниях не увлекаться речами.

Наверное, это было нетактично, и вообще, как говорится, молодо-зелено. Но Платонида Семеновна подчас

разговаривала совсем запросто, на равных и как будто не обижалась на замечания.

— Платонида Семеновна, он же в кассационной жалобе напишет,— сказал я,— что его осудили за литье воды на вражескую мельницу, а он никакой воды ни на какую мельницу не лил...

Не думал и не гадал я быть пророком. Но один раз, зайдя в канцелярию, застал наших девушек, читающих по очереди какую-то бумагу. Это оказалась кассационная жалоба, она пересылалась дальше через нас. Взял я ее в руки и оторопел. Там прямо так и стояло: «Меня осудили за то, что я лил воду на мельницу врага Гитлера, но я воды не лил...» Я попросил дело и прочел приговор, написанный Платонидой Семеновной... Там тоже речь шла о том, что война, а он, обвиняемый, льет воду на мельницу врага. Искренне и гневно, вкладывая всю душу, все свое горячее желание помочь фронту, Платонида Семеновна ополчилась на заведующего складом, разоблачала, к чему ведет его халатность, считая это высшим своим долгом. Для конкретного разбора преступления не осталось места. Далее Платонида Семеновна прямо переходила к результативной части, к мере наказания, и получалось, что обвиняемый действительно осужден за то, что лил воду на мельницу. Но, надо признать, в тот день я высказал председательнице свое предположение скорее в виде шутки, сам не веря, что такое может быть. Написанный Платонидой Семеновной приговор я не видел. А она, занятая другими навалившимися на нее делами, видно, позабыла о своем приговоре-прокламации.

— Постой, какая вода? Какая мельница? — Заваленная делами, она явно позабыла о своем приговоре-прокламации.

— Вот я и спрашиваю, при чем тут вода и мельница?

Платонида Семеновна, читая дела и подписывая бумаги, надевала очки в черной оправе.

Она медленно сняла очки, выпрямилась за большим письменным столом.

Значит, разговор будет серьезным.

— Дорогой товарищ, объясни, в чем дело! — сказала она чеканно, пронизывая меня взглядом. Она была гордой, это я тоже знал.

Я объяснил: в институте нас учили, и так оно и есть,— судья не должен произносить речей, соваться с нотациями, это оставляет неблагоприятное впечатление,

вредит анализу, объективному рассмотрению всех доказательств.

Папка с судебным делом была отодвинута в сторону.

— А как же с воспитательной ролью суда? — Платонида Семеновна сурово прервала меня и поджала губы.— Нет, дорогой товарищ, я выполняла свой долг и буду выполнять, и ничто меня не заставит действовать по-другому.

Я попытался объяснить, что тоже стою за воспитательную работу суда, но что воздействие это должно выражаться не в нотациях, а в самой нравственной атмосфере процесса. Лицо Платониды Семеновны стало деревянным. И по замкнутости этого лица, по тому, как Платонида Семеновна, тряхнув стриженой головой, еще больше выпрямилась и застыла, совершенно прямая, строгая, я почувствовал, что слушает она не для того, чтобы понять, а чтобы, дождавшись окончания моей тирады, опровергнуть меня.

И действительно, лишь я умолк, она бухнула кулаком по столу:

— Нет уж, воспитывали и воспитывать будем и тебя заставим! Научим!

В тот раз она еще долго не отпускала меня и после очередного разъяснения все спрашивала:

— Теперь понял? Понял, какая ответственность лежит на нас?

А я хотел, чтобы поняла она — нельзя засорять судебные заседания нравоучениями. Так нас учили в институте.

Но до Платониды Семеновны, по-моему, ничего не дошло. Зато она осталась довольна, что провела со мной работу, воспитывая во мне чувство ответственности. Под конец она улыбалась прямо-таки по-матерински.

А когда обнаружилась промашка с протоколом, пришлось выслушать от Платониды Семеновны замечание насчет того, что необходимо повысить требования и к подчиненным, и к себе.

Замечание верное, что и говорить.

Секретарь судебного заседания, молодая тихая девушка, окончившая десятилетку, глядевшая на все в суде как на чудо, по старательности взялась заново переписывать протокол заседания, писала целую ночь и пропустила страницу, где было начало показаний Додунеева. А я чи-

тал протокол, что велся непосредственно на заседании. Ошибка, несомненно ошибка!

Чтобы проверить, как все случилось, я взял дело. Собственно, следовало посмотреть только протокол. Но я машинально перелистал толстый том с самого начала.

Нечаянно взгляд упал на ранее читанную страницу, зацепился где-то на ее середине. Постойте, кто это сын слесаря из паровозного депо? Оказалось, написано о Додунееве. Мать — работница текстильной фабрики. Сам Додунеев только шестью годами старше меня. Жили в Семипалатинске. Мне представилась окраинная тихая улица, такая, как в Ашхабаде, с маленькими белыми домиками. Или там дома другие, деревянные? Впервые Додунеев попал под суд за какую-то уличную драку. Что за драка, почему? Этого в деле не было и не должно было быть. Потом уже в другом городе — в Чарджоу — Додунеева судили за групповой грабеж. Как он попал в Чарджоу? Кто его знает! Еще и еще города, кражи, побеги, освобождения по отбытии наказания. Матерый волк бродит по земле.

В Семипалатинске, возможно, до сих пор в том же доме живут его отец и мать, по утрам уходят на работу — в депо и на текстильную фабрику. Рабочие. Рабочие! Сын рос при советской власти...

И вот он скачет на одной ноге по тюремной камере, бормочет какую-то ерунду, с пеной у рта падает на пол — симулирует припадки, чтобы спасти свою жизнь.

Избивал заключенных, отнимал у них последний кусок хлеба — когда же он неудержимо покатился вниз, стал последним подонком? Как это объяснить? Кого винить? Как это происходит? И не с кем-то, а с сыном рабочего, росшим у нас же, в городе Семипалатинске?

Судебные дела выглядят не особенно притязательно. Подшитые в папки документы разных размеров, милицейские протоколы на толстой серой, синеватой и розоватой шершавой бумаге, заполненные корявыми почерками, с корявой же подписью допрашиваемого внизу каждой страницы; небольшие, в полстраницы, бланки постановлений о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, заполненные то на машинке, то от руки; какие-то справки, характеристики, копии приговоров по прежним делам. Все это образует пухлый том с неровными краями разных бумаг, высовывающихся из-

под обложек скоросшивателя. Лиловыми буквами на коричневатой обложке выведено: «Дело по обвинению Додунеева, Заримова, Климушина...» Кто-то, первым заводивший дело, постарался. Теперь один угол обложки оборван, слева наверху фиолетовая клякса, густо обведенная чьим-то карандашом.

Почерк оперуполномоченного, ведшего следствие, неровный, фиолетовые буквы качаются из стороны в сторону, то становятся большими, громоздятся друг на друга, то вновь, вернувшись на линию, уменьшаются в размерах, приобретают округлость.

«На заданный вами вопрос относительно ножа могу сообщить, что о ноже ничего не знаю...»

Я вновь вижу лицо Додунеева, скошенный подбородок, вижу его лихорадочно горящие глаза, вижу, как он в усмешке кривит почерневшие губы и по лицу медленно движутся черные густые тени — только глаза и блестят в темноте.

— Пойдем, пора открывать заседание, дел сегодня много,— говорит Субордин.

— Давай, давай поторапливайся,— говорит Люшкина.

— Сейчас, одну минутку,— подавленно отвечаю я, глядя в дело, хотя все там знакомо.

Что касается протокола — конечно, ошибка, надо было еще раз прочесть. Но кто мог знать... Надо, надо знать. Надо извлекать уроки, как учит Платонида Семеновна. Быть требовательным к себе и другим.

То было для меня первое замечание. Первая подмеченная кем-то моя ошибка.

Вдруг стали сыпаться замечание за замечанием. Обнаруживались ошибка за ошибкой.

Меня вызвали к председателю Верховного Суда Баймурадову. Раньше он работал у нас в областном суде.

Люшкина и Субордин почему-то решили, что меня, как человека с образованием, хотят взять на работу повыше. Люшкина принялась звонить по телефону в разные учреждения, чтобы не допустить этого. Так что я шел к Баймурадову в бесшабашном настроении. Во-первых, приятно, что тебя ценят. С Баймурадовым я знаком, разговаривать будет легко. Во-вторых, переходить куда бы то ни было я не собирался. У меня ответ был готов: «Все равно уйду в армию, не сегодня, так завтра. Через месяц уйду. Зря будете перебрасывать...» И все. Разговор исчерпан.

Но Баймурадов в своей светлой комнате, сам весь светлый — белая рубашка, белые брюки, ровный ряд белых зубов, только волосы черные,— ждал меня с двумя тощими делами на столе и мягким голосом, будто специально предназначенным для гипноза, заметил, что я в последнее время стал хуже работать, вот ему и поручили со мной побеседовать о двух делах.

Одно — совсем пустяки, описка. Наверное, очень устал и к тому же спешил. Не помню, как все случилось, не помню, что за дело, но, конечно, приму во внимание.

Второе дело вспоминаю сразу, о мелком хулиганстве. Начато еще в первые дни войны, переходило из рук в руки, сколько времени пролетело, и оно всплыло опять!

— Как же так,— неторопливо говорит Баймурадов,— ты был на первом заседании, когда по докладу Субордина на основании протеста прокурора вы отменили оправдательный приговор народного суда (Баймурадов медленно и тщательно выговаривает каждое слово). Народный суд на основе вашего указания приговаривает обвиняемого к году тюрьмы, затем уже по твоему докладу вы отменяете этот приговор и прекращаете дело, хотя народный суд действовал по вашему указанию...

Да, я вспоминаю дело. Сразу.

Первый раз его действительно докладывал Субордин. Сказал — безобразие, оправдали, когда хулиганство налицо. И пересказал все, что случилось. Молодой инженер с товарищами зашел в ресторан. Выпил. Вдруг стал орать, опрокинул стол, еще что-то натворил. Что с того, если характеристики хорошие? Хулиганство было, должен быть наказан. Иногда многое зависит от того, как доложить дело. Субордин докладывал так, что его аргументы не вызывали сомнений. Мы согласились с ним. Потом дело вернулось к нам, уже после второго приговора. Теперь судил Тугих. Он точно выполнил наше указание. Но я читал дело и удивлялся — никак нельзя было осудить инженера, все, буквально все свидетельствовало о том, что вообще он не пьет, выпил впервые, случайно, выпил очень немного и на него нахлынуло, он уже действовал, ничего не сознавая. Патологическое опьянение. Несчастный случай. И не просто хорошие характеристики — блестящие отзывы о дисциплинированности, о работе. Пришлось отменять приговор Тугих, прекращать дело...

Так я и рассказал Баймурадову.

Я видел только одно — неправильный приговор, заса-

дили в тюрьму хорошего человека, попавшего в беду. Пока писали бы да пересылали дело из инстанции в инстанцию, человек бы сидел, да еще неизвестно, к кому бы попало дело в Верховном Суде, как оно могло повернуться...

— Да, мы формально ошиблись, но истина ведь складывается из столкновений многих сил, из борьбы за истину!

Баймурадов, улыбаясь, покачал головой.

— Вы дали суду указание, вы обязаны соблюдать закон!

...Ошибка к ошибке, замечание за замечанием и еще замечание, еще ошибка.

7

...Еще одна ошибка, сразу значительно отягчившая мое положение. По делу об убийстве.

Адвокат Ламчинский, расстроенный, ворвался к нам в комнату.

— У кого дело Прохорова?

— У меня,— сказал я.

— Надо поговорить!

— Не надо.

— Как не надо? Тринадцатилетний мальчик сидит в тюрьме, посажен на три года из-за нечаянного выстрела, вы понимаете... А вы говорите, не надо... Прочтите, пожалуйста, срочно, я вас умоляю...

Я уже прочитал дело. Оно казалось мне ясным. Опасался я только одного — остальные члены коллегии могли со мной не согласиться. Очень я этого опасался. Потому что считал: мальчика следует немедленно освободить, приговор — три года тюремного заключения — заменить на условный. Адвокату незачем мне подсказывать, сами разберемся.

Я снисходительно отмахнулся от Ламчинского:

— Что вы думаете, здесь дураки сидят?

Ламчинский не обратил внимания на мое замечание, настолько был взволнован. Он был очень худ, тощая шея торчала из воротника. Но в тот день казался особенно изможденным, одежда на нем обвисла.

— Понимаете, родственники убитого подняли на ноги весь город, в такой обстановке трудно объективно разобрать дело. А если мальчишка просидит три года, вся жизнь его будет искалечена...

— Посмотрим,— многозначительно и, как мне казалось, с совершенно непроницаемым видом ответил я и отвернулся от адвоката. А сам был накален, налит стремительным желанием поскорей изменить неправильный приговор, сделать все возможное...

...Платонида Семеновна тоже оказалась воинственно настроенной. На этот раз взялась сама вести заседание уголовной коллегии.

— Родственники какого-то убитого мальчика приходили,— рассказала она.— У кого это дело? У тебя? Я им говорю, суд разберется, вы нам, пожалуйста, не мешайте. Есть закон, мы им руководствуемся, вам хотя и тяжело, будьте добры, не мешайте...

Она не терпела, когда со стороны пытались оказывать давление, приходила в неистовство.

Еще более она была возмущена протестом прокурора по какому-то другому делу.

Платонида Семеновна, как военачальник, помахала в воздухе зеленоватой папкой.

— Тугих правильно на этот раз решил, а они путают, им во что бы то ни стало надо засадить!

Дело, которое я буду докладывать, тоже рассматривал Тугих, но не сумел найти верного подхода.

Платонида Семеновна, размахивая зеленой папкой, широким, энергичным шагом направилась в зал заседаний, мы с Люшкиной пошли следом.

Я был доволен и тем, что третьим в составе коллегии на этот раз будет Люшкина. Потому что с Субординым не всегда предугадаешь, какую займет позицию. Он был тугодумом, подчас формалистом, бывало, заупрямится — и не сдвинуть. Мрачнеет, несколько дней ходит замкнутым, сочиняет особое мнение, которое ему всегда стоит больших трудов. А Люшкина — вся душа наружу, справедливость для нее превыше всего.

Вошли в небольшой зал заседаний и на миг оторопели. Платонида Семеновна замедлила шаг. Обычно пустой, теперь он был переполнен: женщины, мужчины... Казалось даже, как-то вдруг потемнело в зале.

Удивительным было и то, что вся эта масса народа напряженно молчала.

За столом прокурора сидел бритоголовый Озолс, напротив него, мрачный, сгорбился Ламчинский.

Мы заняли свои места за столом на возвышении. Я доложил дело. Двое соседских мальчишек играли во

дворе. Мите Прохорову — тринадцать, второму, убитому, Славе Пирятинскому, недавно исполнилось четырнадцать. Только что скромно, по военному времени, отметили день его рождения. Совсем неподалеку это все случилось. В конце улицы МОПРа. Я жил в начале ее, так что, наверное, проходил мимо того дома. Читая дело, силился представить, в каком месте он мог стоять. Четный номер,— значит, не на моей, а на другой стороне. В том конце почти все домики были одинаковыми — маленькие, квадратные, белые, прятались в зелени в глубине двора. С улицы только и виден беленый дувал, через него, нависая над узким тротуаром, густо, сплошняком топорщились ветви, каемка тени лежала над тротуаром, маня укрыться от жары; тихо-тихо было за дувалами, в зеленых дворах, впрямь благословенная обитель. В таком тихом дворике все и случилось. Старший мальчик подбил младшего, тринадцатилетнего, вынести отцовское ружье, висевшее на стене. Митя Прохоров притащил ружье. Стали играть. Прозвучал выстрел. Заряд попал прямо в сердце Славы. Митю Прохорова тут же арестовали, и вот он приговорен к трем годам.

Затем слово взял адвокат.

Встал прокурор Озолс, сказал:

— Полагаю, оставить в силе.

То есть оставить приговор в силе, какой есть.

Платонида Семеновна — сидя рядом, я это почувствовал — мгновенно рванулась вперед, голос ее от возмущения прервался:

— И что, это все? Так прямо, в двух словах, и пускай сидит человек?

Где-то в углу зала возник глухой гул неодобрения. Но тогда мы этого не поняли. Я было хотел шепнуть разгневанной Платониде Семеновне, что не следует допрашивать прокурора, но воздержался. Интересно, допустимо ли во имя достижения правильного решения пускаться в дипломатию, допускать компромиссы со своими убеждениями, мелькнула мысль. Я ведь ничего не шепнул в тот день Платониде Семеновне исключительно потому, что ради освобождения Прохорова не хотел настраивать ее против себя.

Как только мы пришли в совещательную комнату, быстро и единодушно было принято решение.

— Все правильно, что адвокат говорил? — с лёта сердито спросила Платонида Семеновна.— Твое мнение?

— Да, все правильно. Нечаянный выстрел. Заменить на условное.

— Давай так,— сказала Платонида Семеновна.— Люшкина, твое мнение?

— Согласна! — краснея всем лицом, воскликнула Люшкина. В последнее время она часто и как-то восторженно, радостно краснела. Она была влюблена, мы догадывались, в кого. Он тоже был эвакуированный, работал в прокуратуре. В нашем суде не выступал, но иногда заходил, и они тогда разговаривали, либо уйдя в другую комнату, либо через окно, и голос Люшкиной становился смеющимся, детским.

Платонида Семеновна взялась перелистывать дело.

— Вот, смотри,— говорила она,— тут написано, мальчик не знал, что ружье заряжено, и характеристики хорошие...

— Да, да,— подтверждал я.— Я ведь докладывал.

В самом деле, пусть произошла трагедия, но нельзя губить еще одну жизнь, жизнь тринадцатилетнего мальчика, который ничего дурного не хотел, по глупости притащил ружье.

Мы даже не сели за стол, только я на две минутки примостился у его края, чтобы написать результативную часть определения и дать его всем подписать.

Мы вышли в зал. Все встали, как и положено. Платонида Семеновна, надев очки, быстро прочла: «Приговор народного суда изменить, Прохорову, Дмитрию Ивановичу, определить меру наказания — три года заключения условно, меру пресечения изменить, из-под стражи освободить».

В нерушимой тишине, в которой было слышно только чье-то прерывистое дыхание, адвокат Ламчинский, удовлетворенно кивнув головой, зашелестел бумагами на столе.

Пронзительный, истошный женский крик, донесшийся от двери, прорвал тишину, ударил по нас:

— Убийцы! — Крик захлебнулся в отчаянном всхлипе, вырвался опять, еще громче: — Убийцы!

...Воспоминания — как обвал в горах. Приходилось ли вам бывать в горах и издали смотреть на то, как рождается обвал? Издали, потому что не дай бог в него попасть. Где-то, непонятно где, посреди разноцветной зелени гор,

среди бурых и черных скал, в путанице разорванных облаков, медленно плывущих с бугра на бугор, рождается глухой гул. Смотришь и ничего сначала не видишь. Вовсю сияет солнце на небе, все залито светом. Но вдруг гул, приближаясь и нарастая, с ревом и грохотом обрушивается вниз, и уже видишь, как грозным серо-коричневым валом, круша и переворачивая все, что попадается на пути, по склону со страшной скоростью вихрится в ущелье нечто громадное; у тебя на глазах с горы сдирается кожа и деревья — лес деревьев! — летят, будто взорванные, комлями вверх, они уже вовлечены в этот водоворот. Все, все захватывает обвал — налетит внезапно на стоящее в стороне дерево, перевернет его и, кувыркая, потащит за собой!

Так и воспоминания — тронешь один какой-то камешек в их спокойном, уснувшем нагромождении, тотчас рядом зашевелятся другие, и уже сдвинулись все. Подталкивая друг друга, живым, бурлящим потоком, захватывая и то, что кажется стоящим в стороне или забытым, они обрушиваются на тебя. Скажем, к чему было вспоминать про то, как Люшкина с каких-то пор ходила преображенная, словно жила в ожидании чего-то огромного? И казалась непривычно оживленной, наэлектризованной, шаг ее стал поспешным, упругим, неизвестно почему она густо краснела, шею заливала алая краска, как будто ей в лицо плеснули вишневым соком и сок со лба стекал вниз, все ниже и ниже, по щекам, шее, за ворот платья. Да, война захлестнула страну, а к Люшкиной посреди бед нагрянуло счастье, хотя и неустроенное, неверное. Он должен был еще развестись, и кто знает, что ждало их впереди. Люшкина с воодушевлением уговаривала его во что бы то ни стало добиться, чтобы его взяли в армию, там его место... Глаза Люшкиной при этом блестели, она как бы сама шла на фронт, победа сулила ей счастье.

А у Субордина были свои горести и радости. Недавно вторично женился, в пятьдесят лет у него родилась дочка, он много рассказывал о ней, шутил. Потом стал приходить мрачным — старший сын давно не писал с фронта. По утрам Субордин на первой странице «Туркменской искры» долго, мучительно долго читал военную сводку. Казалось, он складывает ее по слогам, разбирает и вновь складывает, надеясь найти в ней наконец что-то другое. Он сидел за косо поставленным столом у самого окна. Так и вижу его — в коричневом двубортном костюме, медли-

тельного, застывшего над газетой. Вертикальные резкие морщины прорезают его медно-красное удлиненное лицо, на котором застыло недоумение. Голоса, шаги доносятся через окно с улицы, там снуют фигуры людей... Потом был день, когда Субордин явился на работу довольный, словоохотливый, долго рассказывал, обстоятельно и длинно, какие-то старые истории и никак не мог угомониться. От сына пришло письмо. Целый месяц Субордин хвалился перед нами дочкой, сыном и вообще своей жизнью, которая прошла преотлично. Затем — вновь замолк.

Обвал воспоминаний захватывает в свой вихрь и эти картинки, и я вижу Люшкину, Субордина...

Позвонил Тугих, потребовал меня к телефону.

— Что вы делаете? Думаете, вам наверху все можно? — Голос, по обыкновению, звучал обиженно и чуть хрипловато.

Это, конечно, о деле тринадцатилетнего Прохорова.

— Ты же судья, сам понимаешь...

Тугих не слушает, прерывает:

— Значит, что, убивайте, все разрешено? Посреди дня застрелили мальчика...

— Слушай, что ты мелешь?

— Вынеси я такой приговор, меня разорвали бы на месте, и теперь ко мне ходят, я должен за вас отвечать, все вокруг гудит... Вы вот оторвались, ничего не знаете!

Пробую что-то сказать, но все бесполезно. Тугих не слушает, твердит свое.

В городе действительно, с кем ни повстречаешься, спрашивают: говорят, убили ребенка, а убийцу выпустили на свободу? Как же так? Есть у нас суд или нету? И кто там сидит, если такие вещи делаются, оставляют убийство безнаказанным? Начинаешь объяснять, в чем дело, с сомнением качают головой. «Что-то не верится. Нельзя, нельзя, чтобы убийца был на свободе». Впечатление какого-то массового психоза. Я перестаю отвечать на вопросы, ведь все равно не верят. Размышляю об этой темной силе слепого заблуждения, которая сродни суеверию [...].

Приходит Ламчинский, сутулый, небритый.

— Мальчик опять сидит,— сунув истрепанный тощий портфель на колени, адвокат устало опускается на стул.

— Кто? Митя Прохоров? Каким образом?

— Верховный Суд по протесту прокурора отменил ваше определение. И тотчас послали милиционера, посадили мальчика. Родственники убитого ходили повсюду — и в Совнарком, и к прокурору республики. Если так, говорят, то дайте его нам в руки, но терпеть, когда наш мальчик мертв, а этот гуляет... Теперь конец! — Ламчинский машет рукой.— Он там погибнет!

Спустя несколько дней из Верховного Суда возвращается дело Прохорова, читаем определение, подшитое вслед за нашим,— да, все так, наше решение отменено, оставлен в силе приговор народного суда, Митя Прохоров взят под стражу.

Еще одно наше определение отменено, и тоже по делу, которое на том же заседании докладывала сама Платонида Семеновна. А как размахивала тогда этой зеленоватой папкой, как громко и категорично заявляла — вот тут Тугих правильно решил! По делу проходила группа десятиклассников, больше из озорства, конечно, по глупой лихости укравших велосипед. Народный суд применил к ним условную меру, мы оставили ее в силе.

Вместе с Тойфе мы пошли к Платониде Семеновне. Я попросил его пойти вдвоем для «большего авторитета». Все-таки член Верховного Суда Украины, заслуженный, опытный работник. Не то что я. Я, быть может, разволнуюсь, а он скажет спокойно, как полагается. Пускай это только миф, что он не чета нам, специалист куда более квалифицированный, иногда могут пойти на пользу и мифы. Может, это плохо, прибегать к помощи авторитетов и мифов, чтобы добиться правды? Но в тот день я об этом не думал, я торопил Тойфе — пойдемте, нечего тянуть, нужно немедленно что-то предпринять.

Платонида Семеновна почти тотчас согласилась — валяй, пиши представления по обоим в Москву, в Верховный Суд Союза, я подпишу. На другой день мы отослали оба дела в Москву. Дорога им предстояла трудная, долгая — поезда медленно плелись от станции до станции, давая дорогу воинским эшелонам, а Митя Прохоров тем временем должен сидеть в тюрьме.

Эти представления нам особо припомнили через несколько дней.

Срочно было созвано заседание коллегии Наркомюста.

Предупредили — присутствовать всем членам областного суда.

Мне еще никогда не приходилось бывать на столь высоком совещании. И я шел на него преисполненный ожидания чего-то мудрого и просветляющего [...].

На повестке дня работа областного суда.

За длинным столом сидят члены коллегии.

Во главе стола нарком, заместители.

Окна затянуты портьерами: и здесь соблюдается затемнение.

Душно.

Короткий доклад, прения.

И вдруг слышу: «Почему в областном суде пляшут под дудку этого молодого человека?!»

Вскоре «молодой человек» становится именем нарицательным. Все ругают молодого человека. Это он сочинил представления по двум делам, подсунул на подпись, тем самым выступил против Верховного Суда республики, черт знает что натворил. И вообще — как мы посмели! В военное-то время! Когда вся страна напрягает силы... областной суд не перестроился на военный лад! И опять: почему все слушаются этого молодого человека?

Молодой человек — это я...

Все взоры ввинчены в меня. Я сижу на накаленном, жгучем стуле.

Но — самое главное — я никак не могу понять, почему говорится такое про меня и про те два дела! Да, конечно, я согласен: произошел страшный случай, случилось убийство, погиб мальчик, весь город говорит об убийстве. Страшный случай, конечно! Но нужно же разобраться, нельзя поддаваться чувству мести, вспыхнувшему у родственников погибшего...

Насчет этого чувства мести я повторял про себя, чтобы не забыть сказать, когда меня спросят.

Выступает Платонида Семеновна.

Сначала я удивился: что она говорит! Широко, крепко расставив ноги, высокая, прямая, как решительно она встряхивала стриженой черной головой, возвышаясь над длинным, покрытым зеленой скатертью столом, как энергично рубила воздух кулаком. Точно на трибуне посреди огромной площади произносила митинговую речь. Выходило, что и она, Платонида Семеновна, вовремя не разобралась, а должна была по своему опыту разобраться и

направить, а где нужно, и поправить молодых товарищей (это что, опять обо мне?). Но теперь поняла, какие серьезные ошибки нами допущены. Убежденно, искренне она говорила, повернулась и к нам, назвала нас по именам — мы обязаны понять, ни дня промедления, с завтрашнего утра все должно быть перестроено, пусть работники областного суда это усвоят, она заверяет руководство наркомата: будут сделаны необходимые выводы...

И меня увлекла эта речь, настолько звучала искренне. Я понимал, Платонида Семеновна действительно по-новому взглянула на нашу работу.

Комната заседания мне запомнилась зеленой. Длинный зеленый стол. На столе у наркома горела зеленая лампа. И портьеры на окнах были зелеными. Поэтому, наверное, и запал в память этот зеленый цвет. За длинным столом, то и дело удивленно и осуждающе покачивая головами, с серьезными, насупленными лицами сидели члены коллегии. А мы, работники областного суда, расположились все в один ряд вдоль стены.

Раза два кто-то из соседей потихоньку дернул меня за полу пиджака, я слишком волновался, ерзал...

Да, речь Платониды Семеновны убедила и меня. Конечно, с завтрашнего дня надо работать по-другому. И очевидно, есть что-то важное, что мы проглядели. Да, да. Только в отношении дела Прохорова и того другого я никак не мог согласиться. Нет, тут мы еще поспорим. Не сегодня, так завтра. «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней...» — твердил я про себя давно полюбившиеся строчки. Правда, то, что всю вину валили на меня, было тяжело. Я даже не думал о том, что следует крепиться. Я думал, что сказать, когда мне предоставят слово, и придумал глупейшее начало для речи: «Ну вот, я тот, под чью дудку пляшет областной суд...» Потом я отказался от такого начала, продолжая все же втайне гордиться, что это я, оказывается, диктую в областном суде. Как ни мучил вопрос, что же со мной будет, глупое тщеславие кружило голову.

Но мне слова не дали.

— Можете быть свободны,— сказал нарком.— Решение потом будет вам сообщено.

В тяжком молчании гуськом, один за другим покинули мы зеленый длинный зал заседаний.

8

В молчании мы шли по темному вечернему городу.

Платонида Семеновна, еще раз сурово напомнив, что теперь придется засучить рукава и что с завтрашнего дня все пойдет по-другому, сразу же повернула к своему дому.

Другие тоже вскоре поотстали.

Нам троим — Субордину, Люшкиной и мне — было по дороге.

О заседании мы не говорили.

Наверное, каждый про себя обдумывал случившееся. Потому и молчали.

Только Субордин, кряхтя, изредка выдавливал что-то невнятное, похожее на «так-то!», и недоуменно покачивал головой.

Если бы горели фонари, то впереди Субордина на тротуаре так бы и двигалась качающая головой длинная тень.

Но мы шествовали в сплошном мраке и только смутно видели друг друга да слышали свои шаги. Потом Субордин спросил меня:

— У тебя закурить не найдется?

Курева у меня не было. Субордин опять пробормотал «так-то!».

Из темноты вырвался торопливый, горячий полушепот Люшкиной:

— А к Есенину как теперь следует относиться?

Нашла о чем говорить! Самое подходящее время!

— У него есть и неплохие вещи.

— А знаешь такое стихотворение? — Прерывистым шепотом она, волнуясь, стала читать: — «...Только нецелованных не трогай, только не горевших не мани... Кто любил, уж тот любить не может... кто сгорел, того не подожжешь...» «Кто любил, уж тот любить не может»...— сама вслушиваясь, повторила Люшкина.

Я сказал, что знаю эти стихи.

— А вот как ты думаешь,— совсем близко я услышал ее возбужденное дыхание,— правильно это — кто любил, уж тот любить не может? Верно это или нет? Верно ли?! — нетерпеливо воскликнула Люшкина.

Ей очень было нужно, чтобы я сказал — нет, неверно. Я сразу это понял, и боль прошла через мою грудь.

— Да, — сказал я, медленно разжимая губы, — кто

любил, уж тот любить не может... — От этих слов мне стало еще больнее, просто нестерпимо больно. Но я чувствовал, что не могу иначе ответить.

— Нет, неверно! — Люшкина кинулась в атаку, заговорив голосом спорщицы, ее голос с каждым мгновением поднимался все выше. — Можно, сколько бывает случаев! А может быть даже так, что первая любовь была ошибкой... Ведь может так быть? Скажи? Вовсе не было любви...

...По-разному пахнут вечера в Ашхабаде. Иногда — густо-пьянящие и жарко, напоенные острыми запахами южных цветов, листьев, растений. Идешь сквозь эти запахи, как через лес. А тот вечер, кажется, был зимним, сухим и холодным, и пахло все той же сухой пылью, простором пустыни и ветром с гор. Где-то вдалеке в черной тьме невыключенный громкоговоритель бормотал над крышами маленьких домиков сводку Совинформбюро, и оттого, что нельзя было разобрать слов, она казалась страшной, тревога закрадывалась в сердце. И впрямь рождалась мысль — идет такая война, все поставлено на карту, действительно, не миндальничаем ли мы? Может, и правда, надо как-то по-другому?

Мы и знать еще не знали, сколько долгих военных лет лежало впереди.

9

...На заседании коллегии наркомата мне еще вменялся в вину мягкий приговор по делу Илькова, виновного в контрреволюционной агитации. Вообще дела по статье 58-й у нас проходили редко. В основном они шли в трибунал, в другие инстанции. Но несколько дел, очевидно считавшихся наиболее простыми, поступило и к нам. Одно такое — по обвинению Илькова.

Началась война. Ильков сидел в тюрьме. Попал туда за нарушение паспортного режима.

Отпечатанная на тонкой папиросной бумаге, в деле была и копия нашего определения по жалобе Илькова на первый приговор. И я, оказывается, участвовал в заседании уголовной коллегии, когда рассматривалась кассация: рядом с фамилиями Люшкиной и Субордина на тонкой бумаге знакомым шрифтом нашей машинки была напечатана и моя. Люшкина своей подписью заверяла, что копия с определения верна. Значит, на заседании доклады-

вала дело она. В определении указывалось: приговор народным судом вынесен правильно и оснований для его отмены нет, так как гражданин Ильков пять раз предупреждался о необходимости в течение двадцати четырех часов покинуть пределы города, о чем имеются соответствующие акты, однако продолжал проживать без паспорта и прописки.

Стандартный случай, не вызвавший у нас никаких споров. Нарушил закон — получай наказание. В институте на лекциях по уголовному праву на этой статье кодекса (о нарушении паспортного режима) особо не останавливались, по-моему, даже не упоминали ее. Статью просто нужно было знать, чтобы, если спросят, ответить на экзаменах...

Теперь эта статья закона как будто применяется поиному, более гибко. Ведь она, если разобраться, касается людей, в силу тех или иных обстоятельств, возможно вследствие какого-то трагического случая, несчастных совпадений, попавших в беду и выбитых из нормальной жизненной колеи. Конечно, и их вина есть, может и тяжкая, но подчас механически составляемые акты о нарушении паспортного режима и предписания немедленно выехать не помогали вновь выбраться на дорогу. Даже тогда, когда были и желание и возможность. Нет, наверное, надо искать какие-то другие средства для воздействия на этих людей! В газетах в ту пору печатались многочисленные статьи и очерки о том, как закоренелые преступники, воры и взломщики, шантажисты и мошенники с многолетним стажем бросают свое ремесло, приходят с повинной и работники милиции и прокуратуры помогают им стать на ноги...

Но тогда я над этим не слишком задумывался.

К тому же город наш был пограничным, и, видимо, разного рода бродягам околачиваться тут было не к чему...

Но все-таки кое о чем, мне кажется, я подумал в тот день, когда судили Илькова за его контрреволюционные выкрики...

Ввели его в комнату (опять мы заседали в тюрьме). Я посмотрел на подсудимого и сразу же взглянул еще раз. Желтое лицо в рябинках, низкий лоб, вздернутый нос. Выгоревшая, непонятного цвета косоворотка. Плотный невысокий парень. Походка медленная, вразвалку. Я оторвался от лежавшего на столе обвинительного

заключения, глянул в третий раз. Перед глазами мгновенно возник Русский базар в центре города, яркий, солнечный день. И этот вот парень, сидящий под навесом на земле на корточках. Запомнился его ленивый, вприщурку взгляд. Кажется, то был он, такое же рябое желтое лицо!

Когда сидишь в кассационной коллегии и рассматриваешь жалобы на приговоры, осужденных, приносящих жалобы, не видишь. Они, один за другим, просто по статьям, по сути доложенного дела безликими проходят перед нами и исчезают, остаются с тем же наказанием, или с уменьшенным, или должны вновь предстать перед народным судом, если первый приговор отменен, или бывают освобождены, но их облик нам неведом.

А тут передо мной на скамью подсудимых уселся во плоти один из тех, приговор в отношении которого по мелкому, как мы считали, делу в свое время был оставлен нами в силе; лицо его оказалось где-то виденным, и я вспомнил базарный день, рябое лицо, вздернутый нос и выгоревшую косоворотку.

Спустя месяц после начала войны Ильков в камере, колотя кулаками в дверь, чуть ли не ежедневно стал выкрикивать контрреволюционные лозунги, кричал — пусть придут немцы, пусть!.. И когда его выводили в коридор или на прогулку, тоже кричал. Составлялись акты. Много их накопилось. Там полностью записывалось все, что выкрикивал Ильков.

Я посмотрел в дело — да, есть заключение судебно-психиатрической экспертизы: здоров, полностью отвечает за свои поступки.

Проходят свидетели, надзиратели и заключенные, подтверждают.

Ильков сидит, откинув голову к стене, уперся в нее затылком.

Лицо безучастно.

— Правильно говорят свидетели? — спрашивает прокурор.— Ильков, слышите, я вас спрашиваю? Встаньте.

Ильков медленно встает.

— А что ж... Что же...

— Правильно говорят?

— Правильно.

Он вновь садится, откидывает голову, застывает.

Ему всего семнадцать лет.

При заседаниях в тюрьме приходилось переиначивать

кое-что из процедуры — не суд выходил, а выводили подсудимого, уходили свидетели, начальник тюрьмы, прокурор, адвокат, мы оставались одни. Мы с заседателями посовещались — что делать? Ильков ранее был осужден на два года. Думали-думали, добавили ему еще два. Нет, он, конечно, думал я, не контрреволюционер. Но вот перед нами его поступки, вот как он ведет себя! Да, да, запутался, жизнь выбилась из колеи... Как-то неприятно было глядеть на прежнее наше определение в деле. Но и там мы, несомненно, действовали по закону, вины нашей не было. А тут еще так закрутилось с новым этим делом...

Хоть и тяжело было на душе, но я считал, что иного мы ничего сделать не можем — только присовокупить к тем двум годам еще два.

На другой день Платонида Семеновна спросила у меня, чем окончился процесс. Потом, помедлив, подумав, вскинула глаза: не мало ли я дал, и, когда я объяснил свои резоны, согласилась: «Правильно!»

А теперь вот говорят — мягкий приговор, искажение карательной политики. Даже несколько раз были повторены эти слова — дело Илькова, искажение карательной политики. А я между тем сомневался как раз в другом, все думал об этом парне, как же так с ним получилось.

Да, да, идет война. Все для войны, все для победы. Ожесточенная идет война. Там, вдалеке, но отголоски ее доносятся и сюда, чувствуются во всем. Вот и у нас затемнение. Наши войска в Иране. Тьма эвакуированных. Скудные пайки. А главное — то, что приносят сводки и как это отзывается в каждом... Нет, воюет вся страна. Каждый день под вечер на улицах города то и дело встречаются идущие с учений роты, взводы каких-то формирующихся частей... Усталые, с ног до головы белые от пыли, шагают бойцы. В окна врывается песня: «...Пусть ярость благородная вскипает, как волна... Не смеют крылья черные над Родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать...» Может, и впрямь меня заела жалость, когда все нужно собрать в железный кулак, когда, как воздух, как хлеб, необходима стальная, наистрожайшая дисциплина? И некогда, неуместно тут разбираться в тонкостях, в разных нюансах, кто да почему так поступил, а нужно лишь одно — твердость? На войне — так по-военному? Может, правы члены коллегии наркома-

та, может, мы действительно что-то делаем не так? И я, я тоже. Может, я в первую очередь, раз обо мне так много говорили?

Разгорелся у нас как-то посреди рабочего дня спор...

Люшкина вошла нервным шагом, наклонив голову вперед.

С размаху швырнула папку с делом на свой стол и стала ходить вокруг него, как коза на привязи — туда и обратно.

— Из-за всего переживать — недолго протянешь,— мягко улыбаясь, заметил Тойфе.— Через год свалитесь.

Да, Тойфе, помнится, тогда уже работал у нас. В комнату втащили еще один обшарпанный черный письменный стол, поставили у двери. Тойфе, сгорбившись, сидел за этим столом с деликатной улыбкой на лице, что-то писал мелким почерком на четвертушках бумаги...

— Ничего, обо мне не заботьтесь — вытяну! — процедила сквозь зубы Люшкина.— Как-нибудь! — Если она цедила сквозь зубы, если кидала убийственные взгляды, значит, была до предела взвинчена: всех считала своими врагами.

— Оно-то так,— медленно сказал Субордин, пальцем придерживая в деле место, где прервал чтение,— вроде и не хватит сил за всех нервничать и уже привык, здесь сидя, день за днем одно и то же, но если мошенник, так мне его ни капельки не жалко.

Люшкина, со скрежетом двинув стул, разъяренно села на него, застучала кулаком по столу.

— Да, попривыкли ко всему! А нужно за каждого почувствовать...

Она не поняла или не захотела понять Субордина.

Субордин, все еще придерживая пальцем строку, стал терпеливо разъяснять:

— Ты меня не перебивай. Я как говорю? Ежели мошенник, мне его не жаль, и нечего мне его жалеть, сам виноват. А бывают такие случаи — и сделать ничего нельзя, а вроде жалко становится, хоть понавидался я всякого...

— Не жалость нужна,— в сердцах воскликнула Люшкина,— и не сочувствие...

В раздражении она не слушала других, хотела только поскорей выложить, что у самой на душе.

Я к той поре успел в уме разработать некую теорию наиболее объективного подхода к делам, теорию максимальной уравновешенности чувств и приоритета точного юридического анализа. Подробностей той теории я ныне не помню, помню лишь, что часто ловил себя на том, что действую не в соответствии со своей умозрительной установкой — возмущаюсь, волнуюсь, спорю.

Но раз завязался спор о мере участия судьи в рассматриваемом деле, о его, так сказать, сопереживании, как я тогда формулировал, то я стал излагать собственную теорию. Люшкина и Субордин перебивали меня.

— Нет уж, Люшкина,— Субордин оторвал палец от бумаги, потерял место, где читал, и, вразумляя Люшкину, склонился над делом.— Нет, я свои обязанности знаю, но меня, конечно, интересует и должно интересовать только то, чтобы в жизни был порядок, для этого нас сюда назначили...

— Надо так,— Люшкина не слушала,— чтобы не было равнодушия, всю душу вкладывать, и либо я его ненавижу, если он преступник, либо переживаю за него, если случайно попал...

— А этого уже не имеешь права! — перебил я.— Нечего чувствам волю давать! Судья прежде всего должен быть объективным...

Я любил эти минуты нечаянно вспыхивавших споров. Как-то весело, даже отважно становилось на душе.

Хотя, с другой стороны, мне нравилась и простая, строгая деловитость нашей работы, когда каждый сидит за своим столом и — как я иногда высокопарно выражался — извлекает истину.

— Не могу я быть объективной к вору!

— Судья, пока дело не решено, не знает, кто перед ним!

— Да не стучите вы кулаками,— заметил Субордин.

Тойфе грустно вслушивался в наш диспут.

Неожиданно он заговорил, как всегда, тихим голосом, и мы замолкли.

— Помню, давно еще, где-то на третьем курсе, году в двадцать восьмом... Потом мне не дали закончить, прямо на работу отправили, кончил я заочно,— смущенно бормотал он, глядя на нас серыми усталыми глазами, по лицу его пробегали тени, морщился лоб. Тойфе, говоря, все время, неизменно думал или, быть может, помнил о чем-то еще, горестном, непреоборимом, и, забывшись,

скорбно поджимал губы.— Да, так вот, на третьем курсе профессор наш, бывший прокурор республики, в толстовке такой и с животиком, с одышкой, усатый и басовитый, сказал нам: «Если ты, прокурор, имел мужество потребовать высшую меру, расстрел, то должен иметь мужество и видеть, что это такое, сам присутствовать, в законе так и записано...»

Тойфе умолк на полуслове, сморщившись, стал двумя пальцами тереть переносицу.

Я ждал, кажется, и все ждали, когда он перестанет тереть и закончит свою мысль.

Изо дня в день приглядываясь к Тойфе, я хотел понять, что он за человек, но что-то в нем оставалось для меня неясным. И сейчас в его рассказе было нечто не до конца понятное.

— Тяжелое наше дело — выметать грязь,— вздохнул Тойфе.

— Нет,— я не выдержал, вцепился в него,— это неточно, если сказать только насчет грязи...

Люшкина потом меня убеждала: «Ты не цапайся с ним, ему не до споров — вся семья погибла, жена, дети, отец».— «Как так — погибли? На войне? Я этого не знал. Может, не погибли, может, только нет сведений? Но я не знал...» — «Один он приехал и болен, язва у него».— «Язва?» Язва для меня тогда была абсолютно старческой болезнью.

— Что у вас тут за шум? — В дверь просунулась голова секретарши.— Можно мне нести на подпись бумаги?

10

Тяжелая, нервная работа. Иногда я тоже так думал. Нет, какими-то другими словами.

Просто мне казалось: хорошо бы хоть на несколько дней вырваться из этого круга, пожить чем-то другим.

В институте при распределении мы все просились в прокуратуру следователями и представляли, как упорно, узелок за узелком, ночи напролет, в поездках, иззябшие, промокшие, с неизменной папироской в углу рта, распутываем загадочные, сложные преступления. Наутро опять, едва ты лег спать, срочный звонок, тебя вызывают, без тебя никак не обойтись, ты всегда на страже, видишь и понимаешь то, что скрыто от других...

А тут, в суде, что же — и командировок почти не бы-

ло! Плоское, согнутое буквой «г» одноэтажное здание на углу улиц Энгельса и Свободы. Внутри выгорожены несколько комнат и небольшой судебный зал. В доме пахнет канцелярией — пылью, клеем, бумагами — и держится одуряющий запах масляной краски, оставшийся после двух еще довоенных ремонтов. В канцелярии у секретарш полутьма, как на складе. Вдоль стен стоит несколько простых фанерных коричневых шкафов с поступающими к нам на рассмотрение кассационными делами. Иногда шкафы набухают так, что секретарша Лиза, закрывая их, плечом подпирает дверцу. Это значит — большой наплыв дел. Мы сидим по вечерам, корпим над папками. Жарко и душно, глаза закрываются от усталости, встряхнешь головой, выбежишь во двор в темную кабинку с душем, станешь на минуту под холодные струи, затем наспех одеваешься и бежишь назад через вытоптанный множеством ног неосвещенный двор.

Двор — самый обыкновенный, растут два каких-то дерева, а вдоль белого глиняного забора стоят в ряд низенькие склады с тарой. У складов каждый день собираются грузовики, то выгружают, то грузят бочки, ящики... Насчет этих складов у нас идет длительная тяжба с одной торговой организацией, мы хотим их выселить, наш завхоз лелеет грандиозные планы перестройки складских помещений. Платонида Семеновна одобрительно относится к этим планам и за них уважает завхоза. Когда она говорит о складах, на ее лице появляется мечтательная улыбка. Была в Платониде Семеновне хозяйственная жилка: она любила ремонты, и, кажется, будь ее воля, перестроила бы все здание. Впрочем, с началом войны планы со складами отпали.

А внутри, в наших комнатах, изо дня в день шло как будто одно и то же: в восемь утра, пораньше, или, как на юге принято говорить, «пока не жарко», мы являлись на работу и садились за свои столы. Субордин уже читал очередное дело, слюнявя палец, переворачивал страницы. Мы тоже принимались за чтение. Через день, а иногда каждый день собирались заседания уголовной коллегии, большей частью в той же нашей комнате; поочередно каждый из нас докладывал поступившие дела — о хулиганстве, прогулах, самовольном уходе с работы, кражах, растратах, халатности, злоупотреблении служебным положением, спекуляции и так далее и так далее. Покончили с одними, на другой день опять столько же лежит на

столе. Листаешь страницу за страницей: показания свидетелей, опять показания, заключения бухгалтерской экспертизы... (Ох эти заключения! Цифры и цифры, иди разберись, надо и самому все подсчитать, от подсчетов пухнет голова, тут рядом кто-то что-то сказал, ты сбился и опять начинай сначала.)

Когда же кто-нибудь из нас слушал дела по первой инстанции, то исчезал на день или на несколько дней; только утром, бывало, заскочит, кивнет всем и, подхватив дело под мышку, с занятым видом, в глубине души довольный, что оторвался от надоевших кассаций, бежит в зал заседаний, на ходу командуя секретаршей Лизой: «Проверьте, проверьте еще раз, явились ли свидетели. Как там заседатели, пришли? Лиза, Лиза, некогда, надо начинать!»

...Яростные препирательства на заседаниях, когда своего оппонента, товарища, с которым вместе изо дня в день работаешь, такого же члена суда, и видеть больше не желаешь...

— Факт-то налицо. Пять тысяч да еще триста шестьдесят один рубль (Субордин убедительности ради наклоняется к странице дела и читает слово в слово) и одиннадцать копеек (по «копейкам» он постукивает пальцем) как корова языком слизала. Чего еще? Деньги государственные...

— Нужно еще доказать, что они в кармане у завмага.

— Где же еще? — Субордин разводит руками.

— Для того и существует следствие, чтобы выяснить.— Люшкина подбегает к столу Субордина, берет из его рук дело, начинает быстро листать, энергично тычет пальцем то в одну, то в другую страницу.— Я поинтересовалась, мне говорили об этом деле. Смотри, например, что со стульями получается...

— Мне что, имеется акт бухгалтерской экспертизы...

— Экспертиза — не приговор, а только одно из доказательств,— нетерпеливо перебивает Люшкина.

— Это ты на экзаменах говори.— Субордин, рассердившись, вырывает у нее толстую папку дела о хищениях в мебельном магазине (Люшкина заочно учится в юридическом институте и дважды в год во время сессий ходит повсюду с учебниками).

— Дело о двенадцати стульях,— я некстати вставляю ироническое замечание.

— Придется отправить на доследование! Как хочешь, а придется! — настаивает Люшкина.

Другое дело. Тут горячусь я. Люшкина внимательно слушает, сначала возражает, потом задумывается.

— Ну и что, если и нет бюллетеня?

Речь идет о недельном прогуле, вернее, о самовольном уходе с работы. За это полагалось от трех до шести месяцев тюрьмы.

— Бюллетень не единственное доказательство болезни...

— Идет война,— вмешивается Субордин.— Надо укреплять трудовую дисциплину или не надо?

— Ну?

— Нет, ты скажи, надо или не надо?

— Надо.

— То-то!

Такой аргумент как будто решает все, и не знаешь, что возразить. Ведь действительно каждое предприятие, любое учреждение теперь должно работать с предельным напряжением. Каждый человек должен отдавать все силы фронту. Так думаем мы все.

Вопрос, кажется, исчерпан.

Но все же...

— Разве неправильное решение укрепляет дисциплину?

— Еще надо доказать, что неправильное. Востер ты! У тебя сразу — неправильное...

— Если был болен, был бы бюллетень. Что же, не мог он больничный лист взять? — спрашивает Люшкина.

— Мало ли что могло случиться! Вот он пишет — не смог вовремя врача вызвать, затем врач дал только справку. Он принес ее на работу, там не приняли ее во внимание и затеряли...

— Так это он говорит! А бюллетеня нет.

— Бюллетень нужен бухгалтерии, а мы обязаны по существу проверить! — кричу я.— У нас не существует формальных доказательств.

Я готов тут же прочитать лекцию о формальных доказательствах, меня даже вдохновляет такая перспектива. Но с какого-то времени я стал понимать, что в каждом отдельном случае надо опираться на конкретные данные дела, на мельчайшие детали, иногда на какое-то одно мелькнувшее ненароком слово, чтобы от него, нащупывая новые и новые узелки фактов, прийти к истине.

И в том маленьком, всего в несколько страничек, деле о самовольном уходе была какая-то фраза, подтверждав-

шая доводы обвиняемого. Я посреди спора вспомнил о ней и, не утерпев, бросив реплику, что только в средневековом процессе опирались на формальные доказательства, торопливо стал скользить глазами по протоколу судебного заседания, бормоча:

— Сейчас, сейчас, тут в одном месте представитель администрации упомянул, что действительно была справка...

— Надо делать выписки, вон как Тойфе делает,— поучающе заметила Люшкина. С некоторых пор она тоже заполняет заметками четвертушки бумаги.

— Я и так помню,— самонадеянно отвечаю я. К счастью, натыкаюсь на нужную фразу и в восторге заставляю Субордина и Люшкину ее прочесть.— Вот, значит, справка была, ее принесли, но подошли с точки зрения соцстраха и затеряли или не нашли нужным приложить... Одно за другое цепляется. А человек действительно был болен, возможно, совсем ни за что под суд попал...

После таких споров, которые, бывает, горячат, вечером, возвращаясь домой и вспоминая суматошный день, я вдруг чувствовал: несмотря на усталость или благодаря ей, полон удовлетворения, сил и люблю свою работу. Люблю этот ежедневный поиск, сцепку мельчайших фактов, из которых нужно сложить правдивую, точную картину. Иногда же начинаешь с догадки, с чего-то интуитивного и вновь и вновь рыщешь по исписанным корявыми почерками страницам, за строчками показаний встают лица, характеры, отношения, сплетаются перед тобой жизненные истории, в которые нужно вмешаться, что-то сделать! И уже не службой казалась наша работа, а делом жизни, благородным делом. Ну и что, если приходится тяжко? Ты же знал, что будет нелегко. Зато нужно, нужно, и если сам попадаешь под удар — что поделать? И еще я присочинял: ведь и история так делается, результат возникает из столкновения разных воль, соприкосновения разнодействующих сил... И как все-таки хорошо, когда очередное дело приносит новую, полезную для общества задачу, пусть связанную с судьбой только одного человека, и от тебя зависит правильно разобраться. Поэтому интересен каждый, пусть самый обычный, случай!

Так я разглагольствовал про себя и думал о том, что люблю свою работу, наш такой обычный дом, нашу суету и разногласия, привычный стройный ход судебного заседания, когда, казалось, за своим судейским столом управ-

ляешь живым организмом. Нет, дирижируешь исследованием, розысками правды ради общественных интересов и интересов каждого вовлеченного в сложную жизненную перипетию...

Я шел и рассуждал и благословлял то, что приходится трудно, голова у меня немножко кружилась от голода, и я отгонял мысли о лишнем блинчике в нашей закрытой столовой.

А неприятностей в ту пору набралось много.

Мы, часть членов суда, после заседания коллегии наркомата действительно чувствовали себя под ударом, так что не должны были больше допускать ни малейшей ошибки.

На другой день вызвали в наркомат Люшкину. Вернулась она мрачная, с красными глазами.

Намекали, желательно, чтобы она переехала на работу в другую область, членом тамошнего суда.

Потом вызвали Субордина, тоже беседовали на такую же тему — что он скажет, если предложат перейти на другую работу? На какую конкретно, об этом ни слова.

Доходили слухи, что в наркомате усиленно обсуждается вопрос о пересмотре кадров нашего областного суда.

Меня почему-то не вызывали, даже Платонида Семеновна со мной ни о чем не говорила, и казалось, это неспроста и не к добру.

11

Забежал ко мне в суд Гена, поскрипывающий ремнями, уже с тремя кубиками в петлицах; с видом очень занятого человека, поминутно поглядывая на дверь, он сообщил, что завтра утром уезжает. Получил назначение на фронт помощником прокурора армии. Видишь, только тебе показываю, радостно помахал он бумажкой, затем бережно спрятал ее в карман гимнастерки, тщательно застегнув пуговицу.

Он говорил, что провожать его ни к чему, но я не послушался.

Рано утром на вокзальной платформе, стоя в сторонке от суетящейся толпы, мы поджидали поезд.

Давно я здесь не был, все казалось изменившимся, словно мы, заблудившись, забрели в незнакомое место. Может, это было оттого, что другим стал облик пассажиров, да и число их значительно умножилось. Тогда я об

этом не подумал, видел только, как непрерывно движется по платформе людской поток, примечал многочисленные узлы, старые, пообтершиеся, перевязанные ремнями и веревками чемоданы, видел, что и одежда на пассажирах поношенная, истрепанная. Среди уезжающих больше всего было военных в серых шинелях, и эти шинели бросались в глаза в первую очередь.

Все, что тут творилось, казалось вписанным черной тушью резкими штрихами в фон широкого, чуть подкрашенного блеклыми красками неба.

Черный, на черных сваях, высился перекинутый через пути железный мост с крутыми ступеньками. Постоянный глухой железный грохот несся оттуда, так что чудилось — то не шаги идущих топочут, а сам мост до предела насыщен этими звуками.

В конце платформы громоздилась гора черного угля, и от нее тянулись черные тропки через пути и по платформе.

Едко пахло гарью, машинным маслом, мазутом, угольной пылью.

И само здание вокзала, со стороны железнодорожных путей покрытое въевшимися крупицами антрацита, выглядело почерневшим.

Над платформой хрипло закричал громкоговоритель, передавая первую, еще вчерашнюю сводку Совинформбюро. Люди хлынули к столбу с репродуктором.

Гена как бы ненароком все время поглаживал свои три кубика то на одной, то на другой петлице. Опять он говорил, что ему одному дали старшего лейтенанта и один он получил такое назначение, остальных с краткосрочных курсов направили в дивизии следователями или секретарями трибуналов, а его отличили.

— У тебя, я слышал, какие-то неприятности? — рассеянно спросил он, тут же перебил меня и все с тем же радостно-возбужденным удивлением в голосе спросил: — Это ведь здорово — сразу помощником прокурора армии? Глядишь, затем и в прокуратуру фронта перекинут, а? А там — да нет, в армейской прокуратуре это тоже возможно, если быть организованным, можно постепенно собрать материал для научной работы и после войны сразу в аспирантуру. Я думаю преподавать, развивать теорию, неплохое дело? Как считаешь? Сам знаешь, у меня к этому склонность...

Смущенно засмеявшись, Гена махнул рукой:

— Зафантазировался я. Работы будет по горло. Предупреждали нас...

Не выдержав, минуту спустя Гена вновь заговорил о себе:

— Николай Семенович меня поздравил. Пожал руку, сказал, горд, что его ученик идет на фронт... И из кандидатов в члены приняли, тут же выдали документы! — Гена выпул новенький партбилет, показал мне, открыл первую страницу, полюбовался сам. — Конечно, могут и убить,— поглядев на вокзальные часы, голосом человека, которого смерть нипочем не настигнет, небрежно бросил он. И заговорил о том, что едет первым, остальные, получившие назначение, собираются завтра и послезавтра. Ему посчастливилось получить литер. Ведь очень важно с самого начала показать себя с хорошей стороны, верно? Может, встретится там и кто-нибудь из знакомых, из институтских, не может того быть, чтобы не встретились, так ведь? Но это между прочим, потому что в армии каждый за себя в ответе, а он на знакомства никогда не рассчитывал, просто интересно повстречаться...

Он был возбужден, полон нетерпения, глаза радостно сверкали.

— Держись, старик! — Гена крепко пожал мне руку.

Медленно с черным паровозом впереди к станции подплыл зеленый поезд, и платформу вмиг запрудила движущаяся, колышущаяся толпа. Гена нырнул в эту разношерстную массу и удивительно быстро стал продвигаться вперед — я видел его шапку, которая выныривала то тут, то там, все ближе к вагонам.

Я стоял и ждал, словно и меня мог захватить с собой этот поезд.

Раздался гудок, состав тронулся, протащил свой хвост под черным железным мостом, стал прибавлять ход, шел все быстрее и быстрее, оставляя за собой двойной след серебристо блестевших рельсов. Вот уже видны только последний вагон да клубы свинцового дыма. Ту-ту-ту — в последний раз призывно прогудел паровоз. Ту-ту-ту. Стука колес уже не слышно. Как-то там в поезде устроился Гена? Нет, я знал, о нем нечего беспокоиться. Едет с плацкартой, на своем месте, с документами в кармане. Я представил, как он там сидит у окна, повесив, как полагается, шинель. В новом обмундировании, ладный, умный, приятный. Неожиданно мелькнула странная мысль: неужели — да нет, это вполне возможно! — Гена

таким же благополучным, нравясь всем, постоянно выдвигаемый, пройдет и дальше через жизнь и ничто из житейских тягот его не коснется? Странной была эта запоздалая мысль, очень странной по отношению к человеку, который только что вот в этом поезде уехал на фронт, в огонь, в разрывы снарядов. Но мысль эта внезапно пришла мне в голову, я глянул еще раз в ту сторону, куда ушел поезд.

А вечером уже в который раз я пришел в военкомат. Поздно, часу в двенадцатом, сидел в маленькой комнатке военкома. К нему все заходили, докладывали, давали бумаги на подпись. Усталой рукой он тянулся за ручкой, подписывал, непонимающе взглядывал на меня, потом глаза его вдруг закрылись, он встряхнул головой.

— Что у вас? Говорите.

«Не может он мне отказать. Не может,— вертелось в мозгу.— Вот пришел к нему член областного суда...» Я решил и этим козырнуть, правда подозревая, что не умею авторитетно держаться.

— Ну и работайте. Ваша работа тоже нужна.

— Я четыре раза подавал заявления.

— Нужно будет, вызовем.— Он опять тряхнул головой.

— На всякий случай я еще тут написал, оставляю вам.

— Оставьте, — ровным голосом сказал военком. Сквозь пелену сизого табачного дыма его лицо казалось совсем серым.— У вас все?

Обескураженный, по дороге домой я зашел на телеграф и, стыдливо раздумывая, примут ли такую телеграмму, вывел на бланке слова: «Москва. Наркомат Обороны. Наркому Сталину. Прошу принять добровольцем армию, латышские части...» Написал свой адрес, фамилию, пошел к окошку, один-единственный клиент в этот ночной час.

12

В мой рассказ невольно входят все новые и новые лица, входят и затем исчезают. Вот распрощался я с Геной.

Но так в ту пору и было — все в движении, одни люди появлялись, другие, и давно знакомые, и только недавно прибывшие, недавно узнанные, уезжали, отбывали куда-то.

Ушел, например, в армию молодой народный судья Коля Стриганов, мой сосед, который в то воскресное утро первым мне сообщил, что началась война.

Теперь во дворе я встречал только его жену и маленькую дочку. Покиваем друг другу, я спрошу, какие вести. Черноволосая худенькая соседка с выпирающими ключицами и тонкими девчоночьими руками доверчиво и с подробностями быстро пересказывала полученные известия и легким шагом, размахивая сумочкой, бежала по делам.

Вместо Стриганова народным судьей стала работать недавняя выпускница Саратовского юридического института, перед вступлением в должность с месяц практиковавшаяся у нас в областном суде.

Впрочем, то, что она у нас практиковалась, не столь важно, я упомянул об этом лишь для того, чтобы объяснить, как мы с ней познакомились. Людмила Шашкова была крупной и полной, с круглым пухлым, белым от пудры лицом. Бросались в глаза ее величественная неторопливая походка и высоко поднятая, гордо откинутая назад голова с уложенными на ней гнездышком косами. Да еще щебечущая речь. «Она пудрится, красит губы!» — возмущалась Люшкина. Платонида Семеновна тоже както заметила, что поговорит с Шашковой, судье, мол, такое не приличествует. А я, по-видимому, в ту пору был спорщиком и вольнодумцем — почему, спрашивал я, почему не приличествует? Что за предрассудки! Я знаю многих хороших девчонок, у нас в институте были, красили губы, иногда даже подмазывали брови, и ничего. Приводил и строчки из Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» — «Хватит,— пресекала мои рассуждения Платонида Семеновна.— Судья есть судья. А такие разговоры следует оставить».

И предположить я не мог, что нашей практикантке суждено сыграть неожиданную роль в моем тогдашнем житье-бытье.

Шашкову намечали направить народным судьей в районный городок. Оформляли долго, она сидела у нас, просматривала дела, по каждому обращаясь к кому-нибудь с вопросами. Мы, конечно, были обязаны контролировать ее доклады. Но Людмилу Шашкову приводил в растерянность любой пустяк. «Извините, пожалуйста, но я должна проконсультироваться,— щебетала она, садясь рядом и придвигая поближе стул. Жаром полыхало от ее пышного тела.— Тут такая сложность...» Когда взяли в

армию Стриганова, для Шашковой мигом все повернулось по-другому. Только вечером сосед мой сказал, что мобилизован, наутро Людмилу вызвали в наркомат. Целый день она заполняла анкеты, опять бегала в наркомат, а еще через день заменила Стриганова.

В армию ушел и адвокат Ламчинский, так и не узнав окончательного исхода дела Мити Прохорова, нечаянным выстрелом убившего другого мальчика.

И у нас в Средней Азии начинают все больше призывать на военную службу, может, и мне остается недолго ждать, размышлял я. По вечерам, возвращаясь домой, гадал — приду, в дверях, заткнутая в щель над замком, углом вверх торчит повестка военкомата! Сегодня повестки еще нет, а завтра или послезавтра взгляну — вот она, вот!

Народный суд, в котором работал Стриганов (а теперь Шашкова), находился в доме, где я жил. У меня была комнатка с окном во двор. Входил и выходил я через двор. Пройдя ворота, поднимался на деревянную, выкрашенную в желтый цвет длинную, шедшую вдоль всего дома террасу с навесом, с нее сворачивал в коридор, а там налево была моя дверь. По утрам у меня в комнате было слышно, как за стеной в помещениях суда уборщица моет полы, затем начинали звенеть женские голоса — значит, пришли девушки из канцелярии. Иногда и вечерами в мою обитель сквозь стенку прорывался гул — шло затянувшееся судебное заседание. Но обычно, когда я приходил домой, стенка глухо молчала, ко мне не доносилось ни звука. И о том, что творилось в народном суде, я знал только по делам, попадавшим ко мне, а секретаря судебных заседаний — по почерку и фамилии, указанной в начале протокола, там, где перечислялся состав суда: «Председательствующий народный судья Стриганов, народные заседатели... при секретаре таком-то...»

Нет, я все-таки должен воспеть свою комнату!

Приехав после окончания института в Ашхабад, начав работать, я узнал, что жилплощади для меня нет. Ни у Наркомюста, ни тем более у областного суда, сколь ни авторитетны эти учреждения, никаких жилфондов. Временно я жил на свободной койке в студенческом общежитии, но знал, что с началом учебного года обязан убраться. Приятная перспектива — очутиться на улице! Привезенный с собой ящик с книгами я поместил в камере хранения на вокзале, изредка наведываясь, чтобы мои со-

кровища не отнесли к бесхозному имуществу. Может, этот ящик меня больше всего и беспокоил... Нет, шучу, конечно... Платонида Семеновна — слава ей! — обладавшая, как я уже говорил, хозяйственной жилкой, вела с кем-то переговоры, и вот отыскалась и была передана в мое распоряжение эта числившаяся при народном суде квадратная келья. Железная кровать с рваным матрацем у одной стены, канцелярский стол с изуродованным верхом — у другой и какое-то странное подобие нижней половины старинного буфета, громоздкое, со скрипящими дверцами и без единой полки,— у третьей. Целое богатство, заполнившее все помещение. Да, еще была плита в углу у изножья кровати. Сразу выяснилось — в плите нет тяги...

Первым делом я привез с вокзала ящик с книгами.

Наш завхоз присоветовал мне маляра и печника — стены моей обители оказались испещренными дырами и непонятными подтеками, сползавшими вниз чуть не до пола. Маляр зашпаклевал и побелил стены и потолок. Печник всю вторую половину воскресного дня пыхтел и ругался над плитой, вывалил на пол кучу золы, раскрошил несколько кирпичей, вмазал в стену три новых и сказал, что теперь должно быть в порядке. Я, беспечный, не подозревая, что в Ашхабаде зимы бывают промозглыми и холодными, вручил ему обещанную мзду и в темноте какой-то валявшейся в углу тряпкой до полуночи мыл пол, иногда садясь для отдыха на подоконник. Потом повалился на железную сразу прогнувшуюся кровать — впервые в жизни единоличный владелец комнаты. Пусть служебной, при суде, но отданной мне. И таким прекрасным казался запах свежевымытого пола, извести, золы...

Как бы то ни было, худо-бедно, но в этой обители, с очень высоким потолком и потому немного смахивавшей на колодец, я жил. Утром иногда кипятил на электрической плитке чай, вечерами после работы читал.

То была моя первая собственная жилплощадь, и хотя бы этим она заслужила, чтобы я ее не забывал, и этим же можно оправдать то, что о ней столь подробно говорю. Закрываю глаза и вижу лампочку высоко у потолка, белые высокие стены, два окна с серыми ставнями снаружи (ставни всегда хоть немножко прикрыты); вижу проклятую плиту в углу, фанерный ящик с книгами, задвинутый под стол... Чуть не забыл, еще там был венский стул с изогнутой спинкой и изогнутыми ножками. Ставил я его

посреди комнаты, под лампочку, чтобы, когда сидел с книгой, свет с высоты падал прямо на страницу. В душные летние ночи я выходил с простыней во двор, под краном чуть смачивал ее и ложился, завернувшись во влажную простыню. Прохлада охватывала тело. Кругом была плотная тишина. Я лежал, смотрел в темноту и мучительно думал, какова-то будет моя дальнейшая жизнь, что меня ждет впереди, думал, думал и засыпал.

...Меня отправили в командировку на целый месяц в районный город Кизыл-Арват. Пришла как-то утром Платонида Семеновна, сказала, давай собирайся. В Кизыл-Арвате в народном суде накопилось много отмененных, подлежавших новому рассмотрению дел. Местный судья не мог ими заниматься, поскольку необходим был другой состав суда.

Я уложил в портфель кое-какие вещи, сбегал в баню на санобработку (для получения железнодорожного билета нужна была справка о санобработке) и по дороге на вокзал завернул еще на работу.

— Может, так оно лучше,— сказала Люшкина,— побудешь там, тем временем все уляжется...

Я не обратил внимания на ее слова, только на вокзале вспомнил о них и стал размышлять, что бы они значили. Хотят на время убрать с глаз долой? Я не боюсь бурь и неприятностей, я готов, нет, я хочу встретить, жажду встретить их грудью, сам сразиться, доказать свою правоту!

Но командировка была на руках, и на другое утро, впервые в жизни (опять приходится прибегать к этим словам) пропутешествовав в мягком вагоне, я вылез на тихой захолустной станции и затем провел там, в районном городке, целый месяц. Будто провалился в какую-то иную, отдаленную ото всего жизнь.

В центре поселка посреди небольшой пыльной площади стоял чугунный черный водонаборный насос, чуть накренившийся набок, с громадной опускавшейся до земли ручкой. Еще там на площади, кажется, был деревянный рыночный навес, весь облезлый, совершенно пустой, сиротливо маячивший в стороне. Здание народного суда вылезало на площадь боком, выдвинув вперед угол и высокую деревянную лестницу, ступенек в двенадцать. А вокруг по узким проулкам виднелись одинаковые кубики беленых, а в большинстве небеленых глинобитных домиков. Серо-желто-коричневые кубики с плоскими крыша-

ми. Дувалы тоже желтые, некрашеные, улички немощеные, с протопками по песку, так что городок казался только что выдержавшим песчаную бурю и с трудом вылезающим из песков. А за крайними домиками поселка начиналась пустыня. Это производило впечатление — идет улочка, дом к дому, и все обрывается в бледно-желтые барханы. Стоишь, медленно переводишь взгляд, видишь эти одинаковые, кое-где тронутые рябью зыби барханы. Песок и песок. Безжизненная, мертвая, застывшая, лежит пустыня, и холод входит в сердце — на горизонте все те же барханы, и понимаешь, что за ними такие же и нет им конца.

Маленький желто-коричневый поселок посреди блеклого, мертвого моря бесконечных песков, с огромностью голубого неба над всем этим...

«Главный судья приехал!» — слышал я разговоры, когда шел по улице, и, видя обращенные ко мне любопытные взоры, норовил идти побыстрей.

Я чувствовал неловкость перед старым народным судьей Атаниязовым, и без того обиженным тем, что какой-то молокосос пересматривает его дела.

Дни я проводил в суде, а вечером вместе с Атаниязовым по притихшим улицам шел к нему домой, садился на корточках на ковер к приготовленной трапезе...

Этот месяц сохранился в памяти как некая пауза в бурном течении событий.

Газеты приходили с запозданием, за несколько дней сразу, и то, что творилось на фронтах, как будто отдалилось, происходило в другом мире.

Атаниязов, грузный, широколицый, с бритой головой, ходивший в брезентовых сапогах и в старом, побелевшем от времени френче с осоавиахимовским значком, привинченным к левому верхнему карману, глядевший на всех пристальным, пронизывающим взглядом, железно молчаливый, по вечерам все же оттаивал. Медленно и тщательно произнося каждое слово и оставляя между ними паузу чуть ли не в минуту, говорил:

— Вы... молодые... живете... не зная... трудностей.— Следовал еще более длительный перерыв. Наморщив лоб, Атаниязов обдумывал, правильно ли он сказал, достаточно ли взвесил свою мысль, и, поразмыслив, в подтверждение тяжело кивал головой.— Пришли, когда все уже сделано. На готовое. Учились. Имеете образование. Это хорошо! — вновь обдумав сказанное, он счел нужным

отметить полезность образования. — Однако не цените. А я? Я кем был? Простым дехканином. Пас овец. Мне все дала советская власть.

— Мне тоже все дала советская власть,— не сдержался я.

— Вам все легко дается. Молодежь нынче знает одно — ей все дороги открыты... Избалованная...

Я изнемогал от необходимости дипломатничать, старался не спорить, чтобы невзначай не задеть моего хозяина. Такую дипломатию я считал вещью презренной, недостойной принципиального человека, и порывался начать прямой разговор со старым судьей (Атаниязову было лет пятьдесят пять), но каждый раз вовремя спохватывался. Даже в деловых беседах с ним я стал прибегать к уловкам. Вместо того чтобы сказать — это неправильно, так нельзя делать, говорил: в институте нас учили... в учении об уголовном процессе теперь подчеркивается... в последнее время в закон внесены коррективы... и так далее и тому подобное. Одним словом, говорил не от себя, а от чьего-то имени. Атаниязов слушал с неподвижным лицом и после длительного размышления кивал головой. Я облегченно вздыхал и начинал болтать о чем-то постороннем. Он был очень добрым и внимательным человеком, этот старый судья. Когда я приехал, он сразу твердо сказал — будешь жить у меня, а потом следил, чтобы в суде быстро и точно выполняли мои распоряжения. Мне было даже неудобно, стеснительно от его заботы...

Но вечерние поучения Атаниязова оставляли у меня тяжесть на сердце.

А может, тяжесть оставалась оттого, что я воздерживался от споров, хотя бы по тому же вопросу о молодежи. Попрекал себя в беспринципности, но от споров уклонялся.

Да и жизнь в самом поселке мне казалась невыносимо тягучей, однообразной.

Нерегулярно приходившие газеты опять стали пугать тревожными сводками с фронтов...

Возможно, тем временем мне в Ашхабаде пришла повестка из военкомата, а я здесь сижу, ничего не знаю.

Несколько дел, как на грех, из-за неявки свидетелей из аулов не раз откладывались.

Одним словом, я был по-настоящему рад, когда однажды вечером, огласив приговор по последнему делу (как сейчас помню, то было дело о спекуляции), закрыл по-

следнее судебное заседание и мог ехать домой. Утром, когда я шел к станции, желтый поселок посреди песков мне казался красивым, овеянным романтической дымкой. Я весело смеялся и уговаривал Атаниязова не провожать меня.

...Поезд приходил в Ашхабад во второй половине дня. Как полагалось, сперва я зашел на работу.

Первым, кого я встретил, была Платонида Семеновна. Быстрым, решительным шагом она шла по терраске в свой кабинет.

Переговорили о моей командировке...

— Да, я твоего опять судила, приговорила к расстрелу,— помрачнев, сказала Платонида Семеновна.— Того, из тюрьмы.

— Кого? — не понял я.

— Ну, Илькова, что в тюрьме безобразничал, антисоветские лозунги выкрикивал. Он опять продолжал то же самое...

— То же самое? — переспросил я, замерев, и закричал: — Платонида Семеновна, он несовершеннолетний, его нельзя к расстрелу, законом запрещено...

— Я рассердилась на него.— Лицо Платониды Семеновны стало совсем темным.— Следовало его поучить...

— Платонида Семеновна!

Я ринулся в нашу комнату. Кажется, все-таки поздоровался с Субординым, Люшкиной, Тойфе.

— Ну, как ты? — спросила Люшкина.

Я уже звонил по телефону, номер не отвечал.

— Кому это ты? — полюбопытствовал Субордин.

— Баймурадову (Баймурадов, помните, председатель Верховного Суда республики, это он вызывал меня для беседы о моих ошибках).

— Так его взяли в армию. Председателем трибунала. Он сдает дела. Ты его не застанешь.

— Кто на его месте?

— Еще никого нет.

Я продолжал звонить. «Да нет, и без моего звонка заменят расстрел, не могут не заменить,— соображал я, слушая молчание телефона.— В кодексе прямо указано. Должны заменить, не могут не заменить... Но обязательно надо дозвониться, ведь кто-то может случайно не заметить, сколько Илькову лет, какого он года рождения...

Может просто не обратить внимания. Может произойти ошибка. Из-за простой случайности. Просто могут проглядеть, и это может стоит жизни. Надо звонить, звонить!»

Домой я пришел оглушенный... За какие-то полчаса вновь окунулся в нашу бучу, как будто и не было тихого Кизыл-Арвата. Люшкину по-прежнему раза два в неделю вызывают, настаивают, чтобы поехала в Чарджоу. За хулиганство задержан Тугих, его будут судить...

А Платонида Семеновна приговорила к расстрелу несовершеннолетнего, наверное потом сама разобралась, поняла, что нельзя было этого делать, да поздно...

Прошел по знакомому двору, поднялся на террасу.

Там одна доска в настиле была прогнившей, переломленной посередине.

Я взглянул, чтобы не наступить на нее, и увидел вставленную новую, белую, свежеоструганную, с блестевшими на концах круглыми крупными шляпками гвоздей.

На минуту я задержался перед дверьми своей комнаты, вытаскивая из кармана ключ, ткнул его в замочную скважину.

— Да? Кто там? Входите,— отозвался из-за двери женский голос.

Занятый своими мыслями, я не сообразил, что, наверное, забрел в другой дом. Толкнул дверь. И остановился.

В комнате за выдвинутым на середину, покрытым белой-белой скатертью столом сидела Людмила Шашкова, пила из аккуратной чашечки чай.

И на странном моем полубуфете было постлано нечто белое.

Кровать стояла там же, но вздыбилась горбом двух положенных одна на другую громадных пухлых подушек. На стенке над кроватью тоже висело что-то белое, по нему разноцветными нитками была вышита идиллическая картинка — пруд, лебедь, еще что-то. Плита заново покрашена. И пол. На окнах занавески.

Но все это я, наверное, рассмотрел потом, а в первый миг увидел только залитую ярким электрическим светом комнату и Шашкову. Ее гордо поднятую голову. Ее прическу гнездышком.

— О, я так и думала, что вы на днях должны приехать,— защебетала она, вставая.— Заходите, попейте со

мной чаю. Садитесь, пожалуйста. С дороги надо попить горячего.

Растерянный, не понимая ничего, я сел и стал пить чай. Шашкова была какой-то другой, в чем-то изменившейся. В чем перемена — трудно понять. Сияющая, расцветшая. И соломенные ее волосы, уложенные гнездышком, чуть растрепанные, казалось, излучали сияние. В каждом движении — уверенность, апломб. И от ее образцово отглаженной белой блузки с короткими рукавами, от полных белых рук веяло уютом, домашностью, благополучием. Шашкова и все, что ее окружало, были олицетворением благообразия и счастья.

Помешивая в чашечке миниатюрной ложечкой, она мне поведала, что закуток этот издавна принадлежит народному суду ее участка (это я знал) и что существует — мне это должно быть известно — циркуляр об освобождении всех помещений народных судов от посторонних лиц. Областное управление юстиции (существовало и такое учреждение) вынуждено было срочно принять меры, отдало соответствующее распоряжение, к тому же ордера на жилплощадь у меня нет и обо мне обязан позаботиться областной суд. А народный суд должен пользоваться всеми своими помещениями, тем более что семью Стриганова никак нельзя трогать, он ведь на фронте... Кивая головой, не зная, что ответить, я вспомнил, что перед моим отъездом к нам действительно звонили из областного управления, спрашивали, нельзя ли как-нибудь освободить мою комнату. Тогда ни я, ни другие не придали этому звонку значения.

Мои вещи (ящик с книгами тоже) оказались аккуратно перенесенными в служебный кабинет народного судьи, там, сказала Шашкова, я могу некоторый срок ночевать на диване.

— А я, знаете, за это время вышла замуж,— сияя улыбкой, плавно, царственно поворачивая гордую голову то в одну, то в другую сторону, давая вдосталь собой налюбоваться, радостно рассказывала Шашкова. Глаза ее влажно блестели.— Да, вышла замуж! Приехал сюда мой однокурсник на месячные курсы в Военно-юридическую академию, мы с ним расписались, он окончил курсы, уехал на фронт, и я теперь жена военнослужащего... Жена военнослужащего,— повторила она мечтательно.

Я не понимал, зачем она мне это рассказывает. Наверное, хочет поделиться своей радостью.

— Сколько событий, ох, сколько событий за такой короткий срок! — Шашкова восторженно всплеснула полными руками.

. . . .

В ближайшие дни, собственно на другой уже день, выяснилось, что получить обратно комнату не удастся. Платонида Семеновна сначала, когда я ей рассказал о случившемся, налившись темно-багровой краской, рассвирепела.

— Да мы ее сегодня же выселим! — Губы раскрылись особенно четко, рука легла на телефонную трубку. Через минуту Платонида Семеновна почем зря ругала начальника областного управления: — Почему самовольничаете? Что за мода — взять и выселить члена областного суда? Ты мне не говори, не учи меня... Я сколько лет в партии и в юстиции двенадцать лет работаю... Не учи! Я вот пошлю судебного исполнителя...— Еще она долго что-то кричала, потом швырнула трубку на вилку аппарата и поднялась.— Иду в наркомат! — Она решительно схватила черную свою сумочку со стола, тряхнула стриженой головой.

— А ты бы,— сказал Субордин, оторвавшись от чтения очередного дела, по обыкновению придерживая пальцем место на странице,— тут же пошел бы и внес свои вещички обратно, сказал бы, значит, будем вместе жить, комната моя. Что бы она сделала, а? — Он хихикнул.— Пусть, коли есть такое желание, сама идет почует на диване...

— Безобразие какое! — Люшкина стукнула кулаком по столу.

— Оно-то понятно,— Субордин пояснил,— ей, конечно, тоже где-то жить надо...

А Тойфе, ногтем почесав высокий лоб, вздохнул:

— Ничего не получится. Жена военнослужащего, фронтовика. И комната — при ее суде...

Болезненная соболезнующая улыбка застыла на его лице.

Люшкина волновалась, говорила: что же, Шашкова и областное управление могут безобразничать, нет на них управы? Субордин повторял свое: иди внеси вещи, и баста! Тойфе, страдальчески морщась, пытался объяснить Люшкиной:

— Понимаете, тут коллизия нескольких юридических норм. При создавшемся положении закон отдает предпоч-

тение постановлениям, охраняющим права семей военнослужащих...

— Одним словом,— пробасил Субордин,— сами законники запутались в законах.

Нелепая сложилась ситуация. Полдня мы все вместе судили-рядили. У меня работа валилась из рук. После обеда пришла обескураженная Платонида Семеновна. Говорит, прямо не знаю, что делать. Но так я этого не оставлю. Она еще храбрилась. Можно, конечно, подать в суд, но как это будет выглядеть, если два судебных работника да два судебных учреждения между собой судятся? Это в военное-то время?! Ты, товарищ Тойфе, человек опытный, скажи? Тойфе пожимал плечами.

Вышло, как он предсказал.

Я действительно очутился между небом и землей. Вернее, на диване в судебном учреждении.

Оставалось самому снять где-то комнату. Но когда ее стал искать, открылась картина, какой я реально не представлял. Город был битком набит эвакуированными. Все помещения. Каждый дом. Любой уголок. Семья на семье. Вот оно что! Незаметно изо дня в день город наполнялся... После долгих поисков мне удалось снять лишь так называемое кроватное место в окраинном сумрачном домике, пропахшем нафталином, у тощей, семенящей куриным шажком старушки, бывшей дворянки. В первый вечер при свете керосиновой лампы, неторопливо шевеля бескровными губами, она стала мне рассказывать:

— Помню, в тысяча девятьсот первом году,— голос ее пел,— на крещенье штабс-капитан пригласил меня на гуляние и я шла в белом платьице с белым зонтиком в руке...— Глаза ее засияли, и я вдруг представил себе эту немыслимую седую старину — белый зонтик, белое платьице на крещенье, когда должны быть морозы, солнечный весенний день, и она под руку со штабс-капитаном. Как выглядели штабс-капитаны, у меня не было сведений, я просто вообразил белый китель и лихие усы.

До ухода в армию мне тогда оставался всего месяц, но я этого не знал.

13

Месяц этот запечатлелся в памяти в отдельных эпизодах, в наплывающих друг на друга картинках.

...Парень в вылинявшей, потерявшей цвет косоворотке стоит у самой двери в полутьме кабинета начальника

тюрьмы и, тряся головой, сам весь трясясь, громко, навзрыд плачет.

— О-о-о, ой-ой-ой, и-и-и, а-а-а...— вырывается из его дрожащих губ.

— Ильков, тебе заменили расстрел, слышишь?! — кричит низкорослый лейтенант, заместитель начальника тюрьмы.

— Гражданин Ильков,— возможно громче произношу я официальную формулу,— определением Верховного Суда республики приговор в отношении вас изменен, высшая мера, расстрел, вам заменен...

— А-а-а, о-о-о...— судорожно рыдает Ильков.

Рубаха навыпуск без ремня висит на нем мешком. И руки его бессильно опущены вдоль тела.

Желтое лицо в рябинках искажено в плаче — раскрыт рот, трясутся губы.

Вот что больше всего ударяет по нервам — все, что мы говорим, до него не доходит.

— Ильков, ты понял? Расстрел тебе заменен,— опять кричит лейтенант.— Я же тебе говорил, надо соблюдать порядок, ты не слушался... Заменен тебе расстрел, заменен!

Ильков рыдает, голова его клонится вниз.

— Вот я тебе прочту еще раз,— лейтенант берет из моих рук определение и слово в слово, иногда запинаясь, читает. Я, весь в напряжении, сам того не замечая, механически киваю и смотрю на Илькова, стремясь уловить на его лице след понимания.

Мне выпало на долю идти в тюрьму сообщить Илькову о замене ему меры наказания. В кабинете начальника тюрьмы почему-то было сумеречно, хотя пришел я в середине дня. У двери Ильков — белеет его косоворотка. Трудно вынести его рыдания. Очень долго это тянулось, так мне казалось. В конце концов Ильков все-таки понял, что приговор изменен. Да, приговор изменен, изменен! Иначе и быть не могло, никак не могло быть, я это знал, знал...

Неслышно перелилась вода из графина в стакан. Лейтенант неслышно протянул стакан Илькову, и тот, не откидывая головы назад, а наклонившись вперед, выпил воду большими глотками. Ему еще нужно было расписаться... Рука его дрожала, он вывел буквы подписи и опять всхлипнул.

Илькова увели, я опустился на стул...

...А Додунеев, тот самый, со скошенным подбородком, узкоплечий, бандит, избивавший заключенных, отнимавший у них хлеб, все еще скачет на одной ноге, падает в припадках с пеной на губах...

Лейтенант сам заговорил о Додунееве.

— Затянулось дело,— вздохнул он, вынимая из махорочной пачки щепотку и сыпля ее в приготовленный, согнутый посередке клочок газеты. Тщательно скрутил цигарку, стал водить языком по краешку бумажки.

Я вспомнил нож на судейском столе, тяжелые, неотступные взгляды троих на скамье подсудимых, и особенно — пронзительный, угрюмый взгляд Додунеева.

Спасает свою жизнь, цепляется за последнее, скачет, симулирует припадки... Есть еще мразь на земле, как трудно с ней бороться и как тяжко само это дело — одолевать зло...

В нашу комнату, где мы за своими громоздкими и обшарпанными письменными столами читаем дела и пишем определения, мелкими, никак не подходящими ей пружинистыми шажками, стуча каблучками, с толстым портфелем в руке входит адвокат Доброцумова.

— Вот вы не захотели за мальчика вступиться! — сразу начинает она на высоких нотах, обращаясь одновременно ко всем.— Даром что мальчику всего тринадцать лет! Нет, вы решили остаться в сторонке, перестраховаться, штампуете себе... Правильно, неправильно, вам все равно, а вот Верховный Суд Союза рассмотрел, там по существу подошли, поняли, там настоящие люди, не перестраховщики. Освободили Митю Прохорова, он уже на свободе, но из-за вашего бездушия сколько просидел...

— Доброцумова, вы что, забыли, куда пришли?— разъяренно обрывает ее Люшкина. — Как вы разговариваете?

Действительно, она права, нужно же, чтобы соблюдалось должное уважение к высокому учреждению. Сами себя мы не считали бог знает какими крупными деятелями, просто работники, но авторитет суда ставили высоко и старались беречь.

— Ничего я не забываюсь, я адвокат и то, что есть, говорю в глаза...— Доброцумова не унимается, даже повышает голос и, подбоченившись, поворачивается налево и направо.— Вы испугались...

Ламчинского призвали в армию, и к ней перешло дело о трагическом убийстве. Всей истории Доброцумова, вп-

димо, не знала. И вот пришло определение Верховного Суда Союза об освобождении Мити Прохорова. Доброцумова торжествовала, в ее глазах мы выглядели чуть ли не поборниками зла, черт знает что! Презрительные складки у рта, голос звенит. Мы просто оторопели. Выходит, это она вызволила Митю Прохорова из беды!

Доброцумова носила строгий синий костюм, лицо хранило сугубо серьезное, решительное выражение. Говорила она с ядовитой иронией, важно и весьма внушительно, пустяков для нее не существовало. Рассказывали, что повсюду затевает скандалы.

— Да, да, вы не захотели разобраться! — быстро бросая слова, попрекала она.— Вот видите, видите...

— У вас есть к кому-нибудь дело? Нет? Тогда не мешайте нам! — Люшкина тоже пришла в ярость.— Мы здесь работаем! Идите, идите!..

— Выставила! — минуту спустя смеялся Субордин.— Здорово как! Не ожидал от тебя!

— Что же, терпеть? — Люшкина не могла успокоиться.— Такой бабе только и нужно — спусти ей раз...

— Недалекая женщина,— высказался Тойфе.

— Так что, от ее недалекости всем страдать?

Тут мы опять вспомнили: значит, наше мнение по делу Прохорова оказалось правильным. А ведь нас столько ругали! Да и сейчас получается, что не мы, а кто-то другой отстаивал справедливое решение, а мы отсиделись в стороне. Конечно, Доброцумова уж постарается разнести это по всему городу. Она воображала себя героиней! Было досадно, что ввязались с ней в перебранку и, как всегда в таких случаях, за человеческую глупость неловко стало самим. Но все-таки радость — Митя оправдан. Значит, стоило бороться, не опускать рук, не говорить: все — больше ничего нельзя сделать! Можно! За свои убеждения надо бороться, только тогда истина побеждает.

На следующий день и Платонида Семеновна получила определение по делу Прохорова, а также и по другому — о краже велосипеда. Мы их рассматривали одновременно. Наши представления были удовлетворены.

Платонида Семеновна, похлопывая по сложенным вместе двум папкам, посверкивая глазами, говорила:

— Теперь ни на кого не стану оглядываться, а как посчитаю нужным, буду писать представления прямо в Верховный Суд!

Она опять погладила папки, будто даже помолодевшая. И поглядела на нас смеющимися глазами, такими доброжелательными. Этот взгляд как бы объединил нас, мы снова были одно целое, единый коллектив, полностью за все отвечающий.

Но, странным образом, в ближайшие же дни выяснилось, что эта победа по двум делам никак не облегчила нашего положения. Теперь если и вспоминали о ней, то лишь в отрицательном смысле.

14

Были в том месяце и дни радостные...

О сводках Совинформбюро мы разговоров не вели. Легче, казалось, не повторять вслух названий городов, у которых гремели бои. В городе жилось все труднее. Получаем всего четыреста граммов хлеба, да в столовой маленькие порции из одного или двух кусочков селедки. Может, другим, у кого здесь свой дом, какие-то запасы, легче. Не знаю. Ни о чем таком мы не говорили. Знаем, у нас еще полбеды. А как там ленинградцы? Нет, жаловаться грех. Зато обсуждали общее положение. Поговаривают, теперь с некоторых фронтов не дают сведений. С тех, где у нас успехи, чтобы враг не мог правильно ориентироваться. Есть слух, на северо-западе наши здорово продвинулись, находятся у границ Латвии и Эстонии. Еще рассказывают, появились такие орудия, каких ни у кого нет. Самодвижущиеся. Дадут залп, снаряды накроют одну цель, летят к другой, все вокруг горит. Гитлеровцы не могут захватить ни одного орудия, потому что, если попадает в критическое положение, нажимается кнопка, орудие растворяется, исчезает, как ртуть...

Мы живо обсуждали, что здесь правда, что вымысел.

Вот сообщение — бои у Харькова.

Купянск — где такой город? Раньше и не слыхали, теперь повторяем: Купянск, Купянск.

Тойфе явился на работу куда более оживленным и разговорчивым. Сказал, им, украинцам, пришло указание быть наготове, с минуты на минуту могут вызвать.

Мы, конечно, немедленно связали это с боями под Харьковом, Купянском.

— А что тебе быть готовым? — сказал Субордин.— Вещей всего ничего, сдашь дела, сядешь в поезд или на самолет...

— Да уж, что мне собираться! — весело повторил Тойфе, и мы все разом зашумели: конечно, конечно, что тут собираться, но, может, есть недвижимое имущество, которое не на кого оставить?

Сами смеялись своим шуткам.

— Выпить бы по такому поводу,— крякнул Субордин.

— И я пригубила бы, хоть спиртному враг до могилы! — воскликнула Люшкина.

Но пить было нечего.

Только получилось как-то так, что под конец рабочего дня все собрались у нас и из других комнат тоже пришли. Притащили чайники, приготовили гок-чай, разлили по пиалам. Рассевшись кто на стульях, кто на столах, горьким этим питьем, к которому сахар, слава богу, не был нужен, даже не полагался, галдя и перебивая друг друга, мы отметили радостную весть.

— Купянск, вот он, Купянск! От него рукой подать...

Не было — рукой подать, не было — только шаг ступить.

Но так хотелось верить во все хорошее, верить, что настал час поворота.

— Из Сибири, говорят, идут эшелон за эшелоном. И все танки, танки, орудия...

— Товарищ Тойфе, какой дорогой поедете? Не знаете? Может, через Каспий ближе?

— Платонида Семеновна,— расхрабрившись, весело закричала Люшкина,— а в Чарджоу я не поеду, и пускай они перестанут меня тягать. Так им и скажите!

— Кому это сказать?

— Сами знаете!

— Как это не поедешь, Люшкина? А если надо?

— Есть причины! Личные! Вы отлично знаете! — Люшкина по-прежнему кричала через всю комнату, будто и впрямь выпила. Щеки ее зарделись, дышала порывисто.— Делайте что хотите!

— Значит, что же, товарищ Тойфе, через несколько дней в путь?

— Ну, не забывайте нас!

— Там-то тоже не сахар, не легкая жизнь. Все порушено, разграблено, сожжено...

Замолкнув, с недоумением глядим на Субордина. Во-первых, мы и не представляем себе, как там, на земле, по которой прошла война. Не догадываемся, что и дома там уже нет у Тойфе, да и у остальных, кто вернется. Нет;

этого реально мы не представляем. От этого недоумение. Затем — о чем разговор? Человек возвращается в родные края, где прожил всю жизнь. Что значит — не сахар, нелегко придется? В родных-то палестинах? Я тоже недоуменно поворачиваюсь к Субордину, хочу придумать, что бы такое сказать ему в ответ.

— А Тойфе и не ищет чего-то полегче! — возбужденно-отважно, вскочив, с вызовом, сызнова раскрасневшись, бросает Люшкина.— Верно, товарищ Тойфе? Он готов к трудному... — Люшкина вскидывает голову, глаза блестят, и кажется, прямо-таки жаждет трудностей. Несколько дней живем в приподнятом настроении. Внутри нас горит возбуждение: мы знаем что-то, чего не знают другие, вот это, об Украине, и голоса наши звучат громче, оживленней. И новые треволнения поначалу встречаем бодро, не задумываясь по-настоящему над тем, чем они грозят.

15

— Дура, вот дура! — сердится Люшкина. — Страшная дура! И откуда такие берутся?..

Это она не о Доброцумовой, а о Людмиле Шашковой, нашей бывшей практикантке, а ныне народном судье. О той, что заместила Стриганова и отобрала у меня комнату.

Я устранился от участия в рассмотрении дел, поступавших с ее участка, чтобы Шашкова не могла обвинять нас в сведении личных счетов. Большинство ее приговоров мы отменяем — ни в какие ворота не лезут, изобилуют нарушением процессуальных норм, не соответствуют материалам предварительного и судебного следствий. Отмены начались с дела по обвинению группы молодых парней в хулиганстве и жестоком избиении девушки. Дело это, требовавшее строгого, точного разбора, Шашкова так запутала, что под конец прямо в суде привлекла в качестве обвиняемой свидетельницу, подругу пострадавшей, и приговорила ее к тюремному заключению, определив ей по сравнению с другими самый длительный срок наказания — семь лет. «Ибо она, — писала Шашкова в приговоре, — и есть главная виновница и вообще некачественная женщина, так как в ту ночь ночевала с обвиняемым таким-то...»

В чем вина этой женщины, никак нельзя было понять.

Я придирчиво перечитал материалы от корки до корки. Должно же быть какое-то основание, чтобы осудить человека! Ничего ровным счетом. Может, наказали за то, что переспала со своим женихом? Но, черт возьми, это же не мотив!

Яснее ясного, приговор следует отменить. Мы еще вынесли частное определение, указав судье на нарушения закона. Частное определение я писал тщательно, часа два писал, отрабатывал до последней мелочи, разъясняя Шашковой каждую ее ошибку.

«Слишком уж старательно написано, неспроста»,— говорили потом.

Шашкова пожаловалась в Верховный Суд республики и в Наркомюст. Дескать, преследуют из-за комнаты. Услышав об этом, я беспечно рассмеялся, махнул рукой: ерунда какая! Наше решение неоспоримо — свидетельницу превратила в обвиняемую!

Посреди рабочего дня нас собрала Платонида Семеновна. Товарищи, внимание, надо разобраться, что у вас получилось с делом с участка Шашковой. Почему не посоветовались? Можно же было посоветоваться, не так ли, товарищи? Что в том плохого, если посоветоваться? Ум хорошо, а два лучше. Ну да, да, я знаю, что в коллегии трое заседают, не учите меня, товарищи. Теперь надо быть сугубо осторожными, бдительными, мы не должны допускать ни малейшей ошибки. Хватит, товарищи, я за вас заступалась, защищала, хватит, больше не буду... Платонида Семеновна то надевала, то снимала очки, насупленно смотрела в лежащую перед ней бумагу. Люшкина сразу разволновалась: что такое, приговор отменен правильно! Послушайте, Платонида Семеновна, не говоря уже о том, что нельзя на суде, даже в военное время, превращать свидетельницу в подсудимую, эта новая обвиняемая оказалась без защитника, последнего слова не дали! Товарищ Люшкина, я не о том говорю. Конечно, раз допущены нарушения, нужно отменить, так и доложу. Но нужно быть бдительными... В больших круглых очках Платонида Семеновна вдруг стала похожа на сову. Совещание мне показалось скучным и ненужным.

— Шашкова говорит, теперь подсудимые окончательно запутают следствие и уйдут от наказания...

— Что же, невиновных сажать?

— Дорогой товарищ, не передергивай, я этого не говорю. Передергиваешь.

— Ладно! — Я хотел одного — быстрее закончить разговор.— С участка Шашковой дел больше брать не буду и не стану участвовать в их рассмотрении! Чтобы без личных счетов, без личных соображений, как говорит Шашкова!

— С какой стати?! — воскликнула Люшкина.

Теперь, много лет спустя, вспоминая себя и других, собравшихся в тот день в кабинете у Платониды Семеновны, слыша знакомые голоса, заполнившие комнату, я чувствую какую-то неловкость, желание вычеркнуть этот миг из памяти. Зачем было уступать наговору, давать Шашковой дорогу? Самое плохое, что можно сделать! Но в тот день, в ту минуту, раздосадованный долгим разговором и новыми неприятностями, я счел свое решение необыкновенно принципиальным и правильным. Считал себя героем. Хорошо, раз в ходу подобные сплетни, обеспечим полную беспристрастность! Не будем, как говорится, давать повода. Платонида Семеновна, все еще в очках, ошарашенно кивала головой, очевидно думая, что ее воспитательная работа дает результаты.

Вернулись к себе. Я все дела с участка Шашковой отдал Люшкиной. Субординсказал, что мы с ней знатоки процессуальных тонкостей, а в делах Шашковой это сугубо важно, и пусть уж Люшкина их готовит.

И вот мы чуть ли не каждый день слышим сдавленные яростные восклицания Люшкиной:

— Дура! Какая дура! Откуда такие берутся?! Больше нельзя терпеть... Представьте себе, даже не отправляет на доследование, мотивируя тем, что в военное время незачем создавать лишние проволочки...

Опять разгорается спор...

— Чему ее учили? — в сердцах спрашивает Люшкина.

— Бывают такие, которым учение не впрок,— замечаю я.

Субордин неизвестно почему обижается.

— Что значит — не впрок? Может, плохо училась — одна сторона. А не впрок — как понять? Значит, от рождения? Это интеллигентские штучки — так говорить. Следовательно, одни, которые образованные, ты да Люшкина, все могут, а остальные, значит, недостойные? Но, может, и товарища Тойфе как-нибудь еще к себе причислите, он ведь кончал давно, не чета вам...

Отвечаем: не о том разговор, Шашкова тоже с дипломом, тоже может числить себя в интеллигентах.

— Быть интеллигентом не так плохо,— замечает Тойфе.— Большевики-подпольщики, профессиональные революционеры все были интеллигентами. И партийцы из рабочих тоже становились интеллигентами, овладевшими самой передовой философией...

Тойфе нет-нет да скажет что-нибудь интересное, и опять начинаешь сызнова к нему приглядываться, допытываться, что он думает о разных вещах. Я, бывший фабзаучник, слесарь-инструментальщик, соглашаясь с Тойфе, кидаю в его сторону одобрительный взгляд. А то что это — мне чуть было не приписали интеллигентские штучки!

Субордин не обращает на реплику Тойфе внимания.

— Ты, Люшкина, ее дурой обозвала. Отругала? Или на самом деле так думаешь? Разве судья может быть дурой?

— Мало приятного, когда дураки сидят на подобных должностях! — восклицаю я.

— Дура она, дура и есть! — убежденно бросает Люшкина, захлопывая папку с судебным делом.

— А как вы полагаете,— растягивая слова, спрашивает Тойфе,— недостатки у нас происходят только от пережитков прошлого? А может, где-то по недосмотру или просто из-за элементарной глупости или по неумению?

— Самый большой вред — от глупости! — Люшкина ожесточенно замахала кулаком.

— Спокойнее,— говорит Субордин и, вопреки обыкновению, отрывается от дела, чешет затылок.— Так что же, вот люди жульничают, грабят, из государственной кассы тащат, убивают друг друга — это не пережитки прошлого? Вот вы, образованные, интеллигенция...

— Что ты все склоняешь — интеллигенция, интеллигенция? — Люшкина злится.— Давай по существу... Ты разве не интеллигенция? А если мало знаешь, этим незачем хвастать...

— Сколько надо, столько знаю. Ты ответь, пережитки это или не пережитки — убийства, грабежи?

— Пережитки, — говорит Люшкина.

— Конечно,— соглашаюсь и я.

В ту пору многое еще казалось пережитками.

— Мы находимся возле болячек общества, — вслух неторопливо размышляет Тойфе.— Такая наша работа.

Мы словно врачи. Они тоже не простыми свидетелями, а деятелями, лекарями состоят при людских несчастьях, трагедиях, чтобы устранить их и дать человеку здоровье. Так и мы. А врач обязан каждый раз сызнова разгадывать историю болезни каждого больного, не останавливаться на простейшем, общем, доискиваться до тончайших нюансов, индивидуальных причин, учитывать и случайности, додумываться, когда нужно хирургическое вмешательство, когда нет. И брать ответственность на себя. Лишь тогда он сумеет побороть тяжелые болезни... Да, работа наша опасна...

Тойфе говорит, как бы извиняясь, даже подсмеиваясь над собой.

— Ответственна,— солидно поправляет Субордин.

— Ответственна,— соглашается Тойфе.— И опасна...

Так он и не уехал. В неизменном своем потрепанном сером пиджаке (наверное, единственном), при галстуке, аккуратно приходит на работу. Мы больше не расспрашиваем, есть ли новости насчет отъезда, хотя и надеемся, что на Украине переменится к лучшему...

С ним интересно. По тому, как докладывает дела, правда, этого не скажешь. У Тойфе все получается очень скромно. На заседании коллегии смотрит в свои записки, перекладывает их с места на место, иногда отыщет нужную страницу, откашляется и прочтет несколько фраз.

В тот раз я тоже подумал, что вот об этом, о нравственной, что ли, стороне нашей деятельности, нам в институте ничего не говорили. Или, может быть, пропустил мимо ушей, поскольку тогда это меня не волновало? Например, тот же вопрос — идет война, какова наша роль в общей борьбе? И должны ли мы потому, что идет война, менее индивидуально подходить к каждому делу? Еще и еще вопросы...

— ...Ну нет, почему только хирурги и терапевты? Да и вообще такие сравнения ни к чему. Придется и зубных врачей, и ухо-горло-нос вспомнить, нет уж, тут мы запутаемся...

Разговор ушел дальше. Я что-то прослушал, может и интересное.

— Маркс писал,— говорит Тойфе,— точно слов не помню, но примерно такая мысль, что невежество — это демоническая сила, которая, возможно, послужит еще причиной многих трагедий.— Подумав, через минуту добав-

ляет: — Мало Маркса читаем, только страницы, что указаны в программах...

Люшкина возвращает разговор к своей теме:

— Что же с Шашковой делать? Опять получится отмена. А не отменять нельзя. Потом придется идти объясняться. Надоело! Зашла к ней в суд, она твердит одно — вы мой авторитет подрываете, потворствуете преступникам, у меня правильная карательная политика... Она просто глупа, я вижу!

— Опять за свое! — ворчит Субордин.— Глупа, глупа...

— А ты устранился,— с горечью попрекает Люшкина и меня.— Какое ты имел право устраняться?

. . . .

Так мы обсуждали Шашкову, еще не предполагая всего, что завертится дальше.

Обычный день. Жара. За окном, что выходит на улицу, желтая пыль, освещенный солнцем белый-белый дом напротив, кусочек ярко-голубого неба на самом верху, у краешка окна.

Люшкина всех прерывала, ерзала на стуле, вскакивала, то, кусая губы, белела от негодования, то краснела. В какой-то зависимости от спора через час на заседании коллегии будут приняты решения по делам, лежащим перед ней...

Да, через час собралась коллегия. Я в ней не участвовал. Заседание было коротким. Три приговора с участка Шашковой отменены.

— Отменили! — смеялась Люшкина, вернувшись с заседания. — Будь что будет! Аж на душе полегчало...

— А что будет? Ничего не будет,— сказал Субордин, войдя вслед за ней. — Ты бы, Люшкина, полегче, похладнокровнее!

...В перерыве, помнится, перед тем как идти в закрытую столовую к полагающемуся кусочку селедки, мы забежали в канцелярию, где на стене рядом со шкафом висел единственный на все наше учреждение репродуктор, послушать сводку.

— А как там с участка Шашковой дела? — спросила секретарша Лиза.

— А что?

— Да ничего. Так просто.— Лиза хихикнула.— Они звонили, интересовались.

— Ты бы сказала,— вкусно, медленно выговаривая слова, наставил ее Субордин,— все в свое время. Получит определения и узнает...

16

Как тогда сказал Тойфе, наша работа опасна? «Ответственна»,— поправил Субордин.

Мысль возвращалась к тому, кто что говорил. «Самый большой вред — от глупости! — с ожесточением повторяла Люшкина и спрашивала: — Что будем делать?» Мы, как врачи, на страже при болячках, напомнил Тойфе. Как вы думаете, все несчастья только от пережитков прошлого? Нет, он спросил как-то по-иному. «А ты устранился,— попрекнула меня Люшкина.— Какое ты имел право устраняться?»

Работник прокуратуры (кажется, его звали Вадимом), в которого была влюблена Люшкина, больше в суде не появлялся. Я уж думал, его взяли в армию.

Но оказалось, просто они встречались в другом месте.

Бывшая жена Вадима, с которой он по военному времени не успел развестись, от кого-то узнав, что муж крутит любовь, написала в прокуратуру письмо. Вадима предупредили: если еще будут сигналы, примут меры. Вызвали его и на партбюро.

Любовь Вадима и Люшкиной стала «запретной». Мы в суде друг друга звали по фамилиям, а к Платониде Семеновне чаще всего обращались по имени и отчеству. Поэтому я по привычке и здесь упоминаю только фамилии. А Вадима я знал лишь по имени, слышал, как говорила с ним Тамара Люшкина. «Тома»,— звал он ее. «Странное какое имя придумал»,— смущаясь, сердилась Люшкина.

Из всего облика Вадима (видел его всего несколько раз) мне запомнились лобастая голова, глубоко сидящие неспокойные глаза, светлые, легкие, раскиданные ветром волосы...

— ...Я вот сейчас освободилась, все равно поздно, а он еще занят,— говорит Люшкина.— Он спрашивает: как же так, заочно разводиться? Скажи ты, говорит. Я тебе, говорит, как себе, верю. Я с ним согласна. Нельзя. Такое дело прямо, в открытую надо делать, лицом к лицу... Ему сказали: дай слово, что не будешь встречаться, иначе отчислим из прокуратуры...

Это мы с ней темным вечером возвращались с работы.

Мне теперь надо было идти совсем по другой дороге, только один квартал вместе с Люшкиной. Я еще рассчитывал забежать в столовую съесть, что положено по талону на ужин, и боялся опоздать.

— Он говорит: как я могу дать такое слово?

— Не дал?

— Подожди... Есть же, говорит, еще такая вещь, как любовь. Это он мне сказал.— Нервный ее смех зазвенел, отозвался в конце улицы, в нависшей над дувалами невидимой листве деревьев.— А дома меня,— Люшкина говорила все торопливее,— мать колет злющими взглядами, ворчит и допрашивает: что за человек ходит? Сын, говорит, у тебя. (Что у Люшкиной сын лет восьми от первого мужа, я знал.) Ну и что, если сын? Какое это имеет значение? Вот, ты скажи... Что, мне и жизни больше нет?.. Настаивают, уезжай на работу в Чарджоу...

Если я в ответ на ее вопросы что-то говорил, она не слушала.

Ей и не надобны были мои слова, пусть даже сочувственные, ей нужно было говорить самой.

Я помнил, что должен спешить, мне в другую сторону. Дома я надеялся, пока еще у хозяйки, старушки дворянки, горит керосиновая лампа, написать письмо. Я был полон этим письмом. Поскорей бы отправить, может, на этот раз оно дойдет, придет ответ...

— А как я могу уехать? Как?! — в отчаянии воскликнула Люшкина.— Что они, не понимают? Платонида Семеновна сегодня опять вызывала, говорит, надо решать, в наркомате торопят. Долг, товарищ Люшкина, прежде всего. Помни, у тебя в кармане кандидатская карточка. Она же знает, знает, что я не могу! Ну еще полгода, пока все у нас решится... Я же не скрываю, что люблю его! В армию его не берут — плоскостопие... Встречаться, выходит, мы должны тайком. Почему? Стыдно, позорно... Не хочу я тайны, если люблю! И все же я вот считаю, что счастливая! — Неожиданно в голосе Люшкиной зазвучала решительность, и она опять громко, вызывающе засмеялась.

Для меня на миг исчезли все звуки, остался только этот ее вскрик. Я больше не слышал, как плескалась вода в арыках по обе стороны улицы, не слышал наших шагов. Острая, физически ощутимая тоска, словно внутри переворачивали грудную клетку, схватила за горло.

А письмо сегодня так и не будет написано, и завтра я его не отправлю, да и все равно не придет на него ответа, и неизвестно, где она сейчас в этом вихре, та, без которой я не могу жить.

Чужая боль ударила по моей, сделала ее непереносимой, хоть кричи! Я почувствовал, что кривлюсь от боли, и глаза закрыл, и с горечью даже позавидовал Люшкиной, ее счастью — пусть такому, пусть такому! Ребра, казалось, болели, руки болели...

— Вот так-то,— смущенно сказала Люшкина.— Ты меня понимаешь?

Мы, оказывается, уже не шли, стояли на углу незнакомой улицы, бог знает куда забрели. Впрочем, в темноте я мог и не разобрать, может, и знакомая улица.

— «Любовь нечаянно нагрянет,— с принужденным смешком сказала Люшкина, носком туфли чертя что-то на тротуаре,— когда ее совсем не ждешь...» Ладно, значит, до завтра. Ко всему еще это...— Криво усмехнувшись — в темноте я едва различил, скорее угадал эту усмешку, — она махнула рукой.

Я понял, кивнул головой. Действительно, ко всему еще это...

...«А что скажет Шашкова?» — поначалу мы острили, вставляя это присловье к месту и не к месту, например подписывая бумаги или прося секретаршу принести чернил.

Людмила Шашкова пришла объясниться по поводу отмененных ее дел.

В белой блузке, величественная, чуть покачиваясь, вплыла в комнату, гордо неся голову с гнездышком соломенных волос на макушке. Поздоровавшись, дав собой полюбоваться, села, проверила, крепко ли сидит, и защебетала:

— Вы тут все отменяете, отменяете. Прямо не знаешь, как и быть. Словно стакнулись с преступниками.— Она кокетливо улыбнулась, заботливо поправила воротничок блузки.— Со спекулянтами, растратчиками, хулиганами, прогульщиками. И все отмены — с моего участка. Я проверила — у других таких нет! — победно подчеркнула она и сразу сорвалась на крик: — Это получается травля! И не говорите мне...

— Спокойно,— сказал Субордин,— давайте конкретно разберемся...

— Может, потому, что вы хуже работаете? — сказала Люшкина.— Подумайте!

— Я знаю, знаю! Не перебивайте, я же вас не перебивала, дайте и мне... Потом,— Шашкова презрительно передернула плечами,— у вас же есть право писать частные определения, вы свое изложили, я читала, что вы там понаписали... Травля, травля! Я знаю. Все из-за комнаты. Но раз мне полагалось, у вас не может быть претензий! Но все из-за этого! Недаром же один из вас, — она, взглянув, кивнула в мою сторону,— больше не участвует при моих делах! Но это для отвода глаз... Я знаю, знаю, тут травля!

— Какая травля, если приговор по всему подлежит отмене?

— Что, я неправильно наказываю спекулянтов и растратчиков? Вас недавно в Наркомюсте разбирали, у вас неверная карательная политика, вы убийц и воров освобождаете, не сумели вовремя разглядеть Тугих, ввели в заблуждение Верховный Суд Союза... А у меня правильная карательная политика...

И опять:

— Недаром он теперь не участвует в заседаниях по моим делам! Но меня не закрутите! Я вижу, что травля...

— Нельзя же нарушать законы. Ведь почему отменяем? Потому что вы на них, как говорится, ноль внимания.— Субордин, сохраняя спокойствие, попробовал урезонить гостью.

— Давайте, Шашкова, серьезно просмотрим одно ваше дело,— Люшкина, набравшись выдержки, приняла тот же спокойный тон, что и Субордин, и полезла в ящик стола.

— Да я уж знаю, что я, дура, что ли? — Людмила Шашкова сделала обиженное лицо.— Вы, если захотите, отыщете всякие параграфы. В институте тоже были такие, перед экзаменами пугали: такого-то не знаешь параграфа, еще такого! Словами запутать — это, я понимаю, вы умеете. А вот у вас тут моральное разложение...

— Это еще что такое? — непривычно грозно спрашивает Субордин. Никогда я не слышал таких грозных ноток в его голосе.

— Уж к кому относится, тот знает, — Шашкова поводит плечами, усмехается. — Я же ничего такого не говорю, но раз травля, то надо все-все до конца... И вы мне не

докажете, не докажете, что нет травли. Платонида Семеновна сейчас куда-то вышла, но я пойду дальше...

— Смотрите, вы...— говорит Субордин.

— Вот, вот, я и говорю, травля! — Людмила Шашкова встает. — И ничего вы мне не объяснили, не убедили!.. — Она победно двинулась к двери.

— Пошла грохотать дальше, — сказал Субордин, насмешливо глянув на захлопнувшуюся, задребезжавшую дверь.— Последний удар удаляющейся грозы...

Я засмеялся незамысловатой шутке, до того неожиданно она прозвучала. Я считал Субордина человеком тяжеловатым и чересчур серьезным, хотя и глубоко порядочным. И вот открыл в нем нечто от чувства юмора.

Засмеялся я один, смех мой прозвучал неуместно.

Увы, говорить о том, что гроза уходит, было рано, это все понимали.

Невероятно — ведь совсем недавно Шашкова практиковалась здесь, подсаживалась то к одному, то к другому из нас и, заглядывая в глаза, спрашивала, как быть с очередным делом, и улыбалась, и согласно кивала. Добродушная, аккуратненькая... «Купчиха»,— однажды обмолвился Тойфе. Я вспомнил, как царственно восседала Шашкова в моей захваченной комнате, но сейчас тоже был огорошен. «Так, наверное, бывает,— подумал я.— Из личинки выросла бабочка». Выпорхнула и вот во что превратилась. Сами, выходит, пригрели. И уже не в нашей власти с ней что-нибудь сделать...

— ...Товарищи, что же без конца говорить об одном и том же? — сказала Платонида Семеновна, опять созвав нас у себя. — Я вот сама разобралась, подытожила практику: по делам о спекуляции и хищениях соцсобственности слишком большие отмены! Куда мы ориентируем народные суды? Какая получается карательная политика? Я вот не понимала, сердилась, почему на нас ополчаются, а посмотрела — ужас! Надо срочно принимать меры, и я не постесняюсь...

Такое случалось и прежде, и что разговор будет серьезный, мы сразу понимали по ее потемневшему взгляду. Бывала грубовата, рубила сплеча, горячилась. Но поругает — лицо опять посветлеет. После разноса Платонида Семеновна будто сама чувствовала облегчение: ну, все позади, слава богу. А теперь... Лицо поражало замкнутостью, настороженной отчужденностью. Как будто Платонида Семеновна надела маску.

Тяжелое предчувствие беды сковало нас.

Под конец мы узнали: нас, специально уголовную коллегию, будет проверять комиссия обкома.

— Все дела с участка Шашковой, — распорядилась Платонида Семеновна, — рассмотренные и нерассмотренные, принесите ко мне. Если где неправильная отмена, надо немедленно поправить. Разберусь и буду писать представления в Верховный Суд республики, чтобы все поставить на место... И новые с ее участка будут поступать — тоже ко мне! Товарищ Люшкина, пока будешь работать в гражданской коллегии. А вообще, неделя — последний срок, решай, надо тебе ехать в Чарджоу...

— Платонида Семеновна, не могу я,— сдавленно проговорила Люшкина.

Вздрогнув, я быстро посмотрел на нее, потому что в голосе послышались слезы. Увидел только низко опущенную голову. Зачесанные назад стриженые волосы, торчащий гребень. А Люшкина ведь любила повторять, что распускаться считает последним делом, человек должен держать себя в руках.

— Что значит — не могу? Поедешь, товарищ Люшкина, поедешь. Решай! — жестко отчеканила Платонида Семеновна. — Надо будет завтра партийное собрание собрать, поговорить по всем вопросам. Чтобы самим навести порядок, до комиссии все устранить...

— Платонида Семеновна,— сказал Субордин,— по участку Шашковой отмены были правильные, там же черт знает что...

— Товарищ Субордин, думай, что говоришь. Где твоя принципиальность? — Совсем жестким стало ее лицо.— Ясно, что придется укрепить наши коллегии; наверное, пришлют новых людей...

Что она делает, что делает! Панику поднимает!

Отпуская нас, привстав, раздраженно бросила:

— Хватит, брала вас под защиту, хватит!

17

Так получилось, что дело о двух перешедших границу эстонцах пришлось рассматривать мне.

Это было последнее дело, которое я слушал (так в судах называется: «Слушается дело по обвинению...»). На другой день пришла повестка из военкомата.

Но до этого был еще один разговор с Платонидой Семеновной.

Я опять уговорил Тойфе пойти вместе со мной — надеялся на его авторитет. К тому же, признаться, я был в него чуточку по-юношески влюблен. Хотелось говорить так же умно, с грустной усмешкой, щурясь, не торопясь рассуждать о сложных юридических казусах. И, как он, являться на работу при полном параде, в белой сорочке и галстуке. Мне нравились его печаль, ироничность... Я даже усвоил его манеру сидеть за столом — выпрямившись, голову держа высоко и твердо.

Платонида Семеновна была занята, что-то писала, нацепив очки.

В эти дни к нам в суд теперь редко заглядывала, зайдет, отдаст распоряжение и сразу торопится в наркомат, в обком, в Верховный Суд.

— Вот допишу представление еще по одному делу с участка Шашковой и уйду. Надо исправлять, надо. Давайте, товарищи, в другой раз.

— Все отмены по участку Шашковой были правильны,— храбрясь, с вызовом сказал я.

— Ну? — переспросила она.— Так ли уж и все, все до единой?

Я думал о том, что должен искупить свою вину. Ведь я устранился, подвел Люшкину. Но отныне я не отступлюсь, буду отстаивать справедливость.

— В одну кучу все свалили: Тугих нам приписывают, обвиняют, что мы ввели в заблуждение Верховный Суд Союза. Вы же эти дела помните, Платонида Семеновна. Мы правильно сделали. Говорят, подрываем авторитет, у нас неверная карательная политика! Травля Шашковой! Она же глупости творит... И еще с Люшкиной историю притянули. А если любят они друг друга? И какое это имеет отношение к работе?

— А что, не проглядели Тугих? Нет? Кто за это ответствен? Вот ты о Люшкиной. А с члена областного суда особый спрос. Должен держаться так, чтоб не подкопались.

Не снимая очков, Платонида Семеновна глянула на меня исподлобья. Так и вижу: очки в черной оправе, сползшие немного вниз, и глаза Платониды Семеновны за стеклами.

— Надо глубже глядеть, принципиальнее.

Я изложил, какой, по-моему, должна быть настоящая принципиальность.

— Неверно, незрело рассуждаешь. Ты еще молодой человек, а не хочешь прислушаться к советам, думаешь, сам все знаешь...

Я хотел вернуться к разговору о Шашковой.

— Нет, ты послушай,— перебила Платонида Семеновна,— учись прислушиваться к тому, что говорят. Нам тут еще много придется повернуть, весь аппарат пересмотреть. Кто у нас в канцелярии работает, тоже. Вот секретарь судебного заседания у тебя целое дело сорвала, помнишь, в протоколе она пропустила показания обвиняемого? Что это — спроста, только оплошность? Надо проверить, разобраться. На следующей неделе явится комиссия, а у нас уже все в порядке! Сами все сделали! Показали, что на высоте! Должны показать! Будет, я тебе говорю, так! — Она стала перечислять, что намерена предпринять. Выходило, что чуть ли не все кассационные дела сама станет просматривать. Каждый работник заново будет проверен. За каждую ошибку придется держать ответ.

— А если не ошибка, если мы правы, а нам приписывают ошибки?

Платонида Семеновна не дала себя прервать.

— Ты послушай!..— говорила она строго и продолжала истово перечислять, что следует сделать. И опять мне казалось, она боится чего-то, гадает, к чему могут придраться.— Вот так будет, так! Надо кончать с расхлябанностью и самовольничанием. А от тех, кто не сумеет отрешиться от старого, освободимся... В два счета!

У меня захватило дыхание.

Секундой раньше я прочел эти слова в глазах Платониды Семеновны, спрятанных за стеклами очков, прочел в чем-то неуловимом, мелькнувшем в изгибе бровей. Неужели так? Неужели я их уже знал до того, как они были произнесены? Я испугался своего ясновидения. Мистика!.. Неужели так бывает? Все же я собрался с духом, что-то сказал...

— ...Вы слишком горячитесь и зря кричали,— сказал Тойфе.

Он всем говорил «вы».

Неужели я кричал?

Мы уже вышли из кабинета Платониды Семеновны. Она действительно торопилась. К ней позвонили, она кинула в трубку:

— Сейчас, сейчас иду. Дел по горло! Одна кручусь...

Разговор наш получился скомканным. Неловкий, нехороший разговор.

— Нет, я с тобой еще побеседую, вызову тебя, так дело не пойдет! — прикрикнула на меня Платонида Семеновна.

Сознание бессилия и безнадежного поражения подавило меня.

— «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет»,— задумчиво произнес Тойфе.— Страсти роковые...

Я был зол на себя, зол за неудачу, за то, что не сумел как следует настоять, чтобы Платонида Семеновна отложила все в сторону и занялась бы только тем, о чем говорил я (ибо это, несомненно, было самым важным!). Я чувствовал себя попавшим в глупейшее положение, посрамленным и опозоренным, так что никому и на глаза нельзя показаться. Хоть прочь беги. А надо было продолжать работать. Процитированные Тойфе строчки меня резанули. Я вспомнил: ведь он ничем мне не помог, только раза два буркнул что-то невнятное. Злясь на себя, я рассердился и на него. «И всюду страсти роковые...» Нашел что цитировать! Он же умный, знающий человек. Сам говорил, что согласен с моей точкой зрения. Почему же его мудрость пассивна? «Мудрец в себе!» Обиженный и злой, я отказался от него, низверг с пьедестала. Сказал себе: я его терпеть не могу. Нет, я его презираю. Мудрость, мудрость, кому нужна такая мудрость? И я почувствовал себя обретшим необычайную зоркость, видящим людей насквозь.

Невероятная эта, пронзительная и тяжкая зоркость, как мне показалось, пришла ко мне мгновенно. Как удар. Как озарение. Вроде я сделал шаг, вышел на свет и увидел себя другим человеком.

Все вокруг выступило отчетливее, резче. Все предметы. Узенькие переплеты окон на террасе. Тени, перекрестно легшие на пол. За стеклами террасы кривое дерево во дворе.

Тойфе я увидел сутулым, усталым.

Мне неприятно было на него смотреть, но я строптиво и безжалостно глядел ему прямо в лицо.

По-прежнему я злился на себя, поэтому и на Тойфе.

— При чем тут стихи? — с горечью, презрительно, стремясь придать своим словам оскорбительный оттенок, фыркнул я.

День вообще выдался суматошный, утомительный.

Люшкина с напряженным, угрюмым видом сидела, закусив губу, писала определения по делам, которые должна была закончить для уголовной коллегии, на вопросы не отвечала. Стопка гражданских дел уже лежала на ее столе.

Субордин с самокруткой в зубах (сизый дым вился над его головой) склонился над большим листом бумаги, проставляя там цифры,— «обобщал практику» по двум участкам. Когда мы вернулись, он, повернувшись, положив руку на какие-то папки, сказал, что у него дела, которые необходимо сегодня же рассмотреть на коллегии, после обеда нужно собрать заседание.

Пришла секретарша Лиза, напомнила, что звонили из Верховного Суда и велели сегодня же прислать одиннадцать дел, а четыре из них еще до конца не оформлены. Позвонили из Наркомюста, позвали к телефону Люшкину, она постояла с трубкой, прижатой к уху, минут пять, сказала лишь «хорошо» и положила трубку.

Только одно обрадовало — на столах у каждого из нас лежало по пачке табаку. Пока мы с Тойфе были у Платониды Семеновны, принесли и всем роздали. Впервые за эти месяцы... Пачки были прямоугольные, в серовато-сизой обертке. Упругие на ощупь. Приятно пахнущие. Я тоже, как Субордин, свернул самокрутку, закурил, с восторгом вдохнул в себя дым.

— Надымили уже,— не подымая головы, пробурчала Люшкина.— Шли бы на террасу. Я не курю, разделите мою долю между собой...

И мне тоже надо было спешно браться за обобщение практики и еще прочесть дело об эстонцах, нелегально перешедших границу.

— Так когда соберем коллегию? — спрашивал Субордин.

. . . .

В то время жизнь моя сложилась так, что вся она была в работе, в суде. Суд, и ничего другого. Кроме постоянной мысли о войне, о фронте, о том, когда же я наконец добьюсь, чтобы меня взяли в армию. На работе часто засиживались допоздна; если выкраивалось время, я заходил в библиотеку. Домой не хотелось, там было темно, неуютно, пахло мышами, нафталином, лекарствами. Беседовать со старушкой дворянкой было неинтересно, а мысли все равно возвращались к тому же: к нашим

делам, спорам, к нашим решениям, к сложным жизненным случаям, ежедневно возникавшим перед нами. И опять к войне, к тому, что я отсиживаюсь в тылу. Постоянные мучительные мысли.

Жизнь вне суда шла томительно и скучно, в работе был весь смысл...

Помнится, в тот день, заполняя графы о мерах наказания по делам о спекуляции и растратах, я вновь и вновь думал о том же, о чем только что говорил. Когда поостыл, мне стало понятно, что скоропалительно судил о Тойфе. Может, нагрубил ему, оскорбил? Постепенно возвращалась прежняя симпатия к нему. Но все же как объяснить его, этого человека, тоскливо соображал я. Он что, надломлен? Да? Надломлен? Что же такое случилось, что надломило его? Что?

А Платонида Семеновна, с горечью вспомнил я, не мог не вспомнить, когда мы с ней пришли, и раньше, когда нас собрала и сказала, что нагрянет комиссия, была иной, чем прежде. Я поостыл, но не успокоился. Волнение бродило во мне, и то, что был вынужден сидеть и возиться с цифрами, еще больше меня взвинчивало. «Неверно, незрело рассуждаешь...— вспоминал я.— А что все вместе собрано — в подобных случаях так делается... А что, не проглядели мы Тугих?.. Вот ты о Люшкиной. А с члена областного суда особый спрос... Надо глубже глядеть, принципиальнее!» Правильные слова, но почему-то они не удовлетворяли, не убеждали. Что еще сказала Платонида Семеновна? Идти на уступки Шашковой? Поддерживать ее? Значит, потворствовать беззаконию!

Мы уважали Платониду Семеновну за самостоятельность. Да, она была самостоятельной. Не любила, когда со стороны пытались оказать на нее давление. И гордая. В ней что-то проглядывало от бывшей комсомолки, от работницы, вдруг почувствовавшей себя за все в ответе. Удивляясь новой своей зоркости и немного тщеславясь ею, волнуясь, с тревогой отмечал и иные черточки в Платониде Семеновне. Отчужденность, отдаленность ото всех нас. Какая-то каменная замкнутость. Она не расспрашивала, а выведывала. «На следующей неделе явится комиссия, а у нас уже все в порядке!» Так она сказала, верно? Так? Откуда это? Почему?

Чтобы сосредоточиться на работе, я свернул еще одну самокрутку. Табак уже казался горьким, жег горло.

В комнате было дымно, а из окна тянуло тяжелым жаром.

Стало душно. Или мне так показалось? Тот день запомнился мне как очень душный и жаркий, рубашка взмокла от пота, голова раскалывалась...

А вечером, в девять часов, нас вызвали в наркомат на срочное совещание. О практике применения в отношении военнообязанных замены заключения отправкой в действующую армию. Вопрос я считал важным, но достаточно ясным. Где можно, надо применять этот указ, пусть идут сражаться. Заседали до двенадцати. Потом я шел по тихим темным улицам, над головой простиралось черное небо с мерцающими звездами, голова разваливалась от боли. Я вступил в наш темный двор, поднялся по невидимым скрипящим деревянным ступенькам; окна моей комнаты не было видно, лампочка уже не горела. Старушка почивала сном праведным. Пришлось стучать, будить ее. «Ты послушай!.. Вот так будет, так! — зазвучал у меня в ушах голос Платониды Семеновны... — Явится комиссия, а у нас уже все в порядке!.. Покажем, что мы на высоте!»

18

На адвокатском месте — Доброцумова. В строгом синем костюме, с сугубо серьезным и важным выражением на лице; рядом на небольшом столике толстенный портфель.

Возле нее Озолс, сегодня он не прокурор, а переводчик. Никого другого, знающего эстонский язык, в городе не нашлось.

С ним было трудно. Он все забывал, что он не прокурор.

Обвиняемый что-то долго рассказывает. Озолс погладит щеку, стянутую мелкими морщинами, проскрипит две-три фразы — весь перевод.

— Послушайте, товарищ Озолс, он же много говорил...

— Остальное несущественно,— веско отвечал Озолс.

— Суду надо знать. Попрошу, переведите заново.

— Там ерунда,— Озолс сопротивлялся.— Я знаю.

Потом на некоторое время смирял свою гордыню и начинал пересказывать слово в слово, глядя на меня с упреком: неужели я не понимаю, что правда на его стороне?

Я спросил одного из подсудимых, что они делали в Индии. Озолс возмущенно замахал руками и скривился:

— Какое это имеет значение, в Бомбее или Калькутте они решили сбежать с парохода?

Слова с шипением выпрыгивали у него изо рта, речь стала невнятной.

— Переводите,— я постарался, чтобы мой голос звучал возможно ровнее.

Предупреждали — не горячиться, не кричать.

Озолс покраснел, сжал губы, лицо его как будто раздулось. Помолчав, он раздельно, медленно перевел вопрос.

Встала Доброцумова, расстегнула и застегнула пуговицу на жакетке.

— Вношу ходатайство отложить процесс, пока не найдем другого, более подходящего переводчика. Переводчик никак не хочет понять свои обязанности, и у нас нет уверенности, правильно ли он передает то, что говорят подсудимые...

Мигом вылетели из головы докучливые мысли о комиссии, которая вот-вот нагрянет, о Платониде Семеновне, о Люшкиной, Тойфе, о том, что ожидает нас впереди... Процесс о двух нарушителях государственной границы, натолкнувшись на первые препятствия, сразу осложнился. Помню, слетела усталость, голова стала необыкновенно ясной, я до последней жилки почувствовал себя во власти веселой, деловитой напряженности. «Ну конечно,— догадался я,— Доброцумовой ходатайство понадобилось для того, чтобы показать, какой она замечательный адвокат». Азартное любопытство к происходящему в зале, к ходам защиты и обвинения, в особенности к тем двум нарушителям границы, сидящим за голубой перегородкой (голубой цвет — плод стараний нашего завхоза, покрасившего все, что возможно, под цвет стен), вселилось в меня...

Вот и добрался я до дела о двух прибалтийцах, двух эстонцах, побывавших в Иране и в Индии. Добрался до последнего моего дела, воспоминания о котором воскресли в памяти много лет спустя, в вечер, когда мы принимали у себя иностранную делегацию и заговорили о Есенине и об Иране.

Встала эта история перед глазами... и оказалось, что о тех двоих, сидевших на скамье подсудимых, нельзя рассказать, не поведав совсем о другом: о первом дне войны, о том, как пахли вечера в Ашхабаде, о том, как в душном затемненном помещении при керосиновой лампе мы судили бандитов и три пары глаз жгли нас ненавидяще и страшно... И о Гене надо было рассказать, и о Шашковой, из щебечущей жеманницы превратившейся в басовитую пробивную бабу, навлекшую на нас громы и молнии...

Но когда началось судебное заседание, я уже об этих громах не думал. Некогда было. Вот о границе я действительно думал, я так и видел ее перед глазами.

...Она пролегала за бурыми оголенными холмами, поднимавшимися за городом, холм к холму, холм к холму — гряда рыжих вершин. По контрасту с белыми домиками и белыми дувалами холмы, когда взглянешь на них, казались еще рыжее и угрюмей. А в летнюю, яркую, блещущую и слепящую яростную жару и маленькие домики, и длинные дувалы обдавали прохожих жаром, были накалены, как печки (ряд огнедышащих белых стен вдоль улицы из конца в конец!). Желтые вершины вдалеке, недвижимо застывшие, вписанные в лазоревое просторное знойное небо, казались такими же накаленными, испепеляющими.

В бурых одеждах и с пергаментными дублеными лицами приходили оттуда, из-за гор, из-за границы, люди, чтобы рано или поздно предстать перед нами в суде. То были контрабандисты в больших мохнатых черных бараньих шапках, в грязных халатах, с потухшими коричневыми глазами, глядящими из-под насупленных черных бровей.

Там, за границей, в желтых затерянных среди гор, среди песков бедных поселках, в глинобитных темных домиках, их вербовали купцы, крупно промышлявшие опиумом, и посылали к нам со своим грузом. Несколько ходок, чудилось, могли выручить бедняков из беды. Представ перед судом, они медленно, горестно морщась и качая головами, перечисляли, какие у них долги и сколько детей, отвернувшись, скупо упоминали — жена болеет, захворали дети. В материалах предварительного следствия под протоколами на шершавой тогдашней бумаге вместо подписи большинство из них, переносчиков контрабанды, по неграмотности выводило три креста.

Обстоятельства их толкнули, не было иного выхода?

Да, толкнули обстоятельства...

В черной густой тишине южной ночи на границе бухали выстрелы, отдаваясь в горах. Контрабандисты, застигнутые пограничниками, хватались за карабины, и, убитыми или ранеными, падали на землю молодые парни из Теджена, Бухары, Красноярска или Рязани, и приходилось разбираться, у кого из нарушителей было оружие, кто стрелял. Люди, подчинившиеся обстоятельствам, приходили к нам с обагренными кровью руками.

Еще в самом начале, помню, пришлось мне судить большую группу — четырнадцать человек. Все перешли границу с оружием. Стреляли. По счастливой случайности ранили лишь одного пограничника. До этого я отвлеченно знал, что существует граница, предполагал, возможна и контрабанда. В те дни, пока разбирались с четырнадцатью — в два ряда на скамьях сидели они в зале, держа черные мохнатые шапки на коленях, выставив вперед бритые, начавшие зарастать головы,— я разом окунулся в другой мир. По ночам после заседаний мне снились коричневые пергаментные лица, я все повторял вопрос: «Вы стреляли, стреляли?» Граница ожила, встала рядом...

Потом проходили в суде другие группы, помельче и побольше.

Так что эта прочерченная на картах пограничная линия еще и до войны незримо присутствовала во всем, что мы делали.

В войну, в какую-то пору, всех нас взбудоражили два дела, связанные с границей, и мы по-иному стали смотреть на щеголеватых офицеров из армии Андерса. Они, оказывается, не принимали в свои формирования польских евреев и рабочих парней. Из Ашхабада те уезжали в Ташкент, добирались до каких-то маленьких станций, где происходило формирование. Повсюду их встречали паны поручики и капитаны, презрительно фыркали: нет, не подходите, сами о себе позаботьтесь. Совсем закрутило их, этих беженцев, пронесся слух, что в Иране создается еще одна польская армия. Желаемое они приняли за действительность, запутавшись, продали последнее и с узелками в руках двинулись через иранскую границу... Иранские жандармы, как говорится, от греха подальше, гнали их обратно, в наши горы...

Об этих поляках я тоже вспомнил, когда увидел за перегородкой для подсудимых двух эстонцев из далекой

Прибалтики, закинутых судьбой в древние легендарные азиатские земли, в горы и пустыни... И, наконец, сюда, в этот зал...

— Имя, фамилия?

— Иоханес Кауберт.

— Признаете себя виновным?

Иоханес Кауберт с детской, ясной улыбкой озирался вокруг, поднимал к потолку голубые глаза и, пожимая плечами, говорил:

— Да, вот мы шли и шли. Так и шли, и шли, и пришли.

Озолс переводил:

— Вы признаете себя виновным?

Кауберт отвечал, по-прежнему улыбаясь, оглядываясь вокруг — на сидящих в зале, на стены, на прокурора...

Он что, не понимает, в какую попал историю?

В молодой своей самоуверенности я считал, что судью ничто не должно смущать, но беспечная улыбка Кауберта вызывала недоумение, досаду. Она мешала. Стоило взглянуть на него, и я прежде всего видел эту легкомысленную бродящую по лицу улыбку...

— Обвиняемый говорит, что они направлялись к его дяде в Тегеран. У него там дядя,— переводил Озолс.— Еще с давних пор. И вот...— Стремясь понять Кауберта, я искоса, чтобы не показаться слишком назойливым, всматривался в него.— И вот Дорт сказал: нам повезло, что у тебя есть дядя, пойдем к нему...

Дорт, второй обвиняемый, повернувшись к Кауберту, быстро что-то проговорил.

Озолс тоже повернулся, перебил его.

— Что он говорил?

— Чтобы Кауберт не сваливал на другого. Дядя у Кауберта, а не у кого-то...

— Это потом,— сказал я.— Потом. И, значит, из Индии двинулись в Тегеран к дяде? Так? Из Индии в Тегеран? — переспросил я.

Озолс, осуждающе взглянув на меня, потому что переспрашивать, конечно, было лишним, повторил:

— Из Индии в Тегеран.

Сознание невероятности, нелепости всего происшедшего с Каубертом и Дортом пришло ко мне. Да, я, конечно, предварительно прочел дело от корки до корки. Но слова,

записанные там, звучали сейчас по-другому, оглушающе. А Кауберт и Дорт сидели как ни в чем не бывало...

Дорт был плотным, коренастым, с покатыми плечами и длинными руками, которые он, растопырив пальцы, держал на коленях. Он обводил зал медленным внимательным взглядом и, очевидно, все время о чем-то думал. Лицо его при этом принимало жестковатое выражение, глаза сужались, квадратный подбородок выдвигался вперед. Он похож на боксера, ожидающего удара, мелькнула мысль. Весь напряжен. Впрочем, боксеров в ту пору я видал только в кино. Нахмурив русые брови, он ловил каждое слово. Когда его спрашивали, быстро вскакивал, и напряженность на его лице сменялась выражением полной готовности изложить все до последней подробности.

А Кауберт вставал медленно, обеими руками тщательно поправлял белесые волосы. И улыбался.

Длинный, с длинной шеей, нескладный. Нос тоже длинный.

Весь светлый — волосы, брови. Голубые глаза.

Как большинство неуклюжих парней, он изрядно заботился о своей внешности: помнил о прическе, одергивал брюки, пиджачок. Прихорашивался.

Еще я заметил, когда они говорили между собой, Кауберт нервно скалил зубы, толкал Дорта в бок. Дорт сидел скованно, вполголоса бросал короткие фразы.

Отношения между ними мне тоже казались непонятными.

— Кауберт пригласил меня на судно, сказал, что устроит, — рассказывал Дорт. — На него вообще-то не всегда можно положиться. Он — как бы это сказать? — сочинитель, фантазер, понимаете? Он иногда такое выдумывает, целый воздушный замок, понимаете? Может, и дяди у него в Тегеране никакого нет, может, он сочинил...

— Есть дядя, есть! — Кауберт вовсю улыбался.

— ...Но я знал, что мне повезет. Я удачливый. Удача за удачей. Меня даже так прозвали — Счастливчик. И тут был уверен, удастся.— Дорт заговорил горячо, убежденно.— Потому что, если даже Кауберт и не был с этим помощником капитана в хороших отношениях, как он уверял, я все равно знал, мне повезет, мне только зацепка нужна, а там я сам, я на себя полагаюсь...

— Вы что, с Каубертом друзья?

Лицо Дорта стало озадаченным, пожав плечами, он что-то пробормотал.

— Что он сказал? — быстро спросил я у Озолса.

— Он сказал — как это друзья?

— Так друзья они или нет?

Озолс перевел вопрос.

Дорт снова пожал плечами:

— Держались вместе. До этого были знакомы. Устроились на одну «коробку». А так я за него не в ответе... Я полагаюсь на себя. На себя.

— Вы и раньше были моряком?

— Приходилось и моряком. И монтером был, слесарем тоже, на строительстве работал — мне всегда везло, я быстро устраивался, я все умею...

— А цель у вас в жизни какая была?

Снова Озолс и Дорт стали говорить между собой. Озолс махал руками. Я спросил, в чем дело.

— Он говорит, что политикой не занимался. Я ему поясняю, вот и плохо, что не занимался, на таких и строился расчет...

— Спросите у него, кем он хотел стать? Ну, какой профессией хотел овладеть? Может, учиться думал?

Вопрос, судя по виду Озолса, не вызвал его одобрения. Равнодушным голосом он перевел его, перевел и ответ.

— Как хотел, так всегда и удавалось. Устроиться в жизни хотел.

Вероятно, Озолс был прав, в тот день я задавал много лишних вопросов.

— Значит, удача сопутствовала и тогда, с устройством на судно? Что, выставили помощнику капитана угощение?

Дорт чуть усмехнулся, но ответил все с той же готовностью:

— Нет, там надо было платить.

— Что еще он сказал?

— Это не существенно. Сказал, человек всегда должен держать деньги про запас. Или суметь быстро найти. Ему тогда пришлось раздобывать, он у кого-то занял. У него было много родных, знакомых...

Добропумова, привстав, дала понять, что у нее тоже имеются вопросы. Спросила у Дорта, кто его родители, и у Кауберта спросила о том же. С важностью попросила занести в протокол, что у Дорта отец работал грузчиком в порту, а у Кауберта на лесопилке. Так что они из рабочих семей и сами рабочие, подчеркнула она.

Все это и так было известно.

— Рабочие, а несознательные,— не вытерпел Озолс.
— Попрошу оградить меня от неуместных замечаний,— сказала Доброцумова.

Вначале Дорт говорил, что Кауберт прельстил его обещанием устроить на судно. Но для дела не имело никакого значения, кто кому подавал идеи. По словам Кауберта выходило наоборот; встретившись с ним и узнав, где тот служит, Дорт сразу накинулся, даже вроде приказал: с кем можешь поговорить? Сколько будет стоить? Давай устраивай, и быстро, не люблю долгих проволочек. Если ничего больше не можешь, сообрази, чтобы мы с помощником капитана встретились. Раз, говоришь, есть свободное место, я не пропущу, будь спокоен. Так вроде все было. Только, повторяю, для исхода дела это не имело никакого значения, не могло на него повлиять. Но меня прямо-таки затягивало в подробности, будто они могли что-то подсказать. Искал ощупью ответ? Наверное, наверное. Картина представлялась такая. Весной сорокового года встретились в Таллине два молодых парня. Каждому по двадцать пять лет. Были немного знакомы. Кауберт, по всему так выходило, когда сходил на сушу, не знал, куда себя девать. Будь это даже родной город. Пропадал от скуки. Заходил к знакомым, выпивал, искал встреч с девушками, а те, как ему казалось, его избегали. От скуки слонялся по кинотеатрам. Дорт, когда они встретились, не был на мели. («Со мною так не бывает,— самоуверенно сказал он.— Я нигде не пропаду. У меня голова есть». Он даже похлопал себя по лбу. Мне не понравилось его хвастовство, Дорт стал мне антипатичен, но я напомнил себе, что не должен давать волю пристрастиям.) Он работал в радиомастерской и собирался уйти оттуда, а когда встретился с Каубертом и узнал насчет вакансии на судне, сразу все решил. «Хватай удачу, где можешь,— пояснил он,— и бог с ним, с Таллином, есть на свете другие места, где тоже стоит попытать счастье».

Летом сорокового года, когда в Эстонии была свергнута диктатура Пятса, а затем установлена советская власть, «Кайле», на которой матросами плавали Кауберт и Дорт, оказалась в Лондоне.

Выгрузку закончили.

Стояли долго.

Потом объявили, что надо прочистить котлы и кое-что подремонтировать.

Капитан на неделю исчез с судна.

— Газеты-то вы читали? Знали, интересовались, что происходит в Эстонии? — Озолс опять забыл, что он лишь переводчик, и, вскочив, зло и возбужденно стал попрекать обвиняемых. — Я им вот что втолковываю, — сердито пояснил он.— Они должны были протестовать и вернуться в Эстонию. В свою страну. В Англии прикарманили их пароход, не вернули Советской Эстонии, послали его в Индию служить капиталистам, а они спокойно покатили себе? Оставили родину. У них нет классового сознания! Они отщепенцы, они перед Эстонией виноваты...

— Здесь же судебное заседание, товарищ Озолс.

— От таких парней можно ждать чего угодно.— Он все не мог успокоиться.

Доброцумова вставала с очередными и на этот раз вполне обоснованными ходатайствами. Но другого переводчика у нас не было.

— Спросите их, почему они не сделали попытки вернуться на родину? — сказал я.

Отдышавшись, Озолс перевел вопрос.

— Не знаю,— улыбнулся Кауберт.— Так получилось. Не помню.

— А точнее?

Кауберт недоуменно поднял плечи.

Дорт тоже недоумевал, но напряженное лицо говорило, что он старается побыстрее найти подходящий ответ.

— Служба есть служба. На корабле, если хочешь быть на хорошем счету, делай, что велят. А куда плыть — дело капитана.— Пока Озолс переводил, Дорт глядел на нас, проверяя, удовлетворил ли нас его ответ. Быстро добавил: — Хорошее место, зачем же терять. Нам сказали, в фунтах будут платить. Понимаете? Очень выгодно получалось...— Лицо его просветлело, он окончил совсем уверенно, с облегчением: — Шла война, как добраться до Эстонии? В море немецкие подводные лодки. Это очень опасно — немецкие подводные лодки. Мы хотели подальше от них, подальше от войны...

— Потом же вы сбежали со своего судна! — сказал Озолс.

— О, это совсем другое, совсем...

— Пошли работать за фунты, позабыли о своей стране, отщепенцы вы и есть! — Озолс опять разволновался.

— Товарищ Озолс, прекратите!..

— ...Не могу я быть спокойным, когда смотрю на них! Нет! Не могу! — Озолс волновался все больше, жадно затягивался самокруткой.

— Я думал, вы не курите.

— Почему это я не курю? Почему? — Он закричал на меня: — Я был рабочим-кожевенником с малолетства! А это такая работа... Ад, ад! Зайдешь — задохнешься, а мы там день-деньской не разгибали спины, словно тебя самого кинули в кислоту, вонь, в грязь. Да, да! Нет, курить нам там не разрешали, чтобы мы не отвлекались. Понимаете? Раз работа, так будь любезен не зевать, иначе ты не нужен. Но уж как только появлялась возможность — затянешься! Сам весь этой кожей провоняешь, так что от тебя шарахаются, и весь свет, казалось, только этой вонью и шибает. И хлеб, и одежда. Я мальчишкой был, с первого дня стал курить. А вы говорите, не курите! Только я меру знаю. Соблюдаю норму.

В перерыве заседания мы с ним разговаривали на террасе.

Я сам его туда затащил, чтобы уговорить не читать нотаций обвиняемым.

Но он меня обрывал на полуслове и никак не мог успокоиться.

— Мы, знаете, жизнь положили ради того, чтобы молодым, тем, кто придет за нами, дать все настоящее. Вот я, я лично,— Озолс горячо прижал обе ладони к груди.— Семь лет в тюрьме провел, выпускали — опять шел к товарищам, говорил, дайте дело, я на все готов. Ничего не боюсь. Еще и еще тюрьма — пусть. Потому что у меня, у нас была цель, мы ее всегда перед собой видели. Надо восстанавливать связи — пойду в типографию или к рабочим, или техникой заниматься... Мы все делали. Коммунистическая партия Эстонии долгие годы была в подполье — многие гибли, сотни и тысячи неустанно боролись, чтобы... Товарища Кингисеппа знаете? Товарища Кингисеппа надо знать. Это был герой, настоящий герой... Такие, как Дорт и Кауберт, понимаете, могут стать кем угодно. Мы ради них боролись... А они... Их ничто не интересует, их может черт знает куда занести. Такие меня в буржуазное время били! Да, да, их натравили, им сказали... Да, да! Что, не вина их, а беда? Все равно должны отвечать. Должно быть классовое сознание. Если нет классового сознания, это гибель. Вы вот не понимаете...

Размахивая руками, Озолс, сам того не замечая, шаг за шагом надвигался на меня, так что я оказался прижатым к стене. Солнце светило мне в глаза.

— Я не могу быть равнодушным, равнодушие, как и трусость, злейший враг. Я от себя как требую? И от других могу требовать! — Железная, неколебимая убежденность слышалась в каждом его слове, я увидел обжигающий, неистовый блеск его глаз совсем рядом с собой. Задохнувшись, Озолс гордо поднял голову, его желтое лицо в сети мелких морщинок стало твердым, как из камня высеченным.

Он страдал одышкой, должен был перевести дух. Его бледные, бесцветные губы хватали воздух.

Я получил возможность спросить:

— А прокурором как вы стали?

Озолс рассердился и, не оправившись от одышки, быстро заговорил, закашлялся:

— Семь лет я в тюрьме сидел, думаете, ничего не делал? Так, зря время проводил? Кха-кха-кха. О черт! Кха-кха-кха. Кашель у меня еще с фабрики. В тюрьме я занимался как проклятый. Каждый день! По расписанию! Товарищи читали лекции. По политэкономии. По диалектике. По вопросам государства и теории революции. Доставали книги, какие только могли. Нам выдавали толстые общие тетради, я их быстрее всех исписывал. Мелко-мелко так писал. Все конспектировал. Труд и труд — вот что каждый день. Эстонский народ очень трудолюбивый. Рыбаки, моряки, землепашцы, рабочие на заводах. А коммунист должен быть трижды трудолюбив, иначе он никакой не коммунист.— Озолс, когда говорил о себе, немедленно перекидывал мосток к эстонскому народу и партии,— очевидно, только так себя и мыслил — вместе с ними, с партией, рабочими, крестьянами.— А когда пришла советская власть и партия меня послала в прокуратуру, думаете, я тоже ничему не учился? Я и сюда привез учебники. Потому что не имел и не имею права не заниматься, не вникать во все. Партия бы мне этого не простила. И теперь, думаете, не замечаю, что мало знаю, а должен знать больше? Болтают, нет времени, а я каждую ночь сижу, буду не хуже, чем с дипломом. Да, да! Я стар, в армию не гожусь, там другие эстонцы, но я здесь работаю для своей Эстонии...

Он поднес к моему носу руку с победоносно вытянутым вверх пальцем, сердито замолчал.

Мне захотелось простить Озолсу его чудачества, упрямство, прямолинейность, скрипучий голос.

— А такие дорты и кауберты — их вот на фунты потянуло,— Озолс перевел разговор на обвиняемых.— Они пустые. Куда течение занесет, лишь бы им устроиться. От таких рабочий класс страдает, они и против своих могут оказаться, лишь бы дали весело пожить. Потому что нет у них классового сознания. Кто-то должен их поднять до этого сознания, перевернуть их жизнь. Мы переворачивали и перевернули всю жизнь, они остались в стороне.

Вдруг я понял: Дорт и Кауберт — как щепки. «Пришла удача», «мне всегда везет», «удачу нельзя было упустить», «я-то нигде не пропаду»... А их кидало, как щепки во взбаламученном море. Надо было додумать мысль до конца, я не слушал, что говорил Озолс. Надо было сосредоточиться и додумать. «Я не занимаюсь политикой»,— вспомнил я. Еще с одной стороны дохнуло на нас разбушевавшейся в мире войной... Из Индии, как щепки, к нам занесло двух парней. Да, Доброцумова во время заседания напомнила ведь — рабочих парней, матросов. Без руля и без ветрил плыли, лишь бы продержаться опасные годы. И счастливчик Дорт — удача за удачей, удача за удачей — теперь стоит перед судом.

По дощатому полу террасы застучали каблуки женских туфель.

Пришла Доброцумова, помешала нам договорить. Ей нужен переводчик, она просит продлить перерыв. Озолса она утащила с собой.

19

Нападки ли Озолса были тому виной или что другое (может, Озолс еще что-то гневное им сказал, когда переводил для Доброцумовой), но после перерыва и Дорт и Кауберт, в особенности счастливчик Дорт, оказались сильно встревоженными. Дорт сидел с предельно напряженным лицом, выпятив нижнюю губу, согнувшись, ноги его тоже были напряжены. Кауберт испуганно поглядывал на Дорта, его улыбка вспыхивала изредка, когда забывался, и тут же он прогонял ее болезненной гримасой.

Был последний мой процесс, все отчетливо врезалось в память.

— ...Мы бежали от войны. Бежали. Чтобы быть подальше! — Глаза Дорта так и прыгали, он суматошно гля-

дел по сторонам, словно искал помощи.— Это была удача, когда нам сказали, что поплывем в Индию. Прочь от войны... Потом пришел приказ возвращаться в Англию. Там война. Все, понимаете, все забеспокоились! Не только я. А у Кауберта, выяснилось, в Иране дядя. Что же это, мы поплывем, будем плыть, и неожиданно — бух, бух! (Он так и сказал «бух, бух», раздул щеки и выдохнул дважды.) Нас подорвут, или самолеты с бомбами налетят, или пошлют перевозить военные грузы... А? Ни за что погибать. Мы же только матросы, плывем, плывем — и вот так потонуть? — Дорт прямо молил понять его.— Мы хотели только спокойно жить и работать.

— Вы ведь обвиняетесь в нелегальном переходе государственной границы. В этом вы признаете себя виновным?

— Да, да! — Дорт быстро, отчаянно закивал головой.— Признаю. Но я уходил от войны... Да, я признаю...— Он все еще стоял, ему, быть может, казалось, что его не поняли, ему хотелось еще и еще повторить то, что он уже говорил.

В зале висела гнетущая тишина, звучал только умоляющий голос Дорта и скрипучий переводчика Озолса.

Больше не хотелось задавать Дорту вопросов, чтобы не слышать отчаянных вскриков, этой жалкой ненужной мольбы.

Ощущение жизненной катастрофы, трагедии охватило меня. Это был крах, когда ни впереди, ни позади ничего уже нет...

...Они, Дорт и Кауберт, мирно плавали от Калькутты до Бомбея, от Бомбея до Калькутты, туда и обратно все с тем же капитаном. Работы было много, непривычная жара, духота, но платили хорошо. Проплавали так год с лишним. Затем приказ — идти в Англию. Стояли в Бомбее, еще раз им нужно было дойти до Калькутты. Хорошо, что оставался этот последний рейс. А то бы не выбрались. Дорт сказал Кауберту: не будь дураком, пойдешь со мной. Помнишь, ты рассказывал насчет дяди? Ты что, пропасть хочешь, да? Держись за меня, со мной не пропадешь. Пришли в Калькутту, команду отпустили на берег, вышли — сначала один, потом другой, без вещей. Взяли только деньги и самое необходимое. И сразу — дальше от порта, вон из города. В таких случаях, сказал Дорт, нельзя мешкать, а то ненароком попадешь в полицию и,

глядишь, вернут на корабль. Единственное спасение — невероятный, дикий план — идти в Тегеран.

Суд затянулся.

Быстро темнело.

Пришел завхоз и, на цыпочках переходя от окна к окну, деловито опустил шуршащие шторы затемнения. Уходя, щелкнул выключателем, зажегся свет. Хотя надобность в затемнении миновала, его продолжали соблюдать.

Стало совсем душно. Завхоз и Платонида Семеновна еще перед войной мечтали устроить вентиляцию, да не успели.

Заседание продолжалось. Ощущение необычности, невероятности истории, ощущение, возникшее в самом начале, то и дело возвращалось ко мне. Звучали названия разбросанных по разным странам городов — Лондон, Бомбей, Тегеран. И огромный, взбудораженный и взлохмаченный войной мир, со вспоротыми границами, с полчищами войск, хлынувшими в пустыни Африки, на север Норвегии, с самолетами, гудящими в небе, с кораблями, везущими опасный груз,— весь этот огромный мир, казалось, начинался тотчас за стенами нашего зала. Вспомнились сводки со всех концов света. Постойте, как там в Африке дела? А второй фронт, второй фронт — где он? Нечаянно пришла в голову совсем детская мысль, ведь как было в отроческие годы?.. Тогда, читая Джека Лондона, и я, очевидно, как все, как многие, в воображении представлял себя стоящим на палубе корабля, этаким морским волком, быстро лезущим на самую высокую мачту, когда палуба внизу шатается как сумасшедшая... Но сразу же рядом встала другая, щемящая взрослая мысль — о подсудимых, как иногда оборачивается мечта, когда она...

— И что бы вы делали, придя в Тегеран к дяде?

Это задала вопрос Доброцумова.

Она поминутно вскакивала, все больше нервничая. Просила занести в протокол и то и это, хотя секретарша Лиза и так очень старалась.

— Скажите, а вы вообще-то хоть раз в жизни встречались с дядей? — спросил я Кауберта.

Он опять поднял свои острые плечи и покачал головой.

— В детстве, говорят, он видел меня. Он уехал давно. В двадцать пятом году. У него там дело. Но это ничего,

что я его не видел. Я точно знаю его адрес — улицу, номер дома.

— Прошу занести в протокол, что обвиняемый точно знал адрес своего дяди, — отбарабанила Доброцумова.

Тут Дорт заговорил без спросу, отчаянно:

— Мы думали устроиться на работу. На какую-нибудь. Только чтобы было кому за нас слово замолвить. А нет, так сами...

— Озолс, переведите ему вопрос, ему и Кауберту: знали ли они, что Эстония оккупирована, находится под гитлеровцами? Как они на это смотрят? Думали они о том, чтобы помочь освобождению своей родины?

— Как? Что? — Кауберт не понял. Руки его висели вдоль туловища.— А что я могу сделать? Я человек маленький.

— Я политикой не занимался,— повторил Дорт.— Да и что мы можем? Индия — она вот где,— он махнул куда-то рукой. — Эстония далеко... — Он махнул рукой в другую сторону.

— Тысячи таких же простых эстонцев...— начал Озолс.

— Вы себя считаете гражданами какой страны? Эстонии? — спросил я.

Да, они считают себя гражданами Эстонии.

— А Эстония с сорокового года — советская республика и такой будет! — воскликнул Озолс. Опять яркий блеск вспыхнул в его глазах.— Мы отдали ей свои жизни...

— Товарищи судьи, переводчик...— Доброцумова поспешно встала.

— Переведите им эти слова от имени суда,— сказал я Озолсу, желая помочь ему. Его волнение мгновенно, как внезапный жар, перекинулось ко мне, ударило в голову.— И спросите еще раз, что они, граждане Эстонии, думают о судьбе своей страны. Или они только о себе привыкли думать?

«Может, этого не нужно? — мелькнула мысль.— Но это правда, правда, а не нравоучение, и нужно им эту правду сказать!..»

...Где поездом, где пешком пробирались Дорт и Кауберт через Индию, Афганистан. Они знали английский. У них были деньги. И действительно им везло. Правда, до какого-то момента. Дорт верховодил — забрал к себе деньги, сам расплачивался. «Я не привык полагаться на

кого-то еще,— сердито пояснил он.— Тут никак нельзя было рисковать, а себя я знаю, за себя ручаюсь». Нам было некогда углубляться во все подробности их маршрута — где они пересаживались, где шли пешком. Самая трудная часть пути — по Ирану. Однажды их задержали в каком-то поселке, но Дорт — он не падал духом — уверил, что они английские моряки. Получили отпуск перед дальним плаваньем, чтобы съездить к родственнику в Тегеран, а родственник — важное лицо. Но в основном помогло, наверное, то, что он вовремя сунул полицейскому взятку. «Чиновники там жадные, если хорошо заплатить, все можно»,— сказал Дорт.

Ночевали в поселках. Тоже нужны были деньги. Ночевали и под открытым небом, где придется. Закупали продукты, запасались водой. По Ирану пришлось пробираться больше пешком. Как-то проехали километров двести на попутной машине, опять надо было раскошелиться, да еще чуточку в сторону сбились. Шли по вечерам или утром до жары, а то свалишься от солнечного удара. И с дороги сбивались. «Там никто ни читать, ни писать не умеет, трудно было объясняться»,— говорил Дорт. Кауберт настаивал, что надо выбраться к железной дороге. Дорт соглашался, но в нем росла настороженность — близко уже, как бы под конец все не сорвалось. «Ладно, ладно,— говорил он.— Пусть недельки на две попозже, зато наверняка придем».

Еще несколько дней — и у цели! Тегеран... День за днем — к нему.

Опять я вспомнил — невероятно! Одна из неправдоподобных историй в мире, разворошенном войной. Вот она, перед нами! И сколько сил, энергии было вложено в это предприятие! Сколько сил...

Совсем уж близко был Тегеран...

Темным вечером на дороге у поселка Дорт и Кауберт наткнулись на жандармов. Из темноты возникли три черные фигуры, прозвучал окрик: «Стой!» Вспыхнул узкий луч электрического фонарика.

Иранских жандармов мы знали по проходившим у нас делам. Знали, конечно, не поименно и не в лицо, а по их повадкам. Контрабандистов, ходивших к нам, они не задерживали. И рядовые участники групп знали, что со стороны жандармерии им не грозит опасность. Жандармы, можно сказать, жили на доходы от контрабанды — получали мзду от каждой ходки, им заранее все оплачивалось.

Они алчные, в их руках все, что хотят, то и делают, и за все им надо платить — такая приблизительно вырисовывалась картина из показаний контрабандистов. И еще одну черту мы приметили в действиях жандармов. С началом войны контрабанды стало меньше, а если случался какой-нибудь инцидент по ту сторону границы, жандармы норовили поскорей переправить задержанных к нам. Так они отделались от поляков. Не раз и не два вспомнил я о поляках, разбираясь с этими двумя моряками.

Иранские жандармы и судьбу моряков повернули по-своему.

Порасспросили, куда и откуда идут, посмотрели документы.

О чем-то переговорили между собой по-персидски.

Чему-то посмеялись.

Один из них кое-как говорил по-английски.

— Значит, в Тегеран? Почему не на поезде? Тут недалеко станция. Деньги есть?

— Есть, есть! — откликнулся Кауберт.

— Немного,— вмешался Дорт, уже приготовивший бумажку. Сунул ее жандарму. Может, на этот раз обошлось бы и без нее, но Дорт не знал, в чем дело.

— Видите огни? — повернувшись, жандарм показал на далекие белые точки огней.— Идите туда, садитесь, прямо доедете до Тегерана...

Двое его товарищей опять засмеялись.

— Идите, идите! Счастливого пути! Тут недалеко. Километра четыре.

— Спасибо! — поблагодарили Дорт и Кауберт.

— Счастливого пути! — сказал жандарм, знавший английский, и все трое захохотали.

Моряки держали путь на огни. Ночью огни видны далеко.

За ними, едва различимые, вставали черные громады гор, словно растянувшиеся в караване верблюды с гигантскими горбами.

Вокруг все дышало зноем — земля, небо, а с гор потянуло прохладой. Дорт и Кауберт ускорили шаги. Они подбадривали друг друга, позабыв о накопившихся в пути взаимных обидах. Все, все было позади. Переночуют на станции, а к утру наверняка будет поезд.

Они весело шли, пока их не задержали наши пограничники.

Прямо через границу направили их иранские жандармы.

Белые точки огней, сверкавшие вдали, были на нашей стороне.

Шли, шли и пришли — так, кажется, объяснял Кауберт?

В судебном заседании, если все идет толково, где-то во второй половине его из показаний свидетелей, самих обвиняемых, заключений экспертов, из документов постепенно складывается довольно ясная картина всего дела, виновен или не виновен обвиняемый. Надо лишь при оставшихся допросах уточнить кое-какие подробности, детали, но общая картина уже ясна. И приблизительно знаешь, как поступить с теми, кто сидит на скамье подсудимых. Конечно, все может измениться. Новая подробность все повернет по-иному.

В тот день смутное беспокойство не покидало меня и во второй половине заседания. Я думал, что все путает Доброцумова со своими бесконечными бестолковыми ходатайствами и заявлениями, и сердился на нее. Все, что нужно было раскрыть, было раскрыто, рассказано; картина была ясной, а беспокойство усиливалось. Я поймал себя на том, что медлю, тяну, хотя всегда считал — процесс надо вести четко и быстро. Как хирургическую операцию. Непонятно, непонятно — вертелось в голове. Что собой представляли Дорт и Кауберт? Что с ними делать? Да, да, именно это было непонятным. Что с ними делать? Как быть?

Вот они сидят, один долговязый, с острыми плечами, белесый, второй — весь собранный в комок, напряженный.

В кодексе записано: за незаконный переход границы два года.

Но... я, оказывается, неожиданно уперся... Во что? В жизненную проблему? Или назвать это как-то иначе? Двое парней в поисках удачи ринулись в мир. Думали только о себе. О том, чтобы самим уберечься, прожить беспечно. И очутились здесь — на скамье подсудимых. Не только приговор им надо было вынести, а что-то еще решить. Их кидало как щепки. «Мне всегда везло», — говорил Дорт. «У них нет классового сознания»,— говорил Озолс. «Наша работа ответственна»,— говорил Субордин.

Нет, это он поправил Тойфе. «Наша работа опасна»,— сказал Тойфе. И еще сказал: «Надо брать на себя ответственность». Да, на нас лежит обязанность не только разбирать дела, но и решать жизненные проблемы. И вот выяснилось, есть проблемы, которые не решишь никак. Произнес свою речь прокурор, просил каждого из подсудимых приговорить к двум годам лишения свободы. Доброцумова говорила о рабочем происхождении обвиняемых, о других смягчающих обстоятельствах. Их кидало как щепки, вспомнил я. Бежали от войны. Нет, человек должен определить свое место в мире. Стать на ту или другую сторону. Если не станет, запутается и пропадет ни за грош. Если есть латышская дивизия, должны быть и эстонские части. Дорт и Кауберт ведь были бы гражданами Советской Эстонии. Я мысленно произнес «Эстония», но подумал в ту же минуту о Латвии. Все сражаются. Пусть и они идут, ищут свою настоящую судьбу в бою. Пусть будет у них еще один шанс... Надо было решать не через день или через неделю, а сейчас же, и не кому-то, а мне вместе с заседателями. Мне в первую очередь. Может быть, скажут потом: опять напортачил! Нет, дорогой товарищ, хватит, отвечай за свои ошибки! Но ведь Дорт и Кауберт сами заявили — да, мы граждане Эстонии...

...Поздно, часов в одиннадцать вечера, вынесли мы приговор.

Дорт и Кауберт стояли и слушали, пока я читал, стояли, ничего еще не понимая, не зная, что их ждет, только вслушивались в незнакомую речь.

В электрическом свете поблескивала бритая голова Озолса.

Доброцумова стояла, важно опираясь руками на столик.

Потом я передал приговор для перевода Озолсу, и опять все стоя слушали непонятную для нас эстонскую речь.

Мы заменили Дорту и Кауберту заключение отправкой в армию.

На другой день мне пришла повестка.

Платониде Семеновне позвонила Шашкова.

— Что такое! Ваш член областного суда скрывается от военкомата, нарушает правила учета — не дал своего

настоящего адреса. Ко мне, к нам в суд ему прислали повестку,— так примерно, пыхтя от возмущения, сказала она, думая, очевидно, что поймала нас — меня — еще на одном проступке.— Что же, военкомат будет его по всему городу искать?

То была чистая неправда — в военкомате был и мой новый адрес.

Но в телеграмме, отправленной в Наркомат Обороны, я, живя еще в доме при суде, естественно, указал тогдашнее свое местожительство.

Платонида Семеновна сказала Шашковой, чтобы та тотчас прислала повестку с курьером, и кинулась к нам — читать мне нотацию. Опять поднялся переполох.

Через полчаса пришла девушка-курьер с повесткой.

— Поскольку не аттестованы, поедете рядовым,— сказал сотрудник военкомата, с усилием прижимая печать. Отняв печать от бумаги, он нагнулся посмотреть, как получился оттиск.

— Поеду рядовым,— сказал я.

. . . .

— Значит, едешь,— сказала Люшкина.— Вроде надо бы поздравить. Да не вовремя едешь. Если бы немного попозже, когда управимся с комиссией, со всей этой неразберихой... Эх, не вовремя!

Она прикусила губу и досадливо махнула рукой.

— Что поделать!.. — смутился я.

Действительно, было неловко, будто я покидал товарищей в беде. Будто я дезертировал. Уходил от боя. Они ведь оставались под ударом, а я уезжаю. Хотя и на фронт, а уезжаю. Еще, возможно, сочтут ошибкой и мой последний, только что вынесенный приговор. За него спросят не с меня — с оставшихся. Платонида Семеновна уже сказала: надо разобраться. Ох, совсем нехорошо! Как это у меня всегда получается... И повестка из военкомата пришла черт те как — через Шашкову. С обвинениями! Довоевать бы здесь недельки две... Неловко, неловко.

Но я уезжал все-таки не куда-нибудь, а на фронт. Я должен быть там. Скоро буду. «Проходи в походе смелом, не в тылу, а под обстрелом, отвечай — на том стою!» — когда-то декламировал я на вечере в институтской самодеятельности. Дальше репетиции дело тогда не пошло. В самом начале я запнулся, позабыл весь текст, и пришлось с позором отказаться от дальнейших попыток. «Если в зной твоя дорожка, тамариск, а не морошка,

африканский белый путь, и найдешь воды немножко, дай товарищу хлебнуть!» — я вдруг вспомнил позабывшиеся слова.

— Еду, Тамара, еду,— сказал я, впервые назвав Люшкину по имени.

— Ой, не люблю я своего имени.— Люшкина сморщилась.— Это мама выдумала, слишком для меня красивое...

День. Еще и еще день. Я уже был далеко. Пересаживался с поезда на поезд, ехал в товарных вагонах и на открытых платформах — как придется. Позади осталась Средняя Азия. К затемненным вокзалам подъезжали ощетиненные эшелоны — спереди на паровозе стоял часовой в зеленой плащ-палатке, с ручным пулеметом наготове, из красных теплушек выскакивали красноармейцы с винтовками и автоматами, будто в атаку... Орали черные репродукторы над платформой. Стояли длинные зеленые поезда с красными крестами в белых кружочках, в окнах головы в белых бинтах, и на подножках вагонов тоже раненые, забинтованные, с костылями. Пахло дымом, гарью, потом. Тяжело дыша, первым трогался в путь ощетинившийся эшелон, проходил мимо платформы; боец в плащ-палатке с ручным пулеметом наготове все еще стоял на паровозе, и взгляды всех — и тех, кто был на платформе, и раненых в зеленых вагонах — в молчании провожали уходящий на запад, готовый к бою красновагонный состав.

А на другой станции — та же картина.

Люди в шинелях, гимнастерках, в ватниках. Бабы, держа в протянутых ладонях, предлагали завернутые в тряпицы вареные картофелины и картофельные лепешки. Две-три картофелины на ладони да лепешка, только и всего.

По всей платформе толпа. Толпа движется, колышется.

Кричит репродуктор.

И опять при общем молчании уходит со станции эшелон с вооруженным бойцом на паровозе, и еще долго глядят вслед поезду те, кто остался.

И опять пахло гарью, дымом.

Все дышало войной.

Казалось, не я ехал, а сама война грозно двигалась навстречу...

Совсем с другими людьми встретились мы много лет спустя в Риге, на улице Кришьяна Барона. «Есенин был в Иране»,— сказала жена сенатора. «Я задам этот вопрос нашему редактору», — прошептал сенатор. Я слушал, сам что-то говорил, но видения прошлого вставали передо мной. Никак нельзя было от них отделаться. Я опять бродил по солнечным знойным улицам, опять сидел за судейским столом, спорил, волновался... Вспомнилась давнишняя история, и я должен был рассказать ее товарищам, а потом записать. Записать так, как все возникло в памяти.

СОДЕРЖАНИЕ

Визбул Августович Берце

ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ. ЧАША ВЕСОВ

М., «Советский писатель», 1978, 304 стр. План выпуска 1978 г. № 275. Редактор *Т. Я. Горбачева.* Худож. редактор *Д. С. Мухин.* Техн. редактор *М. А. Ульянова.* Корректор *С. Б. Блауштейн.*

И Б № 1312

Сдано в набор 07.10.77. Подписано к печати 17.03.78. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 16,92. Тираж 100 000 экз. Заказ № 366. Цена 1 р. 20 коп. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени тип. им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

1 р. 20 к.



В. БЕРЦЕ

ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

ЧАША ВЕСОВ